

# ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 11 (670) • 2011

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: [unost-contact@mail.ru](mailto:unost-contact@mail.ru)  
<http://unost.org>

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ  
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ  
Валерий ЗОЛОТУХИН  
Елена ИСАЕВА  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Валерий КОЗЛОВ  
Владимир КОСТРОВ  
Нина КРАСНОВА  
Татьяна КУЗОВЛЕВА  
Валентина ЛАНЦЕВА  
Евгений ЛЕСИН  
Георгий ПРЯХИН  
Владимир РАДЧЕНКО  
Ольга РЫЧКОВА  
Александр СОКОЛОВ  
Борис ТАРАСОВ  
Елена ТАХО-ГОДИ  
Олег ТОЛКАЧЕВ  
Игорь ШАЙТАНОВ

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,  
заведующий отделом поэзии  
**Валерий ДУДАРЕВ**  
главный художник  
**Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ**  
заведующая отделом критики  
**Анна КОЗЛОВА**  
ответственный секретарь  
**Ярослав ЛИТВИНЕНКО**  
заведующий отделом культуры  
**Александр МАХОВ**  
заместитель главного редактора,  
заведующий отделом прозы  
**Игорь МИХАЙЛОВ**  
главный консультант  
**Эмилия ПРОСКУРНИНА**  
заведующая отделом  
духовного наследия  
**Марина РЫБАКИНА**  
заведующая отделом  
публицистики  
**Екатерина САЖНЕВА**  
консультант главного редактора  
**Евгений САФРОНОВ**  
директор по развитию  
**Светлана ШИПИЦИНА**

**ПОЭЗИЯ**

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.....	3
Виктор КИРЮШИН.....	29
Алексей БОРЫЧЕВ.....	49
Евгений ЯНОЧКИН.....	61
Татьяна МИХАЙЛОВА.....	86

**ПРОЗА**

Георгий ПРЯХИН	
<b>ГРЕХОПАДЕНИЕ</b> Степная новелла.....	33
Валерия НАРБИКОВА	
<b>СКВОЗЬ</b> Роман (Окончание).....	54
Андрей ИВАНОВ	
<b>БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ</b> Исторический роман (Продолжение).....	66

**ШУМ ВРЕМЕНИ**

Николай МИТРОФАНОВ	
<b>ЕВРОМАСКАРАД С АНТРАКТОМ В ТЮРЬМЕ ДОФТАНЕ</b>	
Пятнадцать лет из жизни международного авантюриста.....	11
<b>ВОСПОМИНАНИЯ БОРИСА ЛАГО</b> .....	14

**ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА**

Лев АННИНСКИЙ	
<b>РАСКАЛЫВАЕТ ИЛИ РАСКАЧИВАЕТ?</b> .....	48

**РАЗНООБРАЗИЕ СЛОГА**

Геннадий КРАСНИКОВ	
<b>В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО РАЯ</b> (Арсений Тарковский).....	81

**БЫЛОЕ И ДУМЫ**

Дмитрий БОБЫШЕВ	
<b>УВИЖУ САМ</b> Человекотекст, книга 3 (Продолжение).....	90

**ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС**

Катя ПОВОЛОЦКАЯ г. Москва.....	97
Евгений АГЕЕНКОВ Московская область.....	98
Николай ЗАЙКИН г. Москва.....	107
Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга.....	114
Олег ЛЕБЕДЕВ г. Москва.....	123

**В КОНЦЕ КОНЦОВ**

<b>// Детектив на ночь //</b>	
Валерий ИЛЬИЧЕВ	
<b>ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»</b>	
Повесть (Продолжение).....	136

**// Зеленый портфель //**

Владимир ГРИПАК	
<b>РЕПОРТАЖ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ</b> .....	143

**// «До востребования» //**

Галка ГАЛКИНА	
<b>НАРОД ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ОПУСТИТЬ СВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В УРНУ... ОПОХМЕЛИТЬСЯ... — ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ?</b> .....	145

**// VERIORA VERIS //**

Шалун ГЕО, человек при оркестре	
<b>ГОНИМ НАНОСАМОГОН, НАНОКРЕПКИЙ, НАНО — ОН!</b> .....	146

Заведующая редакцией  
**Лидия ЗЯБКИНА**  
 Заведующий отделом информации  
**Игорь РУТКОВСКИЙ**  
 Специальный корреспондент  
 по Белгородской области  
**Нила ЛЫЧАК**  
 Редактор-корректор  
**Юлия СЫСОЕВА**  
 Верстка и оформление  
**Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА**  
 Главный бухгалтер  
**Алла МАТЮХИНА**  
 Финансовая группа  
**Лариса МЕЛЬНИКОВА**  
 Заведующая отделом рукописей  
**Ирина УШАКОВА**  
 Интернет-версия  
**Наталья СЫСОЕВА**  
 Секретарь-референт  
**Анастасия АХРОМЕЕВА**  
 Дежурные по редакции  
**Аврора КОТОВА**  
**Людмила ЛОГАЧЕВА**  
**Татьяна СЕМЕНОВА**  
**Татьяна ЧЕРЫГОВА**  
**Людмила ГУДКОВА**  
 Администратор  
**Зинаида ПОТАПОВА**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,  
 д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**

**+7 (499) 250-83-98,**

**+7 (499) 250-40-72,**

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются  
 и не возвращаются.

Авторы несут ответственность  
 за достоверность предоставленных  
 материалов. Мнения автора  
 и редакции могут не совпадать.  
 При перепечатке материалов ссылка  
 на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в типографии  
**ФГУП «ПИК ВИНТИ»**

140010, Люберцы, Московская обл.,  
 Октябрьский пр., 403

Тел. **+7 (495) 974-69-76**

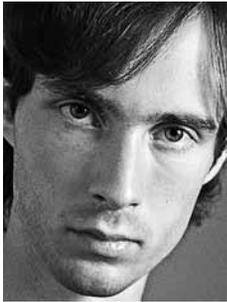
Тираж 6 500 экз.

Формат: 60x84/8

Заказ №



## Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ



*Александр Добровольский родился в 1985 году в Смоленске. Окончил Смоленский государственный институт искусств, факультет культуроведения. Работает сотрудником Центра информационно-коммуникационных технологий Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.*

*Первые настоящие стихотворения датирует 2004 годом. Публиковался в газете «День литературы», в журналах «Слова», «Нева» и «Журнале ПЭэтов», интернет-журнале «Новая реальность».*

*Автор поэтических книг «Трилогия...» (2010) и «К. Е. В. К.» (2011).*

## ЭССЕ О ПОЭЗИИ

**П**оэт — единственный из говорящих для всех, кому не на кого сослаться.

Значит, я буду говорить, основываясь на себе, — и от себя.

Что бы я ни написал о поэзии, вы всегда найдете то, что не будет соответствовать ни одному из определений или образов, мною изложенных, — но при этом, и это вы почувствуете нутром, будет именно поэзией — и ничем другим назвать это у вас язык не повернется.

Если бы сущность поэзии могла бы быть выраженной в прозе или еще как-то — в самой поэзии отпала бы всякая необходимость.

Раз поэзия до сих пор существует — значит, она имеет в себе нечто, что имеет только она.

Поэтому мне остается говорить здесь не о самой поэзии — но лишь о том, почему она значит для меня так много.

Тут я понимаю, что она сама по себе для меня — ничего — не значит: ни теории стихосложения, ни словари рифм не значат ни-че-го. И среди тысяч стихов, мною прочитанных, — со мною лишь те, завесы которых словно распорол молния, благодаря чему я и пережил то, от чего мне теперь было бы невозможно отказаться: вспышку узнавания. Именно поэтому создатели тех строк близки мне, причем настолько, что зачастую я ищу в их стихах то, что, по видимому, не надеюсь найти у людей, находящихся здесь и сейчас со мной рядом.

Эти вспышки узнавания — иногда конкретны, иногда — невыразимы и расплывчаты... В любом случае, я ощущаю свои пределы — раздвинутыми, свои чувства и мысли — как будто кристаллизованными

тем, что они нашли — ибо мне подалось в чужих словах их полное выражение, — свой голос, место и строй. Что было во мне мутным, как помой, — отражается с листа в виде ясности, пусть непонятной, но включенной в некое целое — пусть на миг, пока поток моей бессвязности вновь не поглотит это откровение пополам с благодарностью... Когда же мне попадает что-то, что кажется неприемлемым, но при том каким-то непостижимым образом западает в душу, — я ношу это в себе, иногда, спустя годы, вдруг понимаю и нахожу себя обогащенным, иногда, видимо, это служит неким стимулом попытаться взглянуть за мои стереотипы: а что же — там?..

Что касается меня самого как поэта... Вот сейчас, например, меня знакомая по СМС спросила, в связи с моим разрывом с одной особой, как мое настроение, и я написал ей ответ почти стихом: «А настроений за день много, с одной стороны, с другой — таким, каким был до, я уже не буду, и долго призраки мне будут являться по ночам, и мой собственный — между них...»

Эта неразрешимая, по крайней мере без посторонней помощи и в этой жизни, дилемма: меня не простят. Я не прошу, как факт мира души (с которым ничего не поделать интеллекту и который невозможно выразить в прозе — ибо из прозы он будет воспринят как ситуация чужая, персонажей, а тут спрашивают обо мне, значит, надо еще добиться эмпатии!) и делает поэзию необходимой. А поэзия по самой природе своей делает необходимой ту степень искренности, которая позволит любому постоять на месте автора, а мне, автору, сообщит ту степень свободы, благодаря которой в данном случае боль



и стыд перейдут в более высокое качество, перечитанные с бумаги: короче — итс май лайф... Это моя жизнь — в конце концов, тот главный вывод, к которому приводит автора написанное им стихотворение, если оно написано по-настоящему. И невозможность укрыться от этого — сообщает некую человечность, которую, наверное, и ищут читатели в подобных стихах и вообще — в поэзии.

Переживания поэта, особенно то их значение, к которому они приходят в завершённом стихотворении, для него важнее его жизни как таковой. Ведь он прекрасно понимает, что в своих стихах он — наиболее он, наиболее откровенен и т. п. Поэтому он их публикует. Впрочем, тому иногда способствует и,

как ему кажется, большее, сравнительно с ним, их содержание.

В завершение — поскольку я понимаю, что пробелов здесь больше, чем слов, — стихотворение в тему.

### Поэзия

я не верю словам  
я верю поэзии  
время поэзии приходит  
когда голоса перестают значить  
и даже когда мы допустим  
что поэзия знает не больше себя  
она знает больше чем окружающее

*Александр Добровольский*

### P. S.

Что касается поэтов, мне дорогих...

Я думаю, что каждый поэт, которого я читал, вне зависимости от степени его дара и его значения, дал мне что-то — в крайнем случае хотя бы то, что я увидел у него, чего у себя видеть точно не хочу.

Могу перечислить заведомо неполный список тех, чье значение для меня не исчерпывается силой их поэзии: А. Блок, У. Х. Оден, Гомер, Вергилий, Пушкин, Данте, Микеланджело, Новалис, Эсхил, М. Басе, Джим Моррисон, А. Вознесенский, Сафо, Йейтс, И. Бродский, Дакики, Е. Летов, В. Цой, А. Бретон, Г. Тракль, Фрост, О. Уитмен, В. Кудрявцев, Ян Твардовский, А. Т. Твардовский...

А. Белый — в поэтичности своей прозы...

А священные писания, в т. ч. восточные, — там столько поэзии...

Вспоминание — странный процесс: я помню скорее смысл строчек, которые меня потрясли, нежели сами строчки, и не помню имен их авторов...

Вообще, это не отражает верно моего «списка великих»: перечитай я сейчас какую-нибудь хорошую антологию, и он поколеблется, где-то изменится...

Пройдет год — он изменится — частично...

Он, скорее, напоминает торопливые, бессвязные ответы школьника на экзамене.

Тем более что каждый из названных, в отношениях моих с ним, нуждается в пояснениях... Например, Тракля я практически не перечитываю, но его поэтическое мышление волнует меня до сих пор...

Так: мне близок и Восток, и Запад, и древность, и XX век... Но не все среди их представителей. И не всё у них.

Если бы мне сейчас сказали выбрать одного — назвал бы А. Блока и У. Х. Одена.

### Предзимнее

среди елей болотно взглянувших звездой  
постоять на снегу  
осыпанном шахматно старой хвоей  
чтобы хвоинка запуталась свежестью  
в каблуке  
...на небе скалисто-угрюмом  
тучи как айсберги  
котомками пилигримов  
двинутся в путь  
по белой тени радуги  
вниз осыпая

морозные цветы  
цветы цветы следы  
иголки в одну сторону как компас  
деревянной мощи мощей деревень  
блуждающих огоньками  
дремучих биноклей окон  
исполненных Рождества  
где в красном углу  
стоят прекрасноскумнострогие  
стройные пшеничные снопы  
как салют  
а вокруг  
псиного лая нимб  
пробирает до озноба: финифть  
узоров мороза на стеклах  
и шубно греют пальмовые мхи  
меж двух зорь  
где родник как фарфоровый  
бьется подснежник над рекою снегов  
постоять  
глядя как розовыми крыльями прожигают метель лучи  
от сердца вымени  
и как мыча промолчать спасибо  
качая купол в колыбельных руках  
под роскошными ресницами снежинок  
постоять  
под звоном колокольным  
в малиновой дымке...  
под хруст среброснежных ветвей в алмазных почках

### **К России**

словно что-то забыл  
но выворачивающе хочу вспомнить,  
с лицом страшным  
как ангел с морщинами —  
неуловимо  
как распрямляется трава после стопы —  
Ты поднимаешься,  
приближаясь оттуда  
где не птицы — но сами песни  
с ветки на ветку  
перелетают,  
Ты оттуда — сюда  
в новом свете являешься  
и морщины судеб Твоих  
близостью разлетаются:  
Ты теперь — приближаешься!  
чтоб Собою войти в свое



как размять после гипса руку.  
 Эх, давно не стоял я так  
 после подъезда,  
 так веря в жизнь  
 не потому что не обманет  
 а потому что с ней един  
 посредством Твоего оживления,  
 Россия.

Росси-я. Рост-сея. РОССИЯ.

\* \* \*

пыхающая широко  
 словно крик нечаянной радости  
 лазурь  
 часто пронизанная как полетами осы  
 золотую нитью  
 расплавленной руды солнца  
 отливаемой в день  
 жара  
 тени под липой медовой словно  
 похмелье юношеских снов  
 как под высью колокольни  
 перекатываются парашютные колокола  
 и легчает от приступа ветра  
 словно он — парикмахер  
 отстригающий тяжесть прошлогодних волос  
 голова  
 и солнечная глубина  
 сквозь качающиеся гамаками листья  
 словно рябь на неторопливом озере...  
 вдруг роняя глаза  
 смотришь на жизнь  
 сквозь розовые очки  
 вскрикнувшей вдали бабочки

полный калейдоскоп

### **Танцующей сквозняком**

каждый твой изгиб —  
 поворот зеркала  
 в котором вспыхивает  
 одна из черточек  
 твоего лица  
 гранью лика

которую ты переходишь  
танцем  
как босиком по нервам подобным траве  
оттуда — сюда  
...поворачиваются зеркала  
танцует голо(я)ва  
а за стенами клуба  
звезды разбивают ночь  
как — окно  
...ты чувствуешь себя: сквозняк  
и каблуком  
как будто бы стираешь  
в поро-шок  
битое стекло: танцуй еще!  
Твои глаза поджигают  
свое лицо  
**ВДОХНОВЕН-НО!**

\* \* \*

в темноте  
ловить твои губы  
словно падающую звезду  
чтобы утром  
увидеть тебя целиком  
спящую вытянувшись  
вдоль легкости солнечного луча  
прозрачную как дыхание

**К Е. В. К. — 0**

все что осталось от нас —  
созвездие Большой Медведицы  
на которое я смотрел  
мечтая о тебе  
но мы  
насколько я помню  
так и не посмотрели вместе  
но ты  
так близка мне  
как покалывает в кончиках пальцев  
так что даже не скажешь  
как это ни странно  
что мы  
были в чем-то не правы  
не понимаю — но факт  
что бы с нами ни было



есть *это*  
и когда нас — нету  
гуляет оно, *наше* где-то  
«после мы» —  
факт — гуляем вдвоем  
на основе «мы до»  
и чаек бумеранги  
между берегов  
ибо нет пределов  
красоте никакой

### **Яснее ясного**

Блеск снежинки  
как повисла паутинка...  
О, снежинки-блондинки!..  
Вы пронзительны  
как пронзителен смех лунных девчонок  
в которых нет прошлого  
вылетающего невпопад  
как вы —  
влетевшие  
в май из головокружительной зимы  
словно закладка  
из снятого с полки  
наудачу раскрытого тома:  
или, как тучи — декабрь,  
осыпает  
мозги  
алкоголь.  
Стой!  
...Когда я распался на атомы,  
они сложились в любовь. В  
балет снежинок  
на  
волнах духов.  
От всего остается — Бог,  
то есть то  
что знает как я любил вас:  
снежинки, девчонки, блондинки...  
Моя жизнь была — секс  
с образом прекрасного.

### **Вокзал, мы и скворцы**

сначала ты оглядываешься назад —  
но те фонари

что тебя вели — привели —  
там уже не горят:  
там стоит крепко ночь  
как выключен телевизор  
и птицы повисли за проводами в небе  
как выключен вентилятор —  
крушение повседневного смысла —  
и как жалюзи — ограда.  
Тебе туда  
уже не надо —  
огромный гул серебрясь стоит.  
Гул с вокзала отходящего поезда...  
как эхо шелушится с колокола...  
раскачивая воздух  
так что сердце горит возможным  
как метеор — под углом  
лопастью, зеркальнокосым крылом —  
в плотных слоях атмосферы:  
путь от сдуваемой лопнувшим шариком  
теперь уже пустоты  
до рук моих наготы — просто-ты.  
Ты оглядываешься на меня:  
поезда идут из ниоткуда в никуда  
(пока звезда автографом прочиркается — главное  
нам успеть! загадать желание).  
Я оглядываюсь на тебя — значит  
звезды все  
будут здесь  
ведь прилетели же уже  
скворцы: торчат из сквозного дерева  
как семечки из подсолнуха.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
раззвенелись, в беспредел несерьезные!  
звонят колокольчики  
нам

\* \* \*

поднимаясь по лестнице  
молча мимо проходит  
алкоголик-афганец  
из тех семи  
что остались от батальона



в живых  
покрывающая мужская спина  
семья  
тельняшка как титры  
бежит под ним  
и сквозит горячо и горько как тот орден:  
жена дочка сын  
жена сын дочка

### **Христос**

говоря проще  
Ты как все любящие  
просто хотел  
быть со всеми-всеми нами  
и фигура распятыя  
есть фигура объятия  
когда что за спиной неважно  
ведь счастливые  
часов не наблюдают  
пока любовь не кончается  
а Твоя не кончается  
и Ты знал  
как все это действует  
имея в виду  
нашу вечную жизнь  
когда что было между растворится  
а мы и не заметим  
и одно объятие  
последнего с Первым  
вдруг станет тем  
чем объятие и было втайне:  
объятием  
всех со всеми

*г. Смоленск*

**АВТОГРАФ О СЕБЕ**

*Человек приходит в мир, чтобы познать его историю, увидеть себя и свое будущее в ее зеркалах, осознать свое предназначение на вселенской ниве добра и справедливости. Как ему удастся при этом применить свой ум и таланты чувствований — его собственная драма и трагедия. Каждый стоящий писатель стремится в меру своего понимания помочь своему собрату по жизни на планете Земля войти в гармонию ее культуры, пройти дорогами бытия существом знающим и способным выбирать и предвидеть, предугадывать опасности и коварство. Если кратко, то в такой вот огранке мне давно представлялись силуэты моих задач, поскольку еще в молодые годы я получил образование историка, профессионально работал в архивистике, стремился популяризировать интересующие меня общественно-исторические ситуации, события и фигуры отечественного прошлого и даже получил диплом кандидата исторических наук.*

*Так получилось, что в моей литературно-творческой работе желание изучать, расследовать и приходиться к определенным выводам постоянно опиралось на источники по истории литературы, науки, а также истории политической. Соответственно в центре написанного всегда выплывали самые разные по масштабу личности — порой весьма известные в минувшие эпохи, иногда полузабытые, а то и вовсе неизвестные современному читателю. Мне трудно теперь сформулировать, как и какими путями приращивались в моих писаниях темы, как своеобразно порой трансформировались некоторые из них, тем более что с самого начала своей по-настоящему сознательной жизни я с большей или меньшей интенсивностью действовал в журналистике, вступил в Союз журналистов СССР, несколько лет руководил литературно-драматической редакцией Всесоюзного радио, в 1990-е годы часто*

*печатался в газете «Вечерняя Москва», где работал штатным обозревателем. Завершая, я был шеф-редактором журнала «Странствия и приключения», главным редактором издательства «Знание». Последние десять лет мною отданы «Московской энциклопедии», оригинальному изданию историко-биографического толка, о котором, сдается, будут немало говорить после его завершения примерно через год. В вышедших трех томах «МЭ» напечатано множество моих статей о знаменитых и неизвестных москвичах и гостях Первопрестольной — большинство их подписано мною и потому легко узнаваемо.*

*Хочу обозначить сейчас отдельные свои работы, которые определенными чертами мне памятливы и, надеюсь, могут заинтересовать читателей. Из последних: жизнеописание «Гамбит доктора Кишкина» (альманах «Арбатский архив», т. II, М., 2009); очерк подобного характера «Ему везло на нескучные амплуа» (о журналисте и писателе Борисе Войтехове — «Юность», 2010, № 7–8); эссе «Н. А. Ярошенко и создание “культурного гнезда” в Кисловодске» (сборник «В. О. Ключевский и проблемы провинциальной культуры», Пенза, 2005, кн. II). Среди выпущенных мною книг особенно дорог мне томик избранных произведений первого лауреата Нобелевской премии по литературе французского поэта Сюлли-Прюдона (М., «Воскресенье», 2007), на выход которого благожелательно откликнулся журнал «Юность» (2008, № 8). Подписав недавно корректуру своего очерка «О. Ю. Шмидт как строитель культуры», не могу не вспомнить, что ему предшествовал добрый десяток моих выступлений в прессе об этом выдающемся ученом, путешественнике и мыслителе (например, «Путь просветителя» — вступительный очерк к кн. Г. В. Якушевой «О. Ю. Шмидт-энциклопедист», М., 1991). А если заглянуть чуть дальше, нельзя не отметить череду*

работ, посвященных видному русскому писателю и правозащитнику В. Г. Короленко, чьим творчеством я стал заниматься еще на студенческой скамье. С интересом к деятельности мастеров публичного слова писал я свои литературные работы о А. М. Коллонтай, П. Ф. Лесгафте, академике М. В. Нечкиной (с последней у меня была замечательная переписка — об этом написано в альманахе «Московский архив», т. IV, М., 2007). Отдавая дань публикациям извлеченных из архивов в высшей степени любопытных рукописей, мне повезло первому сделать достоянием гласности достоверные сведения о некоторых драматических событиях русской истории послереволюционных лет («Концлагерь у подножия Машука», «Исповедь тайного агента в кисловодской чрезвычайке» — «Вечерняя Москва», 1995, 20 марта и 29 мая) и др.

Не могу не упомянуть и о том, что при моем участии московский издатель В. Ф. Козлов уважительно осуществил публикацию весомого фрагмента «спрятанной» некогда повести «Добровольцы» замечательного русского писателя Н. А. Раевского, прошедшего эмиграцию и завершившего в 1988 году свой земной путь в Алма-Ате после ссылки («Тихий Крым» белого капитана Николая Раевского» — альманах «Москва — Крым», 2002, вып. 4). Стратотерпным и фантастическим 1920-м годам я также посвятил парадоксальную вещь — «Шариков I Бесподобный: легенда и досье с комментариями» («Московский архив», 2007, вып. 4), имеющую прямое отношение к приснопамятному герою нашего удивительного классика Михаила Афанасьевича Булгакова.

7 июля 2011 года

## ЕВРОМАСКАРАД С АНТРАКТОМ В ТЮРЬМЕ ДОФТАНЕ

### ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ЖИЗНИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВАНТЮРИСТА

Мир в XX веке был набит шпионами как никогда ранее. И чего удивляться? Современнейшие пути сообщения связали многие отдаленные углы земного шара, куда прежде какой-нибудь полковник Лоуренс вынужден был неделю добираться на верблюде или ишаке. Океанские лайнеры и летучие глиссеры, мощные «дугласы» и грациозные авиетки, трансконтинентальные экспрессы и подкованные цепями вездеходы стремительно и комфортно мчали «рыцарей плаща и кинжала» в чужие страны к чужим секретам.

Правда, некоторые скептики иногда нудят: дескать, далеко не все хитросплетения опасной судьбы нелегала (неважно — нашего или двойного-тройного) столь уж захватывающи, что из них можно скроить приличный детектив. Уделом и призванием многих было, мол, скучноватое вынюхивание каких-то чепуховых деталей, редкие выходы в эфир со своей крошечной шифровкой. Ну, конечно, иногда случалось удачное залавливание в расставленные сети информированного источника, завязывались интрижки с женщинами и алчными взяточниками,

про которых, как ни крути, путного ничего не расскажешь — так, одно безобразие и мелочевка. Поэтому очень немногие из закордонников оставляли после себя хоть какие-то отрывочные мемуары. Ведь трудно себе представить, например, в этой роли Штирлица. Кстати, когда затронули эту тему с Юлианом Семеновым буквально накануне дня, когда его сразил тяжелый недуг, он мне говорил, что не представляет себе, как этот ас авантюры и импровизации потом сядет под настольную лампу и начнет, улыбаясь, строчить воспоминания о своих бывших разведческих достижениях. Действительно, что-то здесь не складывается. Может быть, потому, что шпионы берутся за перо лишь в экстремальных ситуациях?

Вот именно такой из ряда вон выходящий случай и произошел с агентом Борисом Лаго. Точнее, не один случай, а ряд серьезных проколов, которые практически поставили крест на его шпионской карьере, развивавшейся в жанре не лишенных оригинальности трансевропейских вояжей, хорошо оплаченных приготовлений к пучкам и наглого политического мошенничества.

Первые шаги его чекистской работы сделаны были в Одессе 1918 года, находившейся под властью представителей стран Антанты. В белом Крыму он, уже служащий политического отделения штаба батальона Врангеля, принят на должность достаточно заметную — заведующего отделом пропаганды и агитации в Феодосийском районе. Эвакуировавшись с белой армией осенью 1920 года, Лаго поселяется в Константинополе.

Тут он развил большую активность. Созданный им Союз русских студентов начал исподволь вовлекать в орбиту политически сомнительных акций разочарованную эмигрантской жизнью молодежь. В то же время Лаго становится своим человеком в тайной организации известного монархиста Василия Шульгина, который позднее, как известно, попадет в сети чекистской операции «Трест», съездит конспиративно в СССР и вернется, не подозревая, что все время находился под колпаком. В одной связке с Лаго работал его старый друг, который и пристроил его в еще один центр эмиграции — Украинский национальный комитет. Там произошла первая осечка — Лаго заподозрили в «провокаторстве». Пришлось в 1922 году перебазироваться в Прагу, где он под опекой венской резидентуры советской военной разведки начал работать в среде соотечественников: студентов, бывших офицеров-врангелевцев, а также русских монархистов. Вторая осечка — молодого активного монархиста обвиняют в контактах с чехословацкой компартией, которой он якобы поставлял материалы о настроениях русской эмиграции.

Но Лаго, кажется, был непотопляем. Его перебросили в Болгарию. Там он в числе эмиссаров Коминтерна готовит вооруженное восстание 1923 года. Однако неудача мятежа оборвала эту линию деятельности Бориса Лаго.

Перезжая из страны в страну, он становится в кругах эмиграции популярным членом Центрального комитета монархистов-конституционалистов — так называемой группы Ефимовского. Его направляют в распоряжение советского посла в Берлине Н. Н. Крестинского. Тот дает «под Лаго» деньги на издание большой монархической газеты. Что хотел там печатать новоиспеченный газетный магнат — неизвестно. Его блестящему будущему помешала нелепая случайность.

Во время обвалы на спекулянтов валюты Лаго был случайно арестован и доставлен в местную префектуру. Там он попросил немецкого полицейского чиновника оповестить о его аресте советское посольство. Вырученный из участка хозяевами Лаго здорово засветился, ведь его просьба стала извест-

на русским эмигрантам. Старая полоса шпионской карьеры закончилась, начиналась новая — работа в качестве агента Разведупра.

Переброшенный в Румынию, он проработал там два года. Тамошняя контрразведка не раз выходила на его след, получала доносы на него. При аресте у Лаго были изъяты документы и материалы, избобличающие его как разведчика. Приговор суда был суров — пять лет каторжных работ, срок максимальный.

В 1930 году Лаго вышел из тюрьмы и приехал в советское посольство в Берлине. Новой работы ему не дали — он был известен повсюду. Оставалась одна перспектива — возвращаться в СССР. Но Лаго не без оснований полагал, что для него это перспектива очутиться в концлагере его коллег-чекистов. Были ведь за ним не только будни удачных дел, но и грешки, которые водятся за подобными ему. Порой грешки не безобидные — сдача вчерашних своих агентов и покровителей, обмен информацией с явными агентами других разведок... Выбор не мог быть отложен — Лаго остался за границей.

Сбежав в Париж, он нашел контакт с В. Л. Бурцевым и рассказал ему все известное о советских разведорганах в Европе. Бурцев использовал его информацию при подготовке своей книги «Тайная работа ОГПУ за границей». Одновременно он познакомил его с агентами «Сюрте Женераль». Группа «Борьба», объединявшая всех невозвращенцев под флагом разоблачения сталинской диктатуры, приняла его в качестве члена. Лаго быстро выдвинулся и занял место начальника информационного отдела. Он вновь совершает поездки по Европе, во время одной из них ему даже удается инкогнито посетить закрытую встречу коминтерновцев в Вене. По некоторым сведениям, в первой половине 30-х годов ему повезло совершить несколько конспиративных поездок в Россию и вернуться из них невредимым.

В этот период Лаго начинает писать воспоминания. В 1933 году часть их он передал в архив русской эмиграции в Праге. Кто-то написал к ним сопроводительное письмо на французском языке, где указал адрес Бориса Федоровича Лаго: 21 бис, Париж, рю Кло Фекьер, 15. По-видимому, за эту строчку немало могли дать охотившиеся за невозвращенцами...

Впоследствии, когда материалы Лаго оказались в Москве, их держали под спудом. Хотя наверняка копии рукописи осмотрительный советский шпион, вышедший в тираж, подарил нескольким архивам на Западе, и прятать одну из них не имело смысла.

*Николай Митрофанов*

## Воспоминания Бориса Лаго

Меня отправляют в командировку в Румынию. — Коротков — помощник резидента Разведупра в Берлине. — Венское полпредство и работа резидентуры ГПУ при нем. — Резидент Инков и его помощник. — Как получает иностранные паспорта резидентура ГПУ. — Моя работа в Кишиневе. — Мои сотрудники. — Мара Шварц и инцидент с румынскими миноносцами. — Моя поездка в Берлин. — Денежные средства резидентуры ГПУ. — Фунты настоящие и фальшивые. — Агентура ГПУ при варшавском полпредстве. — Король шпионов Кобецкий, Вронский и их судьба

Разоблачение меня в «Еженедельнике Высшего монархического совета» как большевистского агента отрезало всякую возможность для какой бы то ни было работы среди эмиграции. Я был этому весьма рад и готовился уже к поездке в Советскую Россию.

В феврале 1923 года во время посещения Мартова я поднял вопрос об этом отъезде. Мартов спросил меня: «А что вы думаете делать в России?» Я ответил, что моим наибольшим желанием было бы поступить в Высшую военную академию (б. Академию Генерального штаба) или же в Военно-политическую академию. Мартов задумался и просил меня зайти через неделю, обещав запросить за это время Москву.

Через неделю я снова был у него. Он попросил меня пройти к Степанову. Степанов занимал пост помощника военного атташе и резидента Разведупра и пользовался большим влиянием в полпредстве. У него были большие связи в Москве в военно-морском комиссариате и дружба с всесильным в то время Л. Троцким.

Я был уже раньше знаком со Степановым, и наш разговор носил дружеский характер. Он сразу заявил мне, что моя мечта о поступлении в Военную академию неосуществима, ибо для этого необходим годичный стаж в Красной армии на одном из фронтов. На мой вопрос: «А как же теперь, когда нет фронтов?» — Степанов мне ответил, что он может мне устроить командировку, которая будет считаться как бы службой на фронте. Такой командировкой будет моя поездка в Румынию. Цель — военная и политическая информация в Румынии. После вы-

полнения этой командировки возможно будет мое возвращение в Советскую Россию и поступление в военную академию. Тут же Степанов вызвал своего помощника Короткова и просил дать мне инструкции и необходимые информации.

Коротков, бывший офицер Генерального штаба, был как бы военспецом при берлинском полпредстве. Он обладал поистине универсальными сведениями в отношении армий всех европейских государств и мог в любой момент сообщить чуть ли не полную дислокацию любой армии. Коротков провел меня в оперативную комнату, вынул огромную карту Румынии и в течение двух часов рассказывал мне относительно организации военного дела в Румынии. Указав на Румынию как на страну, военное столкновение коей с Россией неминуемо, он долго объяснял мне систему военной подготовки Румынии, прохождение военной службы, разделение, дислокацию и силу румынской армии, ее вооружение, авиацию, военную индустрию, а также ее военные связи с Польшей и Малой Антантой.

Конкретные задания на первый раз мне были даны следующие:

1. Установить точно, какие воинские части находятся на территории Бессарабии, и их дислокацию.
2. Проверить, в каком положении находится постройка стратегических железных дорог: Бессарабская — Зорлени, Сайгадак — Злоти и Буковец — Гун.



Улица Унтер ден Линден в Берлине

### 3. Отметить состояние мостов на всем протяжении реки Прут.

Кроме этих чисто военных заданий Мартов предложил мне выяснить:

- систему организации румынской разведки и контрразведки. Деятельность информационного бюро при главном командовании Бессарабии;
- деятельность инспектора Кишиневской сигуранцы (политическая полиция);
- связи, существующие между румынскими и русскими представителями общественных групп;
- политические настроения в Бессарабии.

После того, как мне были даны эти инструкции, начали выяснять вопрос о моем паспорте. Признано было желательным приготовить мне какой-либо иностранный паспорт, который не возбудил бы никаких подозрений у румын. Принимая во внимание, что я владел чешским языком, самым подходящим являлся бы чешский паспорт.

Чешский паспорт берлинское полпредство не могло приготовить. Оно имело лишь паспорта германские, французские и прибалтийских государств. Решено было меня отправить в Вену, где имелась возможность получить чешский паспорт. Австрийскую границу я должен был перейти тайным образом, ибо не имел ни виз, ни паспорта.

Местом перехода мне был указан город Пассау и лежащий на другой стороне Ина-Инштадт. Это была германская территория, а дальше шла уже австрийская. Я прибыл в Пассау 15 февраля 1923 года поздно ночью и, немного проблуждав по городу, нашел мост через Инн, никем не тронутый перешел границу и после трех часов ходьбы дошел до станции Шердинг, где сел на поезд до Вены.

В Вене я должен был обратиться в венское полпредство на Бельведергассе, 34, к товарищу Инкову.

Инков, болгарин, маленького роста, полненький, встретил меня довольно пренебрежительно, но когда на следующий день было получено от Мартова (а Мартов являлся прямым начальством для Инкова) личное письмо на мое имя, отношение Инкова сразу изменилось.

Мартов мне сообщал в письме два берлинских адреса, на которые я должен был писать сообщения из Румынии, а также прилагал порошок зеленоватого цвета — симпатические чернила, которыми я должен был писать. Письмо, написанное раствором этого порошка, было абсолютно бесцветно, но в растворе чернильного карандаша все написанное проявлялось интенсивно окрашенным в черный цвет.

Инков уже знал, что мне надо приготовить чешский паспорт; он взял у меня две фотографические карточки и передал их своему помощнику Макс, австрийскому еврею, специалисту по изготовлению



*Прага. Вид с набережной Влтавы на кремль Градчаны*

фальшивых паспортов. Меня же просил подождать около двух недель. Эти две недели я провел в Вене, часто заходя в полпредство.

Венское полпредство в это время сильно отличалось от берлинского.

Если в берлинском полпредстве царил известный порядок, то в венском была полная анархия. Небольшой трехэтажный домик на Бельведергассе был переполнен советскими сотрудниками, их семьями, приходящими членами австрийской компартии, агентами, военнопленными, собиравшимися уехать на родину. Общим разговорным языком был украинский с галицийским произношением.

Главный помощник Инкова Франц, бывший офицер галицийской армии, только и мог объясняться на этом языке. Он был разбитным и веселым малым в отличие от Инкова, который старался напустить на себя государственную важность. Я часто проводил вечера с Францем. Он выставлял себя убежденным коммунистом, но о коммунистической теории не имел никакого понятия. Он весь был погружен в различные дела агентуры, которые были ему поручены Инковым. Разыскивал для Инкова агентов среди бывших австрийских офицеров, имел бесчисленные свидания с информаторами, покупал и отправлял куда-то оружие и взрывчатые вещества, а по вечерам сильно кутил в венских ночных ресторанах, очень часто с сотрудниками полпредства или с «информаторшами».

Приблизительно через две недели в одном из кафе я встретился с Максом. Он мне передал совершенно новенький чешский паспорт, выданный полицией города Угерско-Градиште, находившегося недалеко от австрийской границы. Паспорт был выставлен на имя Франца Кольбера, инженера-механика. Карточки на паспорте не было, и на моих глазах Макс взял мою карточку, прошел к соседнему сапожнику, который и прикрепил ее на место обыкновенной капсулой для ботинок. Недостающую



Венский университет



Париж. Варьете «Мулен Руж»

четверть печати мне доделали в полпредстве, где на этот случай была особая лаборатория.

Я спросил товарища Макса, как достаются эти паспорта и не опасно ли с ними ехать. Он ответил, что эти паспорта совершенно настоящие. Способ их получения следующий. Один из товарищей, членов австрийской или чешской коммунистической партии, малоизвестный полиции, заявляет о своем желании ехать за границу. Он получает заграничный паспорт. С него срывается фотографическая карточка, и паспорт передается в распоряжение комитета партии, откуда получает паспорта Макс. Кроме того, в Чехии в некоторых городах выдачей паспортов заведует городское самоуправление, в составе служащих коего имеются коммунисты. Таким образом, эти последние в любое время имеют возможность выдавать паспорта на любое имя.

Но все же дело с моим паспортом не было закончено. Паспорт был чешский, и на нем не было ни въездных, ни выездных виз. Таким образом, меня надо было перебросить на чешскую территорию. Это тоже устроил Макс. Через пару дней он познанил меня с одним человеком, по виду рабочим, с которым я должен был перейти чешскую границу.

Действительно, в этот же вечер я встретился с ним на вокзале и поехал к чешской границе. Не доезжая двух станций до границы, мы слезли с поезда и начали пробираться на товарные пути. Там стояло несколько товарных поездов. Мы сели в один состав, который направился в Чехию. Проехав границу и немного не доезжая до станции Бречславль (Лиденбург), мы соскочили с поезда и через пять минут сидели... в пивной Лиденбургского комитета чешской коммунистической партии. По дороге мой спутник рассказал мне, что таким образом он переправил уже более ста человек, получая за каждого по 200 чешских крон. Но он работает не за деньги, а по убеждению, будучи членом австрийской компартии, и очень рад помочь русским товарищам в их борьбе за мировую революцию.

Тут снова в моем сознании встал вопрос: кто работает и для кого? III Интернационал во имя национальных интересов России или наоборот: национальные интересы России продаются во имя III Интернационала? Так как свою поездку я считал связанной с национальными интересами России, мне было приятно видеть помощь чешской и австрийской компартий. Это было доказательством, что интересы России выше интересов III Интернационала.

В чешском клубе компартии меня встретили как родного. Мое знание чешского и немецкого языков дало мне возможность разговаривать со всеми, и в течение двух часов я был центром оживленной дискуссии. Через два часа я выехал в Прагу. В Праге я получил румынскую визу и, не задерживаясь в городе, выехал в Румынию. Первого марта 1923 года я приехал в Бухарест, а оттуда проехал в Кишинев и Аккерман.

В Бессарабии я провел около двух месяцев. За это время я собрал ряд сведений по полученным инструкциям, а также добился сотрудничества некоего поручика В. Томашевского, бывшего русского офицера, находившегося в то время в рядах румынской армии военным летчиком, одного русского полковника, служившего швейцаром в главной кишиневской гостинице «Лондонская», и одной барышни — Анны Штейн, дочери фотографа, служившей в банке «Бессарабия» и в то же время поддерживавшей интимные связи с майором Гьдиняну — начальником информационного отделения штаба главного командования в Бессарабии.

Речь, конечно, шла не об идейном сотрудничестве, а о материальном. За определенную сумму денег означенные лица согласились давать мне интересующие меня сведения.

Для того чтобы оформить принятие их на службу, а также ввиду того, что у меня кончался запас де-

нег, я решил поехать в Берлин. По дороге в Черновицах я заболел и решил поэтому ехать до Варшавы, а там, явившись в полпредство, получил денег на дорогу до Берлина. Приехав в Варшаву, я отправился в полпредство — в «Римскую» гостиницу. Варшавское полпредство имело ужасный вид. Все грязное, обвешанное внутри старыми побуревшими плакатами, знаменами и свернувшимися пожелтевшими портретами «вождей»; полпредство, сохранившее коридорную систему меблированных комнат, напоминало более дом свиданий, чем посольство такой большой страны.

В полпредстве меня провели в кабинет одного товарища, который представился мне Вронским. Узнав, в чем дело, он обещал запросить берлинское полпредство и дал мне немного денег на жизнь. Через пару дней пришел ответ, и мне были выданы деньги на дорогу.

В Берлине я передал Мартову и Короткову все привезенные доклады и документы. Как видно, содержание этих докладов удовлетворило Короткова, и он одобрил в принципе принятие на службу всех вышеуказанных лиц. Мне были даны новые инструкции и крупная сумма денег — около 150 фунтов.

Деньги всегда выдавались по ордеру Мартова из особой кассы агентуры в английской или американской валюте, в крупных купюрах. Когда я рассматривал впервые мною полученную бумажку в 50 фунтов, кассир заметил: «Не беспокойтесь — это настоящая. Мы имеем и “другие”, но таких вам не даем — зачем подвергать вас двойному риску. Для размена “тех” у нас имеются особые люди».

Тут же для удовлетворения моего любопытства он вынул из особой пачки 100-фунтовую бумажку и показал мне ее. Действительно — одна от другой ничем не отличались. Вообще говоря, агентура была блестяще снабжена денежными средствами. Деньги имелись во всех валютах мира.

В частности, имелось очень много румынской валюты из той, что была вывезена вместе с золотым запасом Румынского Национального банка в Москву. Но этой валюты в Румынию не давали, ибо там могли быть известны серии и номера.

Уезжавшие в специальные командировки снабжались из складов агентуры превосходными фотографическими аппаратами, а также специальными кожаными чемоданами, верхняя крышка которых незаметно снималась, представляя удобное убежище для провозимых документов. Имелись также особые палки, пустые внутри и незаметно развинчивающиеся, термосы и шахматы, тоже со специальными отделениями для провоза документов.

Среди новых инструкций, которые я получил, особенно памятно осталось мне задание по работе

в Буковине. По имевшимся в военной агентуре сведениям, буковинскому району румынский генеральный штаб в случае войны с Советами придавал особенно большое значение. Стоявшая в Черновицах 8-я пехотная дивизия должна была развернуться в корпус и вместе с приданными другими частями и кавалерийской дивизией образовать особую Буковинскую группу. Целью этой группы было прикрытие железнодорожной линии Черновицы — Львов, единственной магистрали, соединяющей Польшу с Румынией. Мне давалось задание обследовать состояние Черновицкого моста, сделать с него по возможности ряд фотографических снимков, а также снять предмостные укрепления, воздвигнутые румынами около станции Мош в двух верстах от моста в направлении к русско-румынской границе. Для снимков мне выдали фотографический аппарат. Получив деньги и инструкции, я снова выехал в Кишинев. Здесь я установил главный центр своей деятельности. Поселился в одной из маленьких гостиниц под именем Кольбера, в то время как в городе все меня знали под фамилией моего отчима Колпакова. Эта предосторожность оказалась удачной, ибо впоследствии, когда кишиневская полиция узнала о моей деятельности, она тщетно искала по всему городу Колпакова, не зная, что я живу под именем Кольбера.

Я уведомил всех моих агентов, что они должны начать работу. Анна Штейн мне доставила ряд документов от майора Гыдиняну. Швейцар из «Лондонской» гостиницы давал мне сведения о приезжающих из Бухареста, а также все, что удавалось ему подслушать и узнать. Поручику Томашевскому я дал поручение доставить мне сведения и документы, касающиеся румынской военной авиации, что ему, как румынскому офицеру-летчику, было довольно легко.

Работа кипела. Я выезжал часто в Бухарест и в Клуж, где жил Томашевский, в Черновицы, где я сделал ряд порученных мне снимков.

Кроме этих агентов, у меня появилась возможность завербовать одну интересную сотрудницу. Это была хорошо известная в Бессарабии Мара Шварц. Молодая, высокого роста, с чудными темными косами и огромными черными глазами, Мара считалась, и заслуженно, самой красивой женщиной в Кишиневе. Иностранцу, посетившему Кишинев, среди прочих достопримечательностей показывали и Мару Шварц.

Познакомившись с Марой через моего товарища по университету, Цанко-Кильчику, ее будущего мужа, я сразу понял, какую пользу могла бы принести Мара. Вокруг нее вечно вертелся ряд румынских офицеров кишиневского гарнизона. Но кроме поразительной красоты Мара отличалась и умом — за участие в работе она потребовала миллион лей. Та-

ких денег у меня не было, но я запросил Берлин, а пока что вел переговоры с Марой, которая жила на летнем курорте Бессарабии в Будаках.

Здесь, чтобы показать свои возможности, она выкинула следующую историю. Из Галаца на Будаки пришла маленькая эскадра из четырех миноносцев. Командир этой эскадры скоро оказался влюбленным без памяти в Мару Шварц. И вот однажды она вызвала его к себе на дачу. В это время на море началась буря. Миноносцы начало швырять. Командир эскадры должен был вернуться к своей эскадре, чтобы дать соответствующие распоряжения, но... Мара его непустила. Всю ночь он провел у нее. Результатом были гибель одного из миноносцев и арест командира эскадры. Эта кинематографическая картина только прибавила славы Маре. Но все же Берлин ответил отказом на мой запрос о сотрудничестве Мары.

В течение лета 1923 года я ездил еще два раза в Берлин, сдавал собранный материал, получал инструкции и деньги. Дорога моя лежала через Варшаву, где я получал деньги на дорогу до Берлина. Здесь кроме Вронского я познакомился с Кобецким.

Кобецкий, коренастый мужчина малоинтеллигентного вида, вместе с тем очень увлекшийся работой, иногда рассказывал мне о ее подробностях. Он очень жалел, что я не работаю вместе с ним.

Кобецкий был заведующим агентурой при варшавском полпредстве, Вронский же заведовал военной агентурой. Кобецкий, будучи человеком простого происхождения, обладал довольно недюжинными способностями в своем деле. Ему помогала хохлацкая сметка, и недаром после того, как его роль была разоблачена польской «дефензивой», в одной из вечерних газет Варшавы Кобецкий был назван королем шпионов. Пользуясь огромными средствами (месячный бюджет агентуры при полпредстве равнялся 20 тысячам долларов), Кобецкий раскинул шпионскую сеть по всей Польше. У него было три конспиративные квартиры в Варшаве, где он и встречался с сотрудниками. Он же руководил деятельностью известных польских террористов и шпионов Багинского и Вечоркевича. Судьба Кобецкого была печальна. Разоблаченный и избитый полицейскими агентами, он должен был вернуться в Москву.

Также была печальна и участь Вронского. После его разоблачения в Варшаве он должен был приехать в Вену, но и здесь оставался недолго. Его отправили в Париж, где и поставили во главе уже имевшейся там шпионской организации. Эта организация была очень близка французской компартии и благодаря этому соседству стала известна и французской полиции. Вскоре вся организация была арестована, и

Вронский-Еленский, бывший атташе варшавского и венского полпредств, сидит в настоящее время во французской тюрьме.

Работа моя получила одобрение у Мартова и Короткова, я начинал пользоваться все большим и большим доверием.

**Политическое положение осенью 1923 г. — Ажиотаж и надежды Берлинского полпредства на германскую революцию. — Военные планы Советской России. — Мне дается новое поручение в Румынию. — Встреча с Инковым. — Причина его отозвания из Вены. — Новый вызов меня в Берлин. — История устройства финляндского консульства в Констанце. — Густав Апельгрэн — финляндский консул и его возлюбленная Акса Линдт — агентша ГПУ. — План устройства меня секретарем консульства. — Ужин в Альказаре и история одной расписки. — Наш отъезд в Румынию**

Во время моего последнего приезда из Румынии в Берлин в сентябре 1923 года я застал в берлинском полпредстве большое оживление.

Приемные комнаты полпредства были полны народу. Мартов и Степанов работали в своем кабинете с утра до ночи. В помещение агентуры вносили какие-то пакеты, свертки, гранки и матрицы. Въезжали автомобили, их нагружали какими-то ящиками, курьеры на мотоциклетах разъезжались во все стороны.

После моего доклада Короткову он попросил меня прийти вечером, ибо Степанов с Мартовым хотели поговорить со мною, но в течение дня они были слишком заняты.

Вечером я зашел в кабинет Степанова. Он сидел вместе с Мартовым и разбирал почту. Встретив меня и предложив мне сесть, он тотчас приступил к делу. «Товарищ Морской (таков был мой псевдоним в полпредстве), мы очень дорожим вашей работой и сейчас возлагаем на вас новое и весьма важное поручение. Дело в том, что не позже как через месяц во всей Германии вспыхнет революция. Начнется она одновременно из Гамбурга и Дрездена. Сигналом послужит крупное вооруженное столкновение на улицах Берлина. Потом оно разольется по всей Германии. Есть полное основание думать, что Франция отправит свои войска для подавления революции. При первом же появлении хотя бы одного французского солдата в Германии — будут ли они отправлены по собственному почину Франции или же по приглашению одной из реакционных групп, — Красная армия, и, в частности, красная кавалерия

прорвется в Германию. Уже заключено соглашение с Литвой о пропуске советских войск.

В случае, если Польша заколеблется, она будет раздавлена. Все необходимые перемещения войск будут закончены в середине октября — к моменту начала революции. Для Советской России чрезвычайно важно, чтобы Румыния сохранила нейтралитет. Как плата за сохранение нейтралитета — признание Бессарабии за Румынией, что мы сообщим ей заблаговременно. Вам будет дана миссия наблюдения за политическим и общественным мнением в Румынии в течение конфликта, а главное, за ее военными приготовлениями, если таковые последуют. В случае, если Румыния станет подготавливаться к войне и начнутся перемещения войск, вы должны срочно сообщить по телеграфу в Вену и Берлин. Происшедшие в последнее время изменения в дислокации румынской армии, а именно перемещение V корпуса из Добруджи в Браном (после прихода к власти в Болгарии правительства Цанкова уменьшилось напряжение румыно-болгарских отношений) и распределение дивизий этого корпуса по линии Серета заставляет Советскую Россию особенно внимательно отнестись к Румынии, к ее военным планам.

В случае войны с Румынией вы должны остаться в тылу румынской армии и сообщать все новости из Румынии по указанному адресу в Вену. Мы работаем сейчас над созданием новой комбинации, которая позволит нам иметь для вас максимум безопасности, а именно — мы устроим вас в одном из иностранных консульств в Бухаресте. Пока что поезжайте назад в Кишинев и продолжайте свою работу; в случае необходимости вашего приезда мы вас вызовем».

Сообщение Степанова меня потрясло. С одной стороны, я был очень обрадован оказанным мне доверием и заботой о моей безопасности, а с другой — я думал: «Кто же кому служит? III Интернационал — Советской России или же Советская Россия — III Интернационалу?»

Я видел, что во имя германской революции весь русский народ бросается в новую войну, новую авантюру, это тогда, когда еще не зажили раны, нанесенные последней войной и революцией. Во имя этого же дела Советская Россия соглашается признать оккупацию Бессарабии, т. е., иначе говоря, пожертвовать национальными интересами России.

Я пробыл еще два дня в Берлине, заходя по различным делам в полпредство. Действительно, в эти дни помещение агентуры полпредства напоминало наш Военно-революционный комитет за несколько дней до начала вооруженного выступления. В отдельных комнатах происходили таинственные совещания, появилось много новых людей и — характерная особенность — немецкая речь вытесняла русскую.



*Сберегательный банк — одно из первых уникальных зданий Бухареста*

Случайно встретился я и с Инковым, но он потерял свое олимпийское величие и терпеливо ждал очереди к Степанову. Увидя меня, он очень обрадовался, и минут десять я беседовал с ним. Он мне рассказал, что предстоят большие события, что из России пришло много видных революционеров во главе с Радеком, что уже составлен список будущего германского советского правительства, и революции ждут с минуты на минуту.

Вскоре я узнал от Мартова причину удаления Инкова из Вены.

Инкову удалось наладить огромную сеть агентуры в Румынии. Среди агентов был ряд лиц, дававших очень интересные сведения. Так, например, среди них был некто Киселев — секретарь болгарского посольства в Бухаресте, бывший член военной петлюровской миссии в Бухаресте майор Чайковский, который только что окончил Высшую военную румынскую школу и был прикомандирован к 1-му полку тяжелой артиллерии, брат одного министра Бессарабии и адъютант командира корпуса жандармов, а также ряд офицеров действительной службы. Связь со всеми агентами Инков держал через особых курьеров. Одним из этих курьеров был офицер бывшей австро-венгерской армии Руменович.

Однажды Инков вызвал Руменовича и поручил ему объехать всех его агентов в Румынии, чтобы раздать им жалование и собрать у них документы. Руменович успешно выполнил поручение, но перефотографировал не все документы. Далее с помощью этих документов он начал шантажировать Инкова. Не получив от Инкова требуемой суммы, Руменович обратился к некоему Радою — румынскому вице-консулу и агенту румынской политической полиции. Радой быстро оценен стоимость этих документов и купил их у Руменовича. Результатом этого был громкий процесс в Бухаресте, где на скамье подсудимых очутилась вся агентура Инкова. Как только об этом стало известно Москве, Инкова убрали из Вены.



Публика 30-х годов XX века любила нежиться на пляжах французского мыса Антиб

В Кишинев я ехал со смутным настроением. В свое время командировку в Румынию я принял с удовольствием. Это не была работа в эмиграции, где приходилось предавать и обманывать людей, с которыми был раньше близок, которых уважал и любил. Когда я работал в Румынии, мне казалось, я делаю национальное русское дело. Но вот теперь из-за Советской России снова выплывал лик III Интернационала, готового пожертвовать во имя своих целей чем угодно, вплоть до самой России. Но... надо было творить волю пославшего. Чуть ли не на пятый день моего пребывания в Кишиневе я получил телеграмму с вызовом в Берлин. Я тотчас же выехал туда.

Ирония судьбы... В это время кишиневская полиция обратила внимание на мою деятельность и начала разыскивать меня, но я уже был далеко.

По приезде в Берлин Мартов в кратких словах объяснил всю историю.

Русская агентура в Гельсингфорсе в числе прочих агентов имела некоего Карла Норстрема, уже пожилого человека, бывшего капитана парохода, ходившего между Гельсингфорсом и Петербургом. Этот Карл Норстрем работал под фамилией Богданов и был женат на русской уроженке Туркестана. У него был приятель Густав Апельгрэн, тоже капитан большого океанского парохода шведской компании, брат крупного промышленника в Гельсингфорсе.

В это время финляндское правительство подготавливало открытие ряда новых консульств в различных странах Европы. Большинство из этих консульств должно было быть почетными, т. е. без оплаты содержанием со стороны финского правительства. Среди этих консульств было и консульство в Констанце. Эти сведения дошли до Норстрема, и ему пришлось в голову воспользоваться случаем и всунуть в состав этих консульств несколько большевистских агентов.

Для консульства в Констанце его выбор пал на Густава Апельгрэна. Он имел все основания быть

назначенным на пост финляндского консула в Констанце. Очень представительный, пожилой, за пятьдесят лет, знавший несколько иностранных языков, а главное, имеющий протекцию брата, у которого были связи в министерстве иностранных дел.

Среди агентуры ГПУ в Гельсингфорсе имелась сотрудница Акса Линдт. Блондинка, высокого роста, с широко раскрытыми, почти кукольными голубыми глазами, она поражала всех своей красотой. Ей то и было дано задание заманить Апельгрэна. Она поступает к нему на пароход в качестве бар-герл, и очень скоро почтенный капитан парохода — у ее ног. Но у Апельгрэна была семья, пожилая жена и дети в Гельсингфорсе. Его связь с Аксой Линдт скоро стала бы известна, и Акса начинает убеждать Апельгрэна в необходимости покинуть Гельсингфорс и вообще Финляндию. Она предлагает ему бросить службу на пароходе и попытаться получить место финляндского консула в Констанце. Тут же она сообщила ему, что знает пароходную компанию, которая имеет свои интересы на Черном море и которая готова платить Апельгрэну жалованье, если он отправится туда.

Апельгрэн идет в министерство иностранных дел и довольно легко получает пост финляндского консула в Констанце. Любителей на этот почетный, но бездоходный пост не оказалось.

Из Гельсингфорса Апельгрэн едет в Берлин, где, по словам Аксы, находится центральное управление пароходной компании, обеспечивающей его пост в Констанце. Вместе с Апельгрэном в Берлин едет и Норстрем, который все время поддерживал Аксу в ее уговорах Апельгрэна. Всякое сомнение у Апельгрэна пропало, особенно после того, как Акса вручила ему 300 долларов, полученных, по ее словам, от компании на их дорогу до Констанцы.

По приезде в Берлин Апельгрэну было сообщено, что это русская пароходная компания, и так как все пароходные компании в России национализированы, то и управление делами этой компании находится в помещении торгпредства.

Здесь, в шикарном кабинете, чуть ли не самого торгпреда и состоялось первое свидание Апельгрэна с агентами... берлинской резидентуры ГПУ, выдавшими себя за директоров компании.

После туманных слов об интересах на Черном море, о предстоящих покупках пароходов и о невозможности для России иметь своего представителя в Румынии по политическим соображениям Апельгрэну было предложено взять на себя наблюдение за интересами общества, а в чем они будут заключаться, он может узнать от одного молодого человека, которого компания даст ему в помощь и которого он должен будет взять в качестве секретаря консуль-

ства. За эту службу ему было обещано содержание в двести долларов в месяц.

Свидание же с этим молодым человеком, а именно со мною, состоялось уже в помещении полпредства. Степанов обставил это свидание довольно торжественно. Густав Апельгрэн был проведен на второй этаж в одну из гостиных. Меня ввел и представил Степанов. Усевшись в глубокие кожаные кресла, Апельгрэн, Степанов и я в течение десяти минут говорили о различных пустяках. После этого раскланялись, причем Степанов указал Апельгрэну, что в будущем он все указания, а также ежемесячный гонорар будет получать через меня, прибавив, что я знаю Румынию, говорю по-румынски и по-французски и, несомненно, буду очень полезен г-ну Апельгрэну. Я условился зайти на другой день к Апельгрэну, чтобы наладить все технические подробности нашего отъезда.

Вечером Степанов мне рассказал всю историю уговора Апельгрэна, роль Аксы в этом деле и передал шестьсот долларов — трехмесячный гонорар для Апельгрэна, — причем просил меня взять от него расписки в такой редакции, что он эти деньги получил от полпредства СССР в Берлине.

Утром я был в отеле «Эксельзиор», где оставился Апельгрэн. Здесь я впервые познакомился с Аксой Линдт. Она, как видно, была осведомлена обо мне, ибо бросила на меня испытующий взгляд. Меня поразила в ней прелесть, но в то же время и холодность ее взгляда. В нем было что-то жестокое. Впоследствии я узнал, что Апельгрэн был мазохистом и власть Аксы над ним, часто проявлявшаяся побоями, была безгранична.

Мы вместе пообедали у Кемпинского, условившись на следующий день утром закончить все дела с паспортами и визами, а вечером вместе поужинать. Так было сделано. Утром мы с консулом получили все необходимое для нашего отъезда, а вечером встретились в «Альказаре». Еще днем я передал Апельгрэну его шестьсот долларов. Вечером после сильного воздействия я подsunул ему три расписки. На первой был простой текст: «Получил 200 долл.», а последующие гласили: «От берлинской резидентуры ГПУ за сообщенные сведения 300 долл. получил». Он подписал их не глядя.

Апельгрэн был в наших руках!

**Устройство финского консульства в Констанце. — Я еду с десятком финских паспортов в Вену. — Перемены в венском полпредстве. — Уход Инкова и причины его. — Лугановский. — Мой спешный вызов в Вену к Иоффе. — Венская румыно-советская**

**конференция. — Отъезд консула Апельгрэна и мое назначение консулом. — Устройство тайной радиостанции в Бессарабии. — Работа болгар — советских шпионов в Бухаресте. — Я уезжаю вместе с консульством в Вену**

По приезде в Констанцу я начал искать помещение для консульства. После долгих поисков мне удалось снять отдельную меблированную квартиру.

Много времени отняло исполнение различных формальностей; необходимо было получить королевский приказ об учреждении консульства и сделать ряд визитов различным дипломатическим представительствам как в Бухаресте, так и в Констанце.

В Бухаресте генеральным консулом Финляндии был швейцарский еврей Безансон, не имевший ничего общего с Финляндией и получивший этот пост благодаря знакомству с финским посланником в Константинополе (в Бухаресте финского посольства не было). Приезд Апельгрэна, настоящего финна и прямо из Гельсингфорса, обеспокоил г-на Безансона. В Апельгрэне он видел своего соперника. Все же Безансон оказал нам хорошую встречу и много помог нам в дальнейших хлопотах.

Из-за незнания Апельгрэном французского языка всюду с ним вместе ходил и я. Моя помощь была ему незаменима и в вопросах этикета, в которых он был не особенно осведомлен.

Благодаря своему положению секретаря консульства я завел много знакомств в дипломатической среде и среди военных и имел возможность собирать информации, интересующие Советы. Одновременно я следил за газетами Берлина, но, как видно, расчеты берлинского полпредства на германскую революцию не оправдались. Революционное движение пошло на убыль.

Весь декабрь я провел в Констанце и лишь изредка выезжал в Бухарест для встречи с моими агентами. Поручик Томашевский мне передал ряд статистических данных о румынской авиации, а также воздушные снимки с ряда аэродромов Румынии.

В начале января 1924 года я получил сообщение из Берлина, в котором мне предлагалось взять восемь бланков финских заграничных паспортов и заполнить их соответственно приложенному списку. Тут же прилагалось восемь фотографических карточек. Фамилии имели шведские и финские окончания. Я взял бланки паспортов, и в течение одного дня все паспорта были готовы; далее, пользуясь удостоверением секретаря консульства, в очень короткий срок в Бухаресте я поставил все нужные выездные визы. Сам Апельгрэн об этом ничего не знал, а ключи от стола, где хранились сто паспортных блан-

ков, мне передала Акса. Себе я тоже выдал финский паспорт и наверху написал: «Дипломатический». Имея, кроме того, удостоверение от министерства иностранных дел в Бухаресте, довольно легко получил дипломатические визы. Вещи мои не осматривались, будучи запечатаны печатью консульства.

Чуждое здание русского посольства в Вене было завешано изнутри красными и черными знаменами по случаю смерти Ленина. Убранство же посольства осталось прежним. На место Инкова из Варшавы был прислан Лугановский. Он очень хорошо и точно описан Беседовским в его воспоминаниях, и мне придется только их дополнить еще описанием моих личных с ним встреч. Как сейчас вижу его перед собой. Блондин, с серыми холодными глазами, высокомерным ртом и упрямой линией подбородка, одет всегда очень элегантно. Я передал ему паспорта, собранные документы и информации, мой доклад. Наш первый разговор был очень коротким. Я ему рассказал об устройстве нашего консульства. Он попросил меня побыть в Вене два дня, пока он не подготовит новые инструкции.

Действительно, через два дня я получил напечатанные на машинке инструкции. При прочтении их меня поразила невероятная детальность поручений, иногда абсолютно невыполнимая.

Например, мне предлагалось найти ряд сотрудников среди железнодорожных служащих чуть ли не на каждой узловой станции, дабы быть через них в курсе всех военных перевозок. Как видно, эти инструкции были посланы из Москвы в виде общего руководства.

Я вернулся назад в Румынию, но не прошло и двух дней, как я получил снова спешный вызов в Вену.

Лугановский выслал меня встретить на вокзале, и оттуда меня привезли в полпредство.

Он принял меня очень внимательно и объяснил, что в начале марта в Вене соберется румыно-советская конференция. Русская делегация на этой конференции, вероятно, будет возглавляться А. Иоффе, который уже прибыл в Вену. Сейчас он занят изучением всех документов, касающихся советско-румынских отношений. Еще в Берлине Иоффе сообщили относительно меня, и он хотел лично получить от меня ряд информации, касающихся внутреннего положения Румынии.

Сейчас же в автомобиле вместе с Лугановским я проехал к Иоффе. Иоффе был болен и лежал в постели. Около него на двух стульях лежала масса бумаг, брошюр и справочников. Он попросил нас сесть и приготовился слушать. В течение двух часов я рассказывал ему о положении в Румынии и Бессарабии.

В частности, я отметил, что, за исключением малочисленной коммунистической партии, все осталь-

ные политические партии Румынии совершенно единогласны в вопросе о Бессарабии и нет оснований думать, что румынская делегация вступит в какой-либо разговор по данному вопросу.

Вопрос о Бессарабии поставлен в виде основного национального вопроса для Румынии, и ни одна партия не осмелится даже заикнуться о пересмотре этого вопроса, не рискуя потерять свой престиж.

Единственно, на что согласились бы румыны, — это материальная компенсация за Бессарабию, и то под видом оплаты оставшегося в Бессарабии имущества России. Кроме того, по имевшимся у меня информациям, послы великих держав дали понять Румынии, что в вопросе Бессарабии она может не делать уступок Советской России, а так как все экономическое благосостояние Румынии зависело в данный момент от надежд на заключение внешнего займа во Франции и Англии, то вряд ли Румыния пошла бы наперекор и своим национальным интересам, и советам великих держав.

Мое сообщение шло, как видно, вразрез с имевшимися у Иоффе сведениями; он покачал головой и сказал: «Не знаю, буду ли я на конференции или нет, но мне кажется, что из конференции ничего не выйдет». И добавил, помолчав: «При этом курсе политики в отношении Румынии, который взяли наши “головотяпы”, самое большее, что может выйти из бессарабского вопроса, — это новая война, и тогда еще неизвестно, кому будет плохо, ибо, как говорят в Москве, один Буденный — хорошо, а много Буденных — это Красная армия». Предсказание Иоффе в первой его части сбылось. Венская конференция лопнула, и в связи с ее крахом наметились новые планы Коминтерна.

Вскоре после Венской конференции я снова приехал к Лугановскому. Причиной моего приезда было требование Апельгрена увеличить ему жалование до трехсот долларов. Он, как видно, почувствовал, в чем было дело. Никаких сделок с покупками судов, никаких дел с пароходным обществом и только мои частые поездки в Вену. В виду того, что я не мог самолично удовлетворить требование, я поехал в Вену к Лугановскому.

Лугановский был очень недоволен и сказал, что Апельгрена надо убрать. «Но сперва из него надо выжать все, что можно. Пришлите его сюда, я сам с ним переговорю. А пока отправляйтесь назад в Румынию».

Положение было очень острым. Лугановский вкратце изложил мне новый план Коминтерна об устройстве революции на Балканах. Очагом этой революции должна была быть Болгария с сильным коммунистическим движением. И снова Красная армия должна была прорваться через Румынию на помощь восставшему болгарскому пролетариату. По-



*...колоритные дворы, где кипела жизнь простых обывателей Генуи и их отпрысков...*

водом для вступления Красной армии в Румынию должно было послужить крестьянское восстание в Бессарабии. Организацию этого восстания и руководство им взяла на себя организация «Закордона» в Одессе. Она должна была послать этих агентов в бессарабские села, доставить оружие и дать сигнал к началу восстания.

Лугановский просил меня отправиться в Бессарабию и найти где-нибудь, в зоне радиуса ста километров от Одессы, небольшой домик для устройства в нем тайной радиостанции. Одесса должна была быть приемным пунктом. Целью станции было сообщение о ходе восстания. Телеграфист должен был приехать позднее.

Я отправился в Констанцу, а оттуда в Бессарабию, предварительно сообщив консулу Апельгрону, что его вызывают в Вену. Сняв небольшой домик недалеко от грязевой станции Тузлы, я вернулся в Констанцу. Через несколько дней вернулся и Апельгрэн



*...суровые финские пейзажи*

и привез мне письмо от Лугановского. Лугановский мне сообщил, что с Апельгреном заключена следующая сделка. За плату в тысячу долларов он должен был оставить Констанцу, уехать в Гельсингфорс и там устроить мое назначение консулом в Констанцу на его место. Самое интересное, что тут же Лугановский мне сообщил, что этих денег Апельгрону и не собираются дать, а, выждав мое назначение консулом, дадут ему сто долларов «на затычку», пригрозив ему разоблачением, если он будет протестовать. Апельгрэн начал готовиться к отъезду. Меньше всего была довольна Акса; как видно, ей понравилось в Констанце и уезжать в Гельсингфорс она не хотела. Недели через две после его отъезда я получил телеграмму из министерства иностранных дел в Гельсингфорсе, что я назначен временно консулом в Констанце. С тех пор больше никаких сведений от Апельгрена я не получал.

Зато Лугановский передал мне целое новое дело. Среди его агентов в Бухаресте был некто Шпак, работавший под именем Константинов. Этот Шпак играл видную роль в подготовке восстания в Болгарии и должен был оттуда бежать. Его послали в Бухарест, где он наладил большую шпионскую организацию, главным образом из болгар, служивших в различных военных учреждениях. Попав снова под подозрение полиции, Шпак должен был скоро бежать за границу, оставив организацию, документы и целый ряд печатных машин, под видом продажи которых он и жил в Бухаресте. Расхлебывать всю эту историю пришлось мне.

Приехав в Бухарест, я разобрался во всем деле и отправил машины дипломатическим багажом назад в Вену. Все это время один из участников этого дела начал мне угрожать доносом в полицию и вообще я заметил, что за мною начали ходить полицейские агенты. Я встретил на улицах Бухареста Брюханова и Азиевича — агентов английской контрразведки, знавших меня и мою работу у большевиков. Ясно было, что меня скоро арестуют.

Я поставил в известность обо всем Лугановского и просил распоряжений. Через несколько дней я получил от Лугановского очень кислое письмо в том смысле, что если я так перетрусил, то, конечно, могу, закрыв консульство, выехать в Вену.

Через два дня, запаковав все, я выехал в Вену, куда и приехал 2 мая 1924 года.

**Гнев Лугановского. — Мне дается месячный отпуск. — Встреча с Мартовым. — Паника в Берлинском полпредстве во время обыска германской полиции в здании торгпредства. — Откровенности Мартова. — «Советская» и «жидовская» морда. — Лугановский меня вызывает спешно в Вену. — Подпись Гучкова. — План взрыва в Котроченах и просьба Лугановского о перевозке адской машины. — Мой отказ и новая командировка в Румынию. — «Румыния — наш ударный фронт!» — «То, чего мы не можем добиться в России». — Мой арест и суд**

Лугановский встретил меня очень неприветливо, но, видя мое нервное состояние (последние три года совершенно расшатали мою нервную систему: у меня начало дергаться произвольно лицо и я потерял сон), он успокоился и просил меня взять месячный отпуск.

Отпуск я провел в Берлине, где устроился в маленьком санатории.

Тотчас же по приезде в Берлин я зашел в полпредство к Мартову.

Мартов, увидя меня, был очень обрадован. Спрашивал, как кончилось дело с консулом и как вообще идет моя работа с Лугановским. К Лугановскому Мартов относился очень презрительно, считая его человеком с весьма неприятным характером и очень неровным в работе.

Здесь же в полпредстве, в кабинете Мартова, я пережил обыск, произведенный берлинской полицией в помещении торгпредства. При первом же известии об обыске в полпредстве началась паника. Зазвенели телефоны, забежали в разные стороны сотрудники.

Мартов со Степановым с испуганными лицами, захватив с собой несколько сотрудников, в том числе и меня, бросились наверх. Как видно, опасались, что вслед за торгпредством обыск может начаться и здесь. Целые пачки бумаг, документов, паспортов, фотографий начали сносить в подвал, где был устроен секретный тайник. Мартов рвал и сжигал письма и списки. В первую очередь были сожжены списки и донесения агентов берлинского полпред-

ства, находившихся на службе в берлинской полиции и в различных германских государственных учреждениях.

Через полчаса паника улеглась и уступила место веселому настроению. Смеялись над полицией и над возможными результатами обыска в торгпредстве. Мартов прямо заявил, что в торгпредстве они ничего не найдут, даже секретные экономические дела спрятаны так, что до них не доберутся. Все же отношения между берлинским полпредством, или, вернее, Коминтерном и германской компартией хранятся на особой конспиративной квартире.

Я остался в кабинете наедине с Мартовым. Он грустно покачал головой и сказал: «Все-таки эта история с обыском наводит меня на грустные размышления». «Проиграли, — он выразился энергичнее, — мы удобный момент для германской революции, а такие исторические случаи повторяются редко. На нет сошла вся наша работа, а германская буржуазия никогда не простит нам наших приготовлений. Этот обыск есть первое доказательство. А дальше? Пойдет еще хуже. Да и вообще... куда мы идем? Вот мы истратили большие деньги на борьбу с эмиграцией, но эмиграция не уменьшается, а даже растет. В Москве не могут сдержать наплыва желающих выехать за границу. Даже царское правительство было умнее в своей борьбе с тогдашней эмиграцией. Вот мы выпустили «сменовеховцев» и сейчас же испугались и зажали их. Результат получился обратный. Да и вообще мы теряем революционный размах. Вот Зиновьевым проводится сейчас новый план революции через Балканы. Но это последняя проба пера. Вообще, как замешается какой-нибудь жиденок, все идет прахом. Так было с Радеком здесь, так будет с Зиновьевым там».

Этот антисемитизм со стороны Мартова меня не удивил. «Жидовская морда» или «советская морда» — это были его излюбленные выражения.

За несколько дней до конца моего отпуска Мартов позвонил мне по телефону и просил зайти к нему в полпредство. Там он передал мне телеграмму Лугановского с просьбой срочно вернуться в Вену.

...Я выехал в Вену и застал Лугановского в большом оживлении. Он подготавливал план взрыва главного артиллерийского склада в Котроченах, недалеко от Бухареста (взрывы были манией Лугановского). План был составлен очень умело и приведен в исполнение до конца. Сущность его была в следующем.

Среди чешских рабочих, работавших на снаряжном заводе «Шкода», было несколько коммунистов, которые извещали пражское полпредство о всех транспортах со снарядами и оружием, идущих в различные страны Европы, и в особенности в Румынию.



*Тюрьма для политзаключенных Дофтана. Ее судьба оборвалась в 1930-х годах после разрушительного землетрясения*

Вот тут и возник план: среди снарядов, идущих в ближайшее время в Румынию, всунуть и одну адскую машину с двухнедельным часовым заводом. План этот зародился еще в феврале, но технические трудности этого дела были столь велики, что прошло более четырех месяцев, пока все было готово.

Чтобы не компрометировать пражское полпредство и скрыть все следы, дело было поручено венской агентуре. Самой адской машине был придан тоже вид снаряда подходящего калибра, причем она была легко разбираема на составные части. Теперь нужно было доставить этот снаряд в Прагу и передать по назначению.

Это дело Лугановский и хотел поручить мне, главным образом потому, что у меня был иностранный дипломатический паспорт.

Неожиданно для него я от исполнения этого дела отказался. Как причину своего отказа я выставил то обстоятельство, что у меня было очень много знакомых в Праге и что там меня разыскивали за старую деятельность, почему я и не хотел рисковать, чтобы не провалить всего дела. На самом же деле я не хотел вмешиваться в подобного рода деятельность. Мой отказ вызвал неудовольствие со стороны Лугановского, но я ему сказал, что моя нервная болезнь еще не окончилась, и показал докторское удостоверение. Скрепя сердце

Лугановский должен был продлить мне отпуск еще на полмесяца.

Через две недели я прочел в румынских газетах подробности ужасного взрыва в Котроченах, погубившего один из самых больших складов снарядов в Румынии и сопровождавшегося человеческими жертвами.

После окончания срока отпуска я был снова у Лугановского. У него в кабинете сидел Вронский, недавно приехавший из Варшавы. К моему удивлению, Лугановский предложил мне снова ехать в Румынию. Видя мое удивление, он мне объяснил: «Наша агентура в Румынии терпит неудачи одну за другой. Что бы мы ни делали, как бы мы ни прикрывали наших агентов, все же в конце концов они бывают разоблачены. Но все же Румыния для нас составляет ударный фронт!»

— Оттого, что мы сильно об него ударяемся, — заметил я.

— Нет, не потому, а потому, что мы не можем пробить его. Каждый румын, как видно, является агентом сигуранцы — это то, чего мы столько лет добиваемся и не можем добиться у нас в России, — закончил Лугановский.

Я ответил Лугановскому, что моя поездка в Румынию приведет к тому, что я несомненно буду арестован сигуранцей.



*То, что осталось от тюрьмы Дофтаны*

— Значит, вы боитесь туда ехать? — с ударением спросил Лугановский.

Мне стало досадно, и я принял эту командировку.

Снова мне был выдан фальшивый, теперь уже австрийский, заграничный паспорт на имя Оскара Спацека; снова был придуман для меня род занятий, на этот раз быть комиссионером по продаже аптекарских товаров. Местом моего пребывания в Румынии были избраны Черновцы.

Ехал я на этот раз в Румынию с тяжелым предчувствием.

Вся эта «работа» надоела мне. Вечно возвращаться в этой атмосфере обмана, шантажа, подлости и предательства становилось невозможным. Я задыхался и видел ясно, что я стал пешкой для выполнения различных преступных планов и замыслов и даже не советского правительства, а III Интернационала. Куда девались мои мечты о возможности эволюции советского правительства и о превращении его в невольного проводника русских национальных идей!

Видел я также, что нет надежд и на мое возвращение в Москву. Меня будут использовать до тех пор, пока не свершится что-то тяжелое и непоправимое...

И это тяжелое уже нависло надо мной. Я не успел пробыть в Черновцах и двух месяцев, как неожиданно на улице был арестован.

Непосредственной причиной ареста был донос моего бывшего агента поручика Томашевского в бухарестскую полицию. Полиции было известно о его сотрудничестве со мной, и она обещала ему крупную денежную награду и паспорт в Америку, если он сообщит ей обо мне. Он узнал случайно мой адрес в Черновцах и сообщил в Бухарест. К сожалению, одновременно, желая раздуть дело, он наговорил и на многих абсолютно неповинных лиц, в том числе и на чешского торгового представителя в Кишиневе старика Кольбабу.

Они все были арестованы, и мне стоило больших усилий доказать их невиновность.

В мае 1925 года начался мой процесс в военном суде III корпуса в Кишиневе.

Процесс длился около восьми дней, и в результате я был приговорен к максимуму наказания — к пяти годам тюрьмы-крепости и большому штрафу. Томашевский вместо премии получил три года тюрьмы, а Анна Штейн — один месяц. Остальные, в том числе Мара Шварц и Цанко Кильчику, были или не найдены, или оправданы. Особенно же трагическими были арест и смерть одного из моих сотрудников — студента-болгарина Калчева. Его бы вообще не арестовали, если бы слепой случай не подтолкнул его написать мне письмо в то время, когда я уже был арестован. В письме он сообщал и свой адрес.

Он жил на отдыхе на берегу моря недалеко от Констанцы в небольшой палатке.

Когда жандармы пришли его арестовать, он выхватил бритву и перерезал себе горло. Жандармы доставили в полицию его труп.

Этот случай произвел на меня ужасное впечатление и заставил еще раз задуматься над всем.

А для дум у меня было время!

Впереди было пять долгих лет тюрьмы.

**В румынской тюрьме Дофтаны. — Жизнь заключенных. — Советские деятели в румынских тюрьмах. — Макс Гольдштейн и его смерть на 56-й день голодовки. — Правая рука Раковского Бужор. — Инженер Гуров. — Секретарь болгарского посольства Киселев. — Крестьяне из Татарбунарского процесса. — Правда о Татарбунарском восстании. — Компартия Румынии. — МОПР и его деятельность**

В тюрьму я попал в самую ужасную, известную всей Румынии — Дофтаны. Эта тюрьма предназначалась для политических преступников и особенно опасных уголовников. Она помещалась на горах вдали

от города. Сама тюрьма, довольно хорошо построенная, была разорена во время войны и наполовину представляла из себя пустующую развалину.

Население тюрьмы достигало 300 человек, из которых около половины были политические. Такое большое количество объяснялось тем, что сюда привозили политических осужденных со всей Румынии.

Среди них было несколько заметно отличавшихся групп. Наибольшей по числу была группа крестьян, осужденных за Татарбунарское восстание. Затем следовали осужденные за шпионаж в пользу Советов, около тридцати человек, около пятнадцати человек — за шпионаж в пользу Венгрии, за террористические покушения, подготовку восстаний и т. д.

Затем следовала группа коммунистов, осужденных за пропаганду. Эта группа состояла из коммунистов-бессарабцев и коммунистов-венгров из Трансильвании. Коммунистов-румын почти не было. Лишь изредка попадали на короткие сроки два-три человека.

Материальное положение арестованных было очень тяжелое, так как администрация тюрьмы не давала даже необходимого минимума, но зато заключенные пользовались большой свободой. Закрыты бывали по одиночкам только ночью, а днем каждому предоставлялась полная свобода. Он мог делать, что хотел, как хотел и где хотел, лишь бы он оставался в стенах тюрьмы.

Таким своеобразным условием тюремной жизни пользовалась румынская компартия и постепенно превращала тюрьму в некий коммунистический университет.

Доставлялась в огромном количестве коммунистическая литература, иногда только что прибывшая из Москвы; в самой тюрьме устраивались специальные курсы для научного изучения «марксизма» и «ленинизма» и т. д. Но самое главное — здесь старались применить коммунизм к жизни. (Тюрьма, как видно, представлялась удобной средой для проведения интегрального коммунизма.) Эти попытки и привели к тому, что многие потеряли свой коммунистический идеал, и даже самые рьяные коммунисты, видя неуспехи своих попыток, приходили к убеждению, что коммунизм намного легче проповедовать, чем применять к жизни. Об истории различных коммун и коллективов в Дофтани можно было бы написать целую книгу с очень интересными выводами, но не в этом моя задача.

Здесь, в Дофтани, сидели наиболее видные представители румынской компартии.

Один из них — Макс Гольдштейн, подложивший бомбу во время заседания румынского сената. Бомба, взорвавшись, убила восемь сенаторов и одного епископа и ранила очень многих. В Румынии смерт-

ная казнь отменена, и Макс Гольдштейн был приговорен к бессрочной каторге. Но условия, в которые его поместили, были таковы, что он все равно не мог бы долго прожить. Один в целом корпусе тюрьмы, вечно с кандалами на руках и ногах, в тряпье вместо одежды и на голодном казенном пайке, он был обречен на смерть, которую сам и ускорил, объявив голодовку за изменение режима. На пятьдесят шестой день голодовки он умер от истощения.

Второй — известный румынский революционер, бывший одно время правой рукой Раковского, — Михаил Бужор. Фанатик и теоретик социал-демократической партии, Бужор был приговорен тоже к вечной каторге за попытку вооруженного восстания. Старый социал-демократ и, несомненно, в настоящее время ставший бы злейшим врагом Сталина и его молодчиков, он был подвергнут полной изоляции в течение десяти лет. Своим поведением он завоевал симпатии всех, начиная с администрации и кончая уголовными. Он часто выступал против вождей коммунистов, когда те зарывались и читали им нотации, так что одно время они объявили Бужора полоумным. Несмотря на широкие общественные протесты и кампании, румынское правительство продолжает держать Бужора взаперти, а жаль, ибо по свойствам своего честного и правдивого характера он не мог бы ужиться с нынешним уклоном коммунизма и постарался бы разоблачить его.

После этих двух величин идут звезды меньшей величины.

Мозес Каган — секретарь румынской компартии, довольно талантливый человек, но бездарный политик. Александр Киселев — бывший секретарь болгарского посольства в Бухаресте, на деле тоже оказавшийся большевистским агентом, тип политического авантюриста, как их изображают в сенсационных фильмах.

Инженер Александр Гуров, неожиданно для всех и больше всего для самого себя оказавшийся большевистской звездой, правда, не большой величины. Бывший «мартовский» эсер, сын крупного трактировладельца, был затянут в работу обещанием вернуть ему его сына, оставшегося в России, в течение двух лет ловко притворявшийся то украинцем, то монархистом и собиравший различные информации для советской России. Во время ареста был жестоко избит и потерял возможность ходить, за это был произведен в «мученики» румынской революции. Надеется в будущем сделать карьеру в советской России. Одно время был «троцкистом», но потом спешно покаялся.

Далее одно время сидел в тюрьме журналист Гройнин под фамилией Вольский, сотрудничавший в «Накануне». Гройнин был заманен в Румынию не-

безызвестным «генералом» Лохвицким (атаманом Искрой), оказавшимся и большевистским, и румынским агентом.

Кроме перечисленных сидело очень много русских офицеров и вообще русских людей, попавших в тюрьму из-за неправильно понятой русской идеи.

Особую роль играли среди них крестьяне Татарбунарского процесса. В большинстве это были матросы со звучными фамилиями, оканчивающимися на «енко». Затянуты они были в восстание преступной агитацией Советов. Им была обещана немедленная помощь Красной армии в случае их восстания.

Агенты III Интернационала старались возможно раздуть это дело. Из Парижа были вызваны Барбюсс и Торрес. Книжка Барбюсса «Палачи» была тесно связана с этим процессом. Татарбунарское восстание старались представить перед миром как взрыв народного негодования бессарабского крестьянина, поработенного румынской буржуазией. Но уж очень странно само совпадение срока восстания с планами Балканской революции Коминтерна, образованием Независимой Молдавской республики и болгарскими коммунистическими эксцессами. Кстати, и здесь была характерная для всех советских планов «неувязка». Татарбунарское восстание началось слишком преждевременно, спутав и нарушив все планы Коминтерна. Восстание было жестоко подавлено — более пятисот крестьян было арестовано, около двухсот пало жертвой преступных замыслов Советов. Имущество почти всех было конфисковано, и семьи арестованных владели самым жалким существованием. Несмотря на всю шумиху (германский комитет МОПРа и германская компартия взяли на себя «шефство» над татарбунарцами), помощи ни они, ни их семьи не получали. Все собранные деньги расходились неизвестно куда.

Все попытки компартии Румынии дать «политическое воспитание» попавшим в тюрьму крестьянам (одной из мер был отказ в материальной помощи тем, кто не следовал «советам» вождей) не привели ни к чему. В большинстве случаев все крестьяне выходили из тюрьмы яркими антикоммунистами. Этому помогло их близкое знакомство со всеми особенностями коммунистической политики. Румынская компартия, представлявшая из себя какой-то сплошной комок из интриг, растрат, полицейского провокаторства и наглого глумления над человеческим достоинством, особенно помогала процессу разкоммунизирования.

МОПР, созданный для помощи революционерам, находящимся в тюрьме, представлял политическую организацию пропаганды. Всякий «политический», не следовавший указаниям компартии, немедленно исключался из помощи МОПРа.

Растраты в МОПРе были обычным делом, и если заключенные не получали месяцами помощи, это означало, что один из «товарищей» бежал с вверенными ему деньгами. Интересно отметить, что все попавшие за шпионаж только тогда пользовались помощью МОПРа, когда они соответствовали видам компартии, т. е., иначе говоря, слепо следовали за всеми ее зачастую бессмысленными распоряжениями. А вообще говоря, они были как бы «товарищами» третьего сорта и даже права голоса на общем собрании политзаключенных не имели.

...Вся тюремная жизнь была наполнена ссорами, дразгами, сплетнями, доносами, а зачастую и драками. Поэтому большая радость охватила всех политзаключенных в день 10 мая 1929 года, когда румынское правительство дало частичную амнистию и общее сокращение срока заключения.

Среди освобожденных был и я.

Уже в течение моего пребывания в тюрьме обозначились серьезные разногласия между мной и коммунистами.

Все политические настроения и «уклоны» как бы автоматически передавались из Москвы. Поэтому я скоро был изобличен в оппортунизме, «правом уклоне», а в результате одной из последних голодовок, где я был в числе руководителей и, опираясь на крестьян, постарался прекратить ее, так как она зашла слишком за пределы разума, — меня уже называли «штрейкбрехером» и предателем. Полетели доносы в Москву.

В начале октября я приехал в Вену. Встреча была более чем холодная.

Лугановский уже три года как был переведен из Вены. Он в настоящее время находится в Персии, в Тегеране, где, вероятно, продолжает свою деятельность.

На запрос в Москву пришел ответ: выдать пропускное свидетельство и билет третьего класса до русской границы.

В то же самое время от одного близкого мне лица я получил извещение, что ехать мне в Москву нельзя, ибо ждет меня там или расстрел, или ссылка на Соловки.

Да и охоты туда ехать нет.

Я понял, что совершил самую большую ошибку в моей жизни.

И если я остаюсь жить, то только потому, что верю и надеюсь своей дальнейшей жизнью загладить эту ошибку.

Берлин. 20/V 1930 года

Публикацию подготовил  
к. и. н. член редколлегии «Московской энциклопедии»  
Н. Н. Митрофанов



Виктор КИРЮШИН



*Виктор Кирюшин — поэт, публицист, книгоиздатель.  
Родился в 1953 году в Брянске.*

*Автор трех поэтических книг, многочисленных публикаций в литературных журналах. Член Союза писателей России с 1989 года. Стихи переводились на европейские языки.*

*Лауреат премии Ленинского комсомола в области литературы и искусства, международной премии имени Андрея Платонова «Умное сердце».*

*Живет в Москве.*

## ЧТО ЕСТЬ ПОЭЗИЯ

**П**оэзия — то, что не поддается описанию и пересказу. В этом смысле Андрей Платонов для меня поэт. Каждый человек видит мир. Большинству этого достаточно. И только поэт всю жизнь бродит

впотьмах, натываясь на острые углы, сдирая кожу, пытаюсь опознать и назвать предметы, которые при дневном свете кажутся обыденными.

*Виктор Кирюшин*

\* \* \*

Тянемся взглядом за стаей гусиной,  
Но остаемся с тобою, река,  
С этой пылающей горькой осиною,  
С полем, еще не остывшим пока.

С этим проселком, где вязнут машины  
И безнадежно гудят провода,  
С рошей, глухими дождями прошитой,  
В блестках мерцающих первого льда.

Мы остаемся,  
Не в силах расстаться  
С небом, где ранняя зреет звезда,  
С непроницаемым сумраком станций,  
Мимо которых летят поезда.

Мы остаемся,  
Где веси и хляби,  
В нужды и беды уйдя с головой,  
Под нескончаемый жалостно-бабий  
Русской метели космический вой.



Что же нас держит?  
Вопрос без ответа...  
Просто в душе понимает любой:  
Только на этом вот краешке света  
Мы остаемся самими собой.

### Художник

Отгуляли дожди, отрыдали.  
За селом, за пригорком любим  
Загорелись родимые дали  
От промытых небес голубым.

Почернел у дорог подорожник,  
Пожелтела в полях лебеда,  
Словно выплеснул краски художник  
И ушел неизвестно куда.

Неудачник, бродяга, чудило —  
Завернулся в свое пальтецо,  
И звезда, что напрасно светила,  
Вдруг его озарила лицо.

По земле, что к полуночи дремлет,  
Нес он легкое тело свое,  
И ступал на родимую землю,  
И отталкивался от нее.

\* \* \*

О, непогодь лисья!  
Я чувствую зиму виском.  
Последние листья  
Горят на бульваре Тверском.

Ничейным трофеем  
Плывут по усталой воде,  
Где окна кофеен  
Подобны остывшей звезде.

Набухшие кровли  
Сосут мутноватую мглу.  
Немой иероглиф —  
Фигура бомжа на углу.

Он странен и кроток —  
Живой человеческий хлам

На фоне решеток,  
Авто и мерцанья реклам.

Что время уносит  
С последним закатным лучом?  
...А он и не просит  
Прохожих уже ни о чем.

\* \* \*

Как спящая женщина, дышит вода,  
И свет перламутровый брезжит.  
Однажды истлеют мои невода  
На теплом песке побережья.

Костер, согревавший так долго во мгле,  
К утру равнодушно остынет.  
Душа, прикипевшая к этой земле,  
Ее неизбежно покинет.

Струится поющий камыш у лица  
И манит куда-то протока —  
Другому удача и зверь на ловца,  
Но тоже до срока,  
До срока.

За лодкой легко разойдутся круги,  
Растают в тумане белесом  
Мерцание лилий, и запах куги,  
И зыбкое зеркало плеса.

Предутренний луч и заката кайма...  
Спасибо, что был я на свете.  
На свете, который меня не поймал  
В свои золотистые сети.

\* \* \*

Здесь только воронье витийствует картаво,  
А я хочу к тебе, в убежище твое  
В полутора часах от городских кварталов,  
Где яблони цветут и сушится белье.  
Еще не пить с утра я не давал зарока,  
Но трезвый, как стекло, лишь кепка набекрень.  
А вот и на столбе знакомая сорока,  
Крылечко во дворе и пылкая сирень.  
Что будет, поглядим, а прошлого не жалко,



Хотя оно внутри, как взведенный курок.  
Сто первый километр все та же коммуналка:  
Распахнутая дверь, веселый матерок.  
Иному тяжкий крест, а грешнику отрада,  
Я всплеском этих рук заведомо сражен.  
Не верю, что ждала, но так наивно рада  
Случайная моя и лучшая из жен.  
Потом минует день и вскрикнет электричка,  
И я тебе шепну: «Любимая, держись!»  
Платок твой вдалеке погаснет, будто спичка,  
А может быть, свеча,  
А может быть, и жизнь...

### XXI век

Век непредсказуемых затей.  
Плен неосязаемых сетей.  
Словом, отравляющим, как яд,  
Божий мир на атомы разъят.  
Свет пространство уступает мгле,  
Истина — подобью, страсть — игле...

Но плывет под солнцем и луной  
Маленький и хрупкий шар земной.  
Соловьи ревнуют соловьи,  
Пахнут мятой волосы твои.  
И пока любовь всего ценней,  
Век-обманка, я тебя сильнее!



Георгий ПРЯХИН



*Георгий Пряхин родился в 1947 году в селе Николо-Александровское Ставропольского края. Рано остался без родителей и воспитывался в школе-интернате № 2 г. Буденновска. Служил в армии, окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в различных газетах, в том числе в «Комсомольской правде», где прошел путь от собственного корреспондента до заместителя главного редактора. Был политическим обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 год работал в ЦК КПСС, затем — консультантом Президента СССР М. С. Горбачева.*

*В русской литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была сразу же опубликована в самом престижном журнале тех лет «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Это произведение, посвященное детворе послевоенных лет, затем вышло в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, которая была признана лучшей книгой молодого автора за год.*

*Его перу принадлежат несколько книг. Г. Пряхин публиковался также в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Японии и других странах. Широко издававшаяся и переиздающаяся сейчас книга Раисы Горбачевой «Я надеюсь...» представляет шесть ее интервью Георгию Пряхину.*

*Писатель был удостоен чести выступить с короткой лекцией в Доме Д. Джойса в Дублине. Награжден Всероссийской литературной премией имени Александра Грина и премией журнала «Юность» имени Валентина Катаева.*

## ГРЕХОПАДЕНИЕ

СТЕПНАЯ НОВЕЛЛА

Рахимжану Отарбаеву

**П**ервое мое грехопадение состоялось в яслях. Нет, слава богу, не в детских — туда отродясь не ходил. В самых натуральных — в таких когда-то, на первых порах, обретался и сам новоявленный Сынок сразу троих родителей.

Есть, есть свой смысл в том, что обыкновенные деревенские ясли на необыкновенном литературном языке именуются — вертепом!

Наш вертеп вполне приличный.

Из него кормилась корова Ночка, а значит, из него кормилась и вся наша семья, в которой при наличии троих малолетних сыновей налицо не было

не то что двоих, но даже и одного прародителя мужского пола.

Сыновья, разумеется, и зарождались, и появлялись самым что ни на есть обыкновенным, вполне человеческим, грешным путем. Но вот прародители их умудрялись как-то очень уж быстро, до с р о в, по-военному, по-фронтовому обернуться одним только духом. Увы, не святым, но и им в нашем доме уже почти не пахло.

Две особи исключительно женского рода — знали бы вы, с какой лиловой, полночной поволокою были глаза у Ночки: если уж н о ч ь нежна, то



н о ч к а еще желаннее! — несли на себе все тяготы нашего немаленького, но все равно горестно неполного семейства.

Мать и Ночка.

Звучит прямо как мать-и-мачеха. В одно слово.

Хотя в данном случае обе почти на равных — матери.

Не только потому, что у Ночки каждый год — ну да, с такими-то глазами! — появлялся под выменем очередной махонький, на дрожащих ходульных ножках, теленочек.

И каждый раз, заметьте, тоже — бычок.

Бычка своего она выкармливала — во имя заготовок, куда по прошествии полугода его уводили в зачет сельхозналогов, с которыми мать ну никак не могла справиться, закрыть их без Ночкиной святой жертвы. А нас — выпаивала.

Во имя будущей армии: мать почему-то часто и горько поминала об этом, загодя горевала, хотя ей так и не довелось дожить, дотянуться — всю жизнь в нитку вытягивалась — до того часа, когда сыновья ее, один за другим (и впрямь ни одного не миновала чаша сия), подпадут под призыв.

Ночка нежно и даже истово облизывала бычков своих, тоже как бы загодя зная, на какие муки их от нее вскорости уведут. Иногда в материнском своем исступлении она промахивалась и шершавым, сочным языком своим проходила ненароком и по нашим голомызым затылкам.

Мать тоже тянулась напитать, н а г о д у в а т ь, как выражались наши местные хохлы, нас наперед, на вырост.

Тогда же предчувствовала, что ждет нас там, за скорым порогом.

\* \* \*

Если под одной крышей с домом, потому что корова жила по существу вместе с нами — да и грех было выставлять кормилицу вон. Сарая, коровника у нас не было: просто часть дома отведена под сарай. Дом, по тогдашним деревенским понятиям, большой, причем не мазанка, не землянка, чьи окна, как перископы, выглядывают из-под земли, а настоящий, высокий, хоть и саманный, с чердаком и двускатной, правда, камышовой крышей. Настолько большой, что в войну сюда подсаляли беженцев из Ленинграда. В доме пробиты второй вход, и он разделен надвое. Одна из комнат стала вторыми сенями — в них после, уже на моей памяти, уже после войны и отъезда беженцев, и подсадили Ночку.

Когда она во сне, как и наша мать, глубоко вздыхала под тяжестью каких-то своих бессонных дум, вздох ее слышал, ощущал весь дом. Теплый трепет проходил по нему аж до слухового оконца.

Зимой же она своим дородным телом исправной роженицы, шумно умягивавшейся на чистой, ежедневно сменяемой матерью соломенной подстилке, подогревала всю хату, как вторая церквообразная русская печка.

Летом Ночка в коровнике не стояла. Предпочитала свежий воздух. Да мы и сами ночевали иногда во дворе. Лета длились знойные, между выгоревшей землю, степью и не менее выгоревшим, обесцвеченным небом устанавливалось некое силовое поле, громадная, совершенно пустая, разреженная и обезвоженная, но все же отчетливо соединительная зона неведомой гравитации, в которой мы все существовали в каком-то невесомом, полуобморочном состоянии. Ночке труднее, чем нам. Все же ей, породистой кормилице, невесомость не давалась. И она, вернувшись с выгона, где также не столько паслась, сколько отлеживалась на солнце-пеке, сразу искала вечерний тенек и долго стояла, рымыгала вхолостую, прислонившись к саманной стенке: они тоже словно поддерживали друг друга на весу, на плаву в этом кислородном голодании — наша Ночка и наша хата, у которой также по-хорошему должно было быть имя, непременно женское, и я даже знаю, какое.

Настя — звали мою маму.

А мы расстилали тюфяки и устраивались возле нашего домашнего колодца, вокруг его цементированной шейки. Возле него, казалось нам, было прохладнее: все же там, метрах в десяти под землей, плескалась водица. Колодец заливной, его наполняли из водовозки, железной — тогда на ней вопреки истине было написано «бензин» и приезжала она, к вящему нашему восторгу, на своих четырех резиновых колесах — или из деревянной, и тогда та прибывала на наш двор посредством унылой каурой кобылки сельского водовоза деда Куликова.

До подпочвенных вод в наших степях не докопаться, хотя я только сравнительно недавно узнал, что именно под нами, на громадной глубине, запечатано, на всякий случай, целое море их. Наверное, поэтому наши дворовые простецкие цементированные колодцы величественно именовались бассейнами.

Прямо как в Римской империи, под властью которой — и под этой тоже — наша Ногайская степь также пребывала в свое время.

Я помню, как однажды спали во дворе (у которого даже ворот не было, гуляй-поле, а не двор) прямо на ворохе пшеницы, которую мать получила на трудодни. Это необычайное, чудесное ощущение живо во мне до сих пор. В Библии, если не ошибаюсь, пшеничный ворох по нежности очертаний и внутреннему живительному теплу сравнивают с женским, девственности, животом.

Разумеется, с женщинами я тогда еще не ночевал.

Но ощущение ж е н с т в е н н о с т и, живого ложа, на котором после оставалась слабая выемка — как на плащанице — моего легкого, маленького, но уже мужского тела, было вполне осязаемым и даже странно волнующим.

И я его действительно помню. И оно и впрямь сопоставимо сами знаете с чем. Возможно, скоро и это, последующее, буду вспоминать, как то первое невинное соитие с женственной, в меру упругой и теплой плотью небогатой пшеничной горки — у нашей степной, загорелой пшенички и цвет юного женского тела, — мамиными трудами заработанного и вовремя вымолоченного зерна.

Мы даже никаких тюфяков на ворох не бросали. Нам это и в голову не приходило — настолько он был чистым, теплым, живым. Тюфяк бы оскорбил, осквернил его.

Да и женское тело если и укрывают, то только потому, что собственными пальцами очищенный, вылущенный, вылупленный плод кажется еще вкуснее, желаннее, чем заведомо беззащитный.

Летом в свою ночлежку Ночка заходила лишь для того, чтобы пожевать в яслях сена. В жару, на выгоне, аппетита не было. Он приходил только к вечеру. Я знал это, и в течение дня руками нарывал ей в низинках, ложбинках травы и приносил охапками в ясли.

Ночка ценила мои скромные старания и с наступлением сумерек, после дойки, на какое-то время приходила-таки на свою половину. Причем дверной проем был ей тесноват, поскольку изначально являлся человеческим, а не скотным, и она протискивалась в него, подбирая, как скороспелая новобрачная, бока. И неторопливо, чисто плотно, и впрямь, словно какая-нибудь гранд-дама, опрятно выбирала из яслей мои крохотные, воробьиные охапки. Глоточки.

Они ей нравились. Я, как щенок, с рождения ориентировался в окрестных злаках и, чтобы угодить, выщипывал по канавам то, что ей по вкусу: клеверок, тонконог и травку, напоминающую крепко подвыдерганный уже запорожский просяной чубчик, оселедец — у нее и название-то, по-моему, было запорожское, сечевое: м а г а р а.

Не от нее ли — магарыч, столь распространенный в нашем селении, особенно по вдовьим дворам?

Ясли классические, сделанные на манер плетня. Не досками обитая, отбитая загородка, а выгородка, сплетенная из гибких ветвей и прутьев по весне срезанной бузины, которую в нашем селенье по-своему именовали «вонючкой». В «коровнике» вообще чисто, а уж в яслях — зимою Ночку кормили ячменной соломой, посыпанной, припудренной внатруску дертью или озадками, зерновыми охвостьями — и подавно: две чистюли, мать и Ночка, стояли друг дружки.

Здесь Ночка и телилась. Почему-то всегда в февралемарте. Как бы принаравливаясь к деревенскому поверью, что февральско-мартовский приплод, в том числе и человеческий, вообще самый крепкий и жизнестойкий. И всегда ночью. Мать стерегла этот момент. Несколько раз за ночь бегала в сарай с фонарем «летучая мышь», накинув на плечи неизменную ватную фуфаячку. И в первую ночь на руках, как собственного ребеночка, вносила новорожденного в хату, на нашу, человеческую половину. И ставила на разъезжающиеся молозивные копытца возле заранее натопленной русской печки. И та ласково принимала новоявленного в объятия своего равномерного, жаркого и, как у солнышка, ультракрасного излучения.

Все-таки не две, а три одинокие женщины вели дом: мамка, печка и Ночка. Если не считать еще и нашей одинокой хаты.

Ясли всегда пахли сеном, чуть-чуть, наверное, от дерти, хлебом и парным молоком.

Даже зимой они пахли — летом.

А летом, когда во дворе не продохнуть, в них почему-то прохладнее, чем в любом другом укромном уголке нашей хаты.

Я любил забираться в ясли — Ночка вполне могла и меня принять, как нынче говорят, за биологически активную пищевую добавку, призванную маленько сдобрить слежавшуюся за зиму, грубоватую на прикус ячменку.

Слизнула б — и не поперхнулась.

Иногда в ясли подкладывали и куски каменной соли. Лизунца — говорят, коровам это полезно. Особенно стельным или готовящимся к зачатию.

В общем, здесь меня и слизнули.

\* \* \*

Я еще не ходил в школу.

Собственно говоря, тогда я у матери был еще один: средний брат появился через год, а младший года через четыре.

Меня обожали материны подруги.

Тот факт, что у меня изначально не было отца — ветром надуло, — делал меня как бы всеобщим достоянием.

Дитем общего пользования.

Они и пользовались. И те, у кого уже были собственные дети, и, особенно, те, у кого своих детей еще не имелось. Не имелось либо по младости лет, либо по робости — не могли решиться на этот шаг, почти что в пропасть, на который тридцати одного года отроду, так и не дождавшись с войны своего суженого, решила их подруга.

Забегая к матери в гости, они в захватки завладевали мною, не спускали с рук и зацеловывали с головы до пяток. Я уже начинал отбиваться от них, силь-



ных, пышущих почти что печным здоровым жаром и в меру шалавых, а мать исподволь, между делом, но зорко и даже ревниво следила за нашей возней: не проглотили б часом.

По-моему, они и забегали к нам в основном затем, чтобы поиграть, подурачиться со мною.

Или так — поиграть мною, как живой, еще как живой, куклой.

Но — это мамины подружки.

Однако у меня имелись уже и подруги свои. Собственные.

\* \* \*

Мои подруги не были материнскими подружками. Для матери они слишком уж молоды — как я теперь понимаю, лет пятнадцати-шестнадцати.

Мою маму они звали тетей.

Да, они тоже заскакивали к нам по каким-либо неотложным малым делам: перехватить соли, сахару, спичек или, наоборот, принести нам то, что по доброте душевной передавали их матери — стопку горячих оладий в глубоком каменном блюде, промасленный узелок с только что испеченными пирожками... У хозяйек не ушла еще тогда эта мода, оставшаяся, наверное, с войны: делиться чем Бог послал.

И все же они больше любили забегать, когда матери дома не было. Мать работала на птичнике или в степи, и я даже в том нежном возрасте подолгу оставался в доме один.

В течение дня они по просьбе матери присматривали за мной. То одна объявится, то другая, а то и обе разом.

Я, вообще-то, не нуждался в их опеке: вселенную своего дома и двора, особенно двора, к тому времени освоил, выщупал и вынюхал — опять же, как безалаберный щенок или подсвинок, — досконально. И ничто здесь, кроме, пожалуй, чердака, не представляло для меня ни тайны, ни опасности. До чердака или, как у нас почему-то называли, до потолка (можно подумать, мои односельчане, как мухи, могли перемещаться вверх ногами) добрался лет в шесть. И как же было мое изумление, когда в его дрожащем полумраке — слуховое круглое отверстие, через которое я сюда и забрался, подсвечивало этот сумрак, как подсвечивает, просвечивает совсем уж крошечную ночь полная луна — я обнаружил тяжеленький сверток в пергаментной и промасленной, будто и там пирожки, толстой бумаге.

К тому времени я и советских-то денег толком не видал, не то что дореволюционных, антисоветских, но почему-то вмиг почувствовал, что в моих задрожавших руках — деньги. Клад! Уже по одной только объемистой тяжести свертка и по тому, как

старательно, любовно, словно первенец долгожданный, был упеленут он в эту теплую, непромокаемую свою плащаницу.

Да и по дрожи собственных рук тоже понял: оно! Долгожданное.

Но деньги оказались ненастоящими. Вернее, вышедшими из употребления. В своей жизни мне еще раз пять или шесть придется столкнуться с этим явлением: деньги выходят из употребления именно тогда, когда употреблять их позарез необходимо. Выходят даже раньше, чем выскальзывают из употребления — жизнью — люди, их так старательно и любовно замуровывающие.

В одном из рассказов Чехов приводит старинное наименование клада — с ч а с т ь е. «Счастье привалило» — это и значит: привалил, отыскался клад. Нам тоже отыскался, да поздно. Таково бедняцкое счастье. Оно всегда опаздывает: не зря говорят, что только на том, а не на этом, свете бедняк и богач меняются, наконец, местами.

Надо мною ласково посмеялись, в качестве коммиссионных я получил добродушный подзатыльник — чтобы впредь на «потолок» не лазал, — а простынками неразрезанных ассигнаций матушка оклеила с тыльной стороны тяжеленную ореховую крышку у нашего старинного, тоже с лучших времен, сундука.

В доме я ничего не боялся и мог бы совершенно безопасно и безнадзорно целыми днями, дотемна — вот темноты действительно трусил — болтаться в этой своей вселенной без каких-либо нянек.

Но они меня не забывали, ревностно исполняя «тети-Настины» наказания.

Иногда даже прибежали прямо из школы, с холщовыми сумками, заменявшими портфели, наискосок. С такими сумками тогда еще ходили по деревням попрошайки. Их называли побирושками. Кусочниками. Не огибали они и наш разгороженный двор.

Юные побирושки тоже навевались ко мне за какой-то, мне пока неведомой, раздобычей.

Исполненные просветительского рвення, которым заражала их, детей неграмотных родителей, наша сельская школа, выстроенная на развалинах былой церкви, из ее же кирпича, — причем школа эта называлась «красной»: не в антитезу церкви, а именно потому, что церковный долговечный кирпичик и впрямь красного, малинового цвета (батюшкой в этой церкви когда-то состоял мой дальний родич), — они по деятельной своей поступательной инерции даже учили меня чтению и счету.

Будучи не очень смысленными ученицами — одна из них в каком-то классе оставалась на второй год, — они оказались невероятно способными учительками.

Лет в шесть я уже читал по слогам.

«Мама мыла раму».

Тогдашнюю «Азбуку» сочиняли тоже не очень русские люди (наподобие меня — сегодняшнего).

Потому что я уже лет в шесть знал: рамы не моют, а протирают, а вот моют только стекла в них. Во всяком случае м о я мама перед Пасхой поступала именно так.

Что же касается денег, то их в нашей хате так мало, что считать их в помощь совершенно неграмотной (хотя и чрезвычайно сведущей в мытье рам и всего остального, включая меня, подлежащего суrowой санобработке в канун православных праздников) я научился еще раньше.

...Они гуляли со мной, как бонны с городским мальчиком. Для чего выводили меня под руки на улицу перед хатой и дефилировали перед нею, любуясь собственным отражением в небольших, но ревностно вымытых моей матушкой окошках.

\* \* \*

Жаль, что на нашей пыльной улице пешеходов практически нет — на дальнем конце ее, совсем уже в степи, в бывшей барской усадьбе, находился патронат для инвалидов Великой Отечественной войны, наподобие того, который располагался и на Соловках, и только эти несчастные калеки, «самовары» без рук или без ног, а то и без того и без другого разом, с целеустремленностью перелетных птиц, на дощечках с колесиками, подсобляя себе семиэтажным матом, мучительно подвигались к центру села, к «кабарету», где им, низко перегибаясь через прилавок гибким и сочным станом, подавала в розлив моя крестная мама Нюся.

Обратно калеки возвращались ночью. С воплями, с какими брали недавно Берлин, который все почему-то называли с ударением на первом слоге.

И даже это скудное и скорбное перемещение было только по известным числам — когда инвалидам выдавали пенсию.

Девчонкам не перед кем было особо красоваться, и они застенчиво красовались сами перед собой.

Да, в селенье имелась еще одна школа, начальная, и ее называли «белой», потому что сложена из обыкновенного самана, обмазана обыкновенной глиной и выбелена обыкновенной известью.

В этой школе, говорят, когда-то преподавал и мой юный отец.

Так что у меня родственные связи и с белыми, и с красными. На все случаи жизни и на все наши традиционные русские повороты.

Мои подружки уже были «красными» — доросли. Мне же даже «белая» еще только предстояла.

Иногда, под настроение, они даже купали меня. Вытаскивали на солнцепек деревянное корыто с водой, часа через два вода становилась теплой. Меня

устраивали в корыто торчком, солдатиком, намыливали всего, даже голову, как ни брыкался и ни сопротивлялся я, твердым бруском хозяйственного мыла. А потом еще и обливали сверху, из цибарки, приговаривая:

— Дождик-дождик, припусти, мы поедem на кусты, Богу молиться, Христу поклониться...

Что за «кусты»? Неужели от осеннего еврейского праздника «кущей»? Да, время «кущей» — самое дождливое и у нас, русских.

Судя по всему, хриstopоклонницами они были исправными: к завершению экзекуции я у них сиял, как солдатская медная бляха, орошенный в том числе и собственными горячими слезами.

А они, ласковые мои истязательницы, хохотали: я был омыт еще и их юным и звонким смехом. Он блестящими стекал с меня, голого, застревая только в волосах.

Странное дело: меня больше всего волновали не их быстрые и ловкие прикосновения — меня больше волновал как раз их заливиственный смех.

Они тоже тискали и целовали меня, но.

Но.

Это были уже совсем другие нежности, нежели те, которыми осыпали, отягощали меня материны подружки.

Те нежности телячьи мне подчас докучали. Эти же — тоже телячьи, только телята (теляти) в данном случае были как бы другого, женского рода — смущали.

Они целуют меня в места, в которые даже мама меня не целовала. И при этом заливаются так, словно это их, а не меня, щекочут. И с этими местами у меня начинает происходить странное. Знаете, как в степи прорастают тюльпаны? Вчера еще мартовская степь была совершенно пуста. Сырой, свалывшийся войлок — если зимою степь покрыта, прикрыта белым саваном смерти, то ранней весной, кажется, — самой смертью. Нет ничего более унылого и скорбного. А назавтра, с первым солнышком, выйдешь в материнских кирзовых сапогах на выгон, а он во множестве мест пробит изнутри, с испода живыми, нежными гвоздями. Не тянутыми из проволоки, а коваными — у них и цвет остывающей свежей поковы. Красновато-бурые, со всеми оттенками остыванья. Шляпки где-то там, с обратной стороны, а здесь — только острия. Острия, надо сказать, тупенькие. Да и сами «гвоздики» — толстенькие, глянцевиные, больше напоминают чем-то молоденькие рожки.

Может, это сама весна оттуда, изнутри, с изнанки, из материнской утробы бодается, наружу, на белый свет нетерпеливо просится? Твердь, плаценту пробила, а рожки, еще зудящие, новорожденные, застряли в грубом мартовском войлоке.



Это — тюльпанные луковички. Которые мы именовали «бузлюками» и которые были нашим первым весенним степным лакомством — сколько еще всего подарит нам, авитаминозным после долгой зимы, она! — это они за одну только ночь и проросли. Идешь и боишься ступить на живое — где вчера еще была одна только смерть.

— Боже ж ты мой, боже, да у нашего Сережи аж два пупка! — хохочут девчонки и губами показывают, где там у меня, по их пониманию, этот самый второй пупок.

И он, черт подери, действительно возникает! Прорастает. Бодается — прямо во что-то мягкое и смеющееся.

И какое-то странное и доселе неизвестное ощущение возникает под ложечкой и даже ниже, в паху, как будто у меня не только два пупка, но и этих самых «ложечек» тоже две. Ничего похожего со мной не бывает, когда меня купает мама или когда меня тискают ее взрослые подруги. Ничего тогда не прорастает и не бодается нетерпеливо.

Весне все-таки, наверное, никак не больше двенадцати-четырнадцать лет.

Чаще всего они и возились со мною в яслях: даже в полдневный зной здесь прохладно. Прохлада, чистота и полумрак.

В свежескошенной траве, заполнявшей ясли наполовину, попадались и цветы. В основном одуванчики и ромашки. И девчонки выплетали из них венки. В этих своих самодельных коронах они совершенно по-королевски — сразу две Клеопатры на одного кавалера! — перешагивали через меня, как через девичье прошлое, в грядущую женскую жизнь, светясь надо мною своими обнаженными телами — им даже в яслях почему-то бывало жарко.

Да, складные, худенькие тела их, уже опушенные снизу нежной подпушкой, светились надо мною, словно их вылутили не из коротеньких ситцевых платиц, а из яичной скорлупы пасхальных расцветок.

Их действительно было две.

\* \* \*

Одна жила наискосок от меня, в землянке, всегда аккуратно выбеленной, чистенькой, с выходившим на улицу единственным окошком. Примерно такая же низенькая, как будто испуганно, ящерницей, прильнувшая к земле, хатка второй располагалась по нашему же уличному порядку, «кутку», слева от нашего с матерью дома.

Когда я упомянул об их неграмотных родителях, я погрешил против истины.

Во-первых, из родителей у них, как и у меня, только матери. Родительницы. Отцы у обеих погибли на фронте. Обе в своих семьях младшие. У одной,

что наискосок, старший брат. У второй старших братьев даже двое.

А во-вторых, матери у них все же пограмотнее, чем у меня. У одной, самой белокожей — у нее не только кожа, не только нежно выющиеся волосы, но даже и подпушка у нее молочно-восковой спелости, с едва заметным золотистым отливом, — мать даже работала в сельпо. Принимала у односельчан яйца, то в зачет сельхозналога, бесплатно, то давая за них невеликую денежку. Яиц у нас много, поскольку выгребали мы их не только из-под своих кур, числом до сотни — неслись они, надо сказать, где попало, иногда прямо в пыли, — но и с работы, с птичника мать с пустым передником никогда не возвращалась.

Яйца в сельпо частенько носил в узлах я. И тетка Татьяна, передавая мне тщательно скрученную денежку — как будто так она могла быть сохраннее в длительном пути моем домой, — полногрудо перегибалась из-за прилавка ко мне. Так же, как и моя молоденькая крестная Нюся, с граненым стаканом или с пивной кружкой, помимо молодой и пышной груди, к калекам Великой Отечественной.

Если водку считать «горьким прицепом» к пиву, то каким же сладким, наверное, казался им снизу роскошный и нежный, едва удерживаемый слюдяными пуговичками «прицеп», бесплатно подаваемый им моей крестной! Которой нынче пошел девятый год: одна она и осталась сейчас на свете за всех, за всех за них...

У второй же, чернявой, как ласточкино глянцевитое крыло, мать вообще была ведьмой, что, несомненно, предполагало мудрость на грани грамотности.

Если ведьмина дочка чернява, то можете себе представить, какой степени темень сияла в глазах у самой нашей деревенской ведьмы!

Далеко не в каждом русском селении имеется своя персональная ведьма. Они в наших местах так же редки, как редки у нас, в поздноселенных, окраинных русских краях, православные церкви. Их не успели завести, как началась советская власть. Вполне возможно, что эта же власть повлияла и на количество ведьм — уж больно строга и рациональна. Только в нашем кутке по смерти Сталина домой после сумасшедших сроков воротились сразу несколько человек. Помню их поименно. Их, между прочим, объединяло одно общее качество. Не знаю, как до отсидки, я их в те времена просто не знал, поскольку еще не родился, а вот по возвращении все они оказались несокрушимо молчаливыми. Все. Даже женщина. Она и была нашей ближайшей соседкой, если расстояние в сотню метров еще не исчерпывает само понятие соседства. Тетка Булейкина настолько угрюма, что даже удивительно, как это

она из тюрьмы умудрилась прийти не одна, а еще и с маленькой дочкой. Туда, говорят, уходила одна-одинешенька, а оттуда воротилась с припеком.

Моя мать даже тетку Булейкину, которую сторинаясь вся округа, не боялась, могла по-соседски, по-простецки и шугануть ее, если что не так, — та лишь глазом холодным поведет.

Моя мать, лет с шестнадцати круглая сирота, у которой и у самой немало родни сидело по самым отдаленным местам и по самым крутым статьям, писала только несколькими печатными буквами, но тем не менее досконально знала все непечатное.

Однако по отношению к ведьме, никогда и нигде не сидевшей, она даже заглазно слова худого сказать опасалась.

В нашей округе не падал беспричинно скот — единственный раз у нас с матерью сдохла телка. Это была единственная телушка за долгие годы, мать ждала ее от Ночки терпеливо и страстно, как будто собственную долгожданную дочь. Но уже входившая в половозрелый коровий возраст телочка жадно нахваталась ранней весной, после скудной зимы, едва пробившейся зелени вместе с сырою землей. И у нее случилась непроходимость кишок. Как ни гоняли мы с матерью ее кругами по пустырю, но она так и не смогла продышаться, оправиться. Упала со вздувшимися боками. И мать, тоже загнанная, упала вместе с нею. Обвила ее мучительно заломленную шею с уже стекленеющими сливовыми глазами и завывала так страшно, как будто это и впрямь была ее, а не Ночкина, дочь. Увы, подводят, не сбываются порою даже самые что ни на есть разнородные поверья, особенно если сулят что-нибудь хорошее...

Мало того, что мать нежно любила ее. С нею связана последняя материнская надежда выбиться-таки из нужды: первотелка войдет в силу, забрюхатит, и тогда Ночку можно будет продать — за нею уже выстраивалась очередь. За нее уже были обещаны большие, очень большие для нашего семейства деньги.

Продать Ночку — это, конечно, было невероятно, непредставимо, потому как следующей в таком разе к продаже подлежала бы сама мать. Но мать так долго лелеяла эту простительную мечту, так страстно, шепотом делилась ею с самой нашей кормилицей, что Ночка, мне кажется, и сама разделяла ее.

Готова была продаться в рабство, в чужбину, в полон, чтоб только вытолкнуть нас наконец-то из пучины бедности, бедности... Последняя жертва.

Слава богу, что Ночки не было тогда на пустыре. Она бы наверняка упала замертво рядом, третьей.

Жизнь все-таки выстроила их по-своему. Мать умерла первой (если не считать юную Зорьку). Ночку продали сразу после материной смерти. Деньги положили нам, их сыновьям, на сберкнижку, на

вырост. Несколько лет спустя именно на Ночкины деньги я и отправился на учебу в Москву.

Как же горевала мать! — это сама ее мечта заветная мученически смежила веки. Знающие же люди потом говорили, что всего-то и надо было — пырнуть длинным столовым ножом в распухший телушкин бок под левой задней ногой. Выпустить скопившийся, спертый воздух.

Да если б мать и знала этот кровавый выход, вряд ли б она взяла в руки наш подъеденный кухонный ножик и насмелилась бы занести его, как когда-то библейский Авраам, над кровинкой своей и надеждою.

Больших пожаров поблизости тоже не было. В других концах селения случались — даже два малолетних мальчика как-то сгорели в сарае на противоположном краю села. У нас же — у нас, опять же именно у нас, однажды зимою начисто, дотла, сгорела заготовленная на зиму скирда ячменной соломы для Ночки. Собственно говоря, как раз поэтому наголодавшаяся за зиму Ночкина телочка и кинулась так нетерпеливо и опрометчиво на первую, слишком малорослую для коровы — это же не овца, что просто стрижет зелень под ноль, — траву.

Но и тут причина была в нас самих: скирду подпалили мои же младшие, тогда еще совсем несмышленные братья...

Наверное, в этом своя закономерность, что все малые беды — а после и великая, непоправимая — нашего околотка крутились возле нашего с матерью одинокого дома. Бедность уже сама по себе притягивает беду, как грозу. Не зря ведь говорят: на кого Бог, на того и люди.

И все же.

Кто знает, может, как раз наличием местной, доморощенной ведьмы — хотя никто не знал, откуда все-таки она объявилась в нашем селении — и обусловливался тот относительный, почти призрачный, истлевающий и все-таки покой, которым, как призрачным, текучим летним маревом, окутан наш крохотный околоток, доживающий свой век в окружении руин двух голодов: голода тридцать третьего года и голода года сорок седьмого.

Причем руины сорок седьмого, года моего рождения, еще стояли в виде голых и полуразрушенных глинобитных стен, останков стен. А руины тридцать третьего уже оуклились, стали просто все оседающими и оседающими холмами. Курганами, по которым уже ползло, взбираясь до самых верхушек, наше цепкое степное разнотравье.

Могильниками хат, что некогда стояли в нашем порядке куда теснее, чем сейчас.

Холмы удивительно правильной, куполообразной формы. Как занесенные вселенской пылью пра-



Рисунок Юлии Спасовской

вославные церковки. Саркофаги, надетые на вырост на чью-то давнюю, истлевшую жизнь — как будто она еще представляла миру некую неизъяснимую опасность.

Кто знает? — ведь даже мама моя, уж если быть совсем точным, умерла не здесь, не в нашем кутке, а когда мы уже переехали, перебрались отсюда поближе к центру, к «красной» школе, в другом, только что с великими трудами купленном ею доме.

В год, как переехали, она и умерла.

Кто знает.

Ведьма тетя Вера Петренко чрезвычайно чисто-плотна. Нежно выбеленная хатка ее даже в ночи светилась, как звезда в полуночном пруду. Да и сама она всегда как бы пасхально подбелена, подведена: темные, сильные волосы ее ловко схвачены неизменным белоснежным платком. Но однажды я видел, как дочь расчесывает матери голову после мытья. Облитая, обвитая ими со всех сторон, с головы до пят, тетка, в исподней своей рубахе, тоже

светилась в этой сажистой своей смолокурне живым и странно волнующим слитком. Не стеснялась меня, малого, по какой-то небольшой нужде оказавшегося в их игрушечной, языком, а не веником, вылизанной хатке, и даже насмешливо косила на меня с темного дна чем-то влажно бездонным.

Искры вспыхивали под роговым гребешком, и тогда нас с подружкой на миг опахивало запахом паленой серы. Тетка невелика, годами постарше моей матери, но туго и сочно наполнена жизнью: даже на батистовом ее сарафане все еще проступают два молодых молозивных пятна.

\*\*\*

Тетка работала в патронате для инвалидов Великой Отечественной войны — том самом, который располагался в бывшей барской усадьбе на окраине села и который дважды в месяц яростно шел, полз, безруко-безного, колом катился по нашей пыльной улице непосредственно на взятие Берлина. Другие

наши матери работали в поле, или на птичниках, или на молочно-товарных фермах, а она именно там.

В пекле.

Там ей и место.

У инвалидов было даже свое кладбище — прямо рядом с усадьбой.

Туда они и перемещались, интенсивно, но почему-то молча.

Вряд ли другие наши матери способны скрасить им их короткую, как у бабочек-однодневок, послевоенную жизнь.

А эта, уверен, скрашивала.

Следуя мимо ее нарядной хатки, те из них, кто имел хотя бы одну руку и пускай хотя бы левую, неизменно вздымали ее в истовом солдатском приветствии. Только Жуков, наверное, удостаивался в те годы такого же солдатского восторга — включая еще и пространное непечатное приложение.

Какими бы всевозможными ранениями ни страдали обитатели подобных тогдашних патронатов, от Соловков до наших краев, а одно ранение, одна контузия у них была общая: на голову.

Ведьма из желтого дома — а где ж ей еще и быть?

Посильное взятие ведьмы было для молодых ветеранов, у которых война обрубала все конечности, кроме одной, еще желаннее, чем взятие Берлина.

Вся округа считала ее ведьмой, и только я один знал истинную причину этого твердого поверья.

Дело даже не в том, что она соблазнила чужого мужа.

И даже не в том, что незадачливый муженек этот, тоже наш ближайший сосед, лет на пятнадцать старше нее: жизнь знает и куда более крутую арифметику. Даже я был знаком в ЦК — в ЦК КПСС! — с мужиком, который в два раза моложе жены (правда, жены, а не любовницы).

...И не в том, что юная, только что распечатанная жenuшка соблазненного более чем вдвое моложе разлучницы — и это само по себе не такая уж большая новость.

О подлинной новости сообщу вам ниже — кроме меня, разумеется, ее знала и сама злосчастно обманутая.

Но прежде о самом обмане, который и на обманто особо не походит, настолько явственен был.

\* \* \*

В нашем закутке, в нашем затишке появилась новая фигура. Фигурка. Фигурка замечательная. Широкая в кости, крепенькая, с развернутыми плечами, ни в чем не знающая устали — ее веретенообразные икры сновали под подолом ситцевого платица, как вязальные спицы в умелых и неутомимых руках. Есть девушки, вылепленные, как вареник. Но моя

мама была мастерицей и по части галушек. Галушки, как известно, не лепят. Просто рвут кусочками тугое, тягучее тесто и бросают эти куски в кипящую кастрюлю. Особенно хороши у мамы «сливные» галушки. Это когда с них даже воду сливают, засыпая сверху золотистым, в обильном коровьем масле поджаренным луком. Пальчики оближешь! Так и наша новенькая фигурантка. Цельный, без какой-либо мудреной начинки кусочек тугого, упругого теста, щедро смазанный, чтоб легче глотать, сливочным маслом и чуть приправленный золотистым деревенским лучком.

То, что надо — в жизни, в хозяйстве, ну и во всем остальном тоже.

Ее к нам взяли замуж откуда-то с другого конца села.

Поскольку закуток наш довольно отъединен от остального селенья, что-то вроде выселок, то и любое событие в любой из хат, составлявших его, было как бы всеобщим. Все гуляют на всех свадьбах, и на похороны тоже никто никого не зовет. Сами являются. И новенькая, на пароконной бричке, успешно преодолевшей разложенный в жениховских воротах осторожный костерок, привезенная в дом деда Куликова невестка тоже оказалась как бы общим нашим веселым достоянием.

Примерно как я для материных подруг.

Она не намного старше моих собственных подружек, лет девятнадцати. Совсем недавно окончила школу, работала где-то в совхозной конторе, кажется, в бухгалтерии. Почему-то, несмотря на разницу в годах, подружилась с моей матерью. Любила забегать к нам, почесать свой ловкий, тоже не знающий покоя, язычок. Возможно, тут играло роль и то, что она попала невесткою именно в дом деда Куликова — того самого, который десять лет за мешок зерна, причем привезенного не себе, а бригадиру, отсидел в лагерях и вышел оттуда, как и наша ближайшая соседка Булейкина, несокрушимым молчуном.

В их доме тоже чаще молчали. Особенно по вечерам, когда дед Куликов возвращался с работы. Работал же он ездовым. На той самой пароконной колымаге, которая и привезла недавно вчерашнюю десятиклассницу в чужой и угрюмый двор. В другую жизнь. Причем и ее юная головка, и головы двух гнедых кобыл, впряженных в бричку, были в тот момент украшены одинаковыми бумажными, нарядными цветами.

Можно подумать, что замуж они выходили втроем.

Намолчавшись в доме у свекра, новобрачная дала волю себе у нас с матерью. Матери она тоже нравилась — все горит у нее в руках, всегда в чем-то поможет, хотя мать и удерживала ее: мол, посиди, я сама со всем управлюсь. Наверное, мать чувствовала



в ней некую сродственность: они обе были из тугого и упругого, как мускул, куска заварного теста и больше напоминали тех своих четвероногих товарищей, что, красиво, по-лебяжьей выгибая шею, дружно ввергали недавно новообращенную в чужой, угрюмый двор. В замужнюю жизнь.

Новообращенную — как новозапряженную.

Самой матушке моей ни разу не довелось побыть чьей-нибудь законной женой. С тем большим сочувствием и любознательным интересом прислушивалась она к немолчному щебету младшей товарки своей.

Вера, да, ее тоже, кажется, звали Верой, не обделяла вниманием и меня. Заскакивая к нам, всегда вынимала из кармашка, а то и из-за пазухи какой-либо гостинец. Пышку, конфету, яблоко... И приговаривала:

— От зайчика...

Чаще всего забегала к нам вечером — как будто сбегала от немоты и тьмы, сгушавшихся в хате у свекра. Забыл сказать, что именно у них, у Куликовых, я однажды услышал сыча.

Филина.

Мы очутились вечером в их доме, сбегая от пьяного дебоша отчима, тоже фронтовика и тоже контуженного, что своим персональным патронатом избрал одинокое жилище моей матушки.

Семья их уже собралась, но лампу почему-то не зажигали. Керосин, наверное, сэкономили.

Молчали.

И вдруг сверху, через трубу и дымоход, раздалось странное, глухое гуканье.

Все вздрогнули и замерли, каждый на том месте — я, например, на коленях у матери, — на котором застал их этот потусторонний, леденящий душу негромкий, но очень явственный, как удар собственного сердца или далекого-далекого колокола, звук, донесенный в завечеревшую комнату широким и закопченным устьем русской печи.

Словно жерлом, раструбом скорбного фагота.

Даже я, еще не знавший ни что это за звук, ни кем, кроме русской печи, он произнесен, понял: что-то неладное.

Страх продирает до самых пяток — даже волосы встопорщились.

Бабка Куликова, оглядываясь на деда, стала мелко-мелко креститься на правый угол, в котором у нее всегда горела лампада — на сале, в отличие от керосина, не сэкономили. По частоте взора на них Спас и дед у нее оказались в равных пропорциях.

— Гу... гу!.. — повторилось вновь.

В мертвой тишине. А ведь семья у деда немалая, и все были в сборе. Даже слышно стало, как сыч, еще раз скорбно вздохнув, тяжело взлетел с трубы. Старый,

зараза, много кого пересажал. И в клетку, и в землю. И, видать, тяжело, косо, мешкотно, почти пешком пошел куда-нибудь еще, к новым жертвам. Возможно, в сторону патроната инвалидов войны.

Дед медленно-медленно сгреб с головы треух.

Да, по поверью, бытовавшему в нашем ссыльном селенье еще с конца двадцатых, сыч кричит не просто к беде, а непосредственно — к воронку.

Прокричал и, глядишь, следом, за полночь, подкатит к хате черный воронок.

Ты не вейся, черный ворон...

Не думаю, что невестка чувствовала себя здесь как в темнице. Скорее, все они тут, начиная с деда, ощущали себя как п е р е д тюрьмой и темницей.

Меня она интересовала еще и как недавняя невеста. Меня тогда вообще почему-то раздирало любопытство по части любви (чуть не сказал — и секса).

Возможно, потому что в начале следующего, сопредельного с нашим, кутка уже жила нарядная, как бабочка, девочка, в которую я был тайно влюблен. Дочка бригадира тракторной бригады, того самого, что счастливо избежал тюрьмы благодаря тому, что дед Куликов всю вину взял на себя: мол, сам, по своему почину привез на дне брички притрушенный от посторонних глаз соломой мешок пшеницы бригадиру во двор, никто этого ему не велел, никто об этом ему не говорил...

Видите, какие деликатные грузы возила в своей жизни эта расхлябанная фурманка — включая саму свободу, что даже невесомее любой, тем более деревенской, заранее, как поллитровка, распечатанной невесты.

На этой же фурманке, говорят, уже поджидавшая почему-то деда в бригадировом дворе милиция и повезла потом повязанного доброхота.

По курганам горбатым, по речным перекатам...

Сивки-бурки, в е щ и е каурки...

Что значит отсутствие мобильных телефонов!

Дед потом, по возвращении, так и работал до скончания своего века ездовым в тракторной бригаде.

Но я, даже подросший и, как и любой пострел, днями вертевшийся в этой бригаде, возле тракторов и сеялок, возле их чумазных повелителей, ни разу не видал, чтобы дед Куликов и бригадир Ложенко перемолвились друг с другом хотя бы парой незначительных слов.

...Как все начинается? — мне хотелось проверить: любовь ли то, что я чувствую к одной полуденной бабочке, или так, просто блажь...

— Как начиналось у тебя с Васьюкой?

(Так звали дедова младшего сына...)

— Сколько лет тогда было тебе? — Мне так хотелось, чтобы и мои, тогда еще малы, года подпадали под любовь, как под воинский призыв.

— Ха-ха-ха! — звонко хохотала она, высоко запрокидывая голову с вьющимися на висках волосами. — Да девятнадцать же и было!..

— Как девятнадцать? — недоумевал я. — Разве вы не учились в школе в одном классе?

Мне почему-то казалось, что настоящая любовь начинается в первом классе и длится потом всю жизнь.

— Глупенький ты, Сережа, — проговорила, отхотавшись. — Он же старше меня, в армии уже отслужил. А два месяца назад подошел ко мне в клубе, на танцах — и все.

— И все?! — ужаснулся я.

И, лежа на печке — у меня тогда была ангина, Вера же, что-то делая, сидела внизу, за нашим столом, — я крепко задумался.

Куда же мне раньше стремиться: в первый класс или сразу на танцы? В клуб?

Который я неплохо знал. Правда, почти исключительно с тыльной стороны. Самое прочное, единственное, кроме школы и совхозной конторы, кирпичное здание в селе. Старинное-старинное, аж зажелезившееся от старости. Его не развалили, как церковь, и не сделали из него школу. Наверное, потому что до революции в нем, говорят, был банк.

Денежки, они хоть и бумажные, но их на излом, на испуг не только атеистам, но даже и никаким бесбребреникам не взять!

А с тыла знал, потому как в сам клуб нас, злых неплательщиков, — как сейчас за границу — не пускали, а вот киномеханик Мишка, которому мы, словно Чапаевскому пулеметчику, в ходе его нетрезвой работы подносили жестяные коробки с виниловыми лентами — по известной русской причине фильмы иногда начинались либо вверх тормашками, либо сзади наперед, и бывало, что полфильма так и пробежит по рваному, будто он тоже только что изпод страстных новобрачных, полотняному экрану, пока публика в зале расчихает и засвистит, — киномеханик Мишка нас в свою будку пускал беспрепятственно.

Ну, как сейчас пускают в космос.

Будка же прилеплена с тыла, в нее надо подниматься по крутой железной лесенке, на ступеньках которой никаких контролеров, кроме Мишкиной пьяненькой щедрости. Кирпич такой, что даже дырку для кинопроектора, вернее, для магического луча, жаловался Мишка, едва пробил.

Стена почти метровой толщины: во как готовились банки к революции семнадцатого года!

Не то что сейчас — все из стекла и картона: денежку, заразы, экономят.

В клубе... Есть, есть над чем задуматься. Если уж на киносеансы меня пока не пускают, то кто ж меня

пустит на танцы, хотя они, в отличие от кино, у нас совсем бесплатные.

Вера тоже почему-то смолкает, но ненадолго — подолгу она молчит только в новом для нее дому с чересчур восприимчивой трубой на крыше.

— Не переживай. В школе у меня тоже было, — совсем другим тоном говорит мне снизу вверх. — И даже с первого по десятый...

— Да?! — восторженно восклицаю я.

— Да, — подтверждает она, но почему-то без восторга.

— Не с Васькой? — глупо, по инерции, переспрашиваю я.

— Не с Васькой, — слабо улыбается она.

— А почему же тогда... свадьба?..

Я искал подходящее слово, чтобы не обидеть ни Ваську, ни наш закуток в целом, потому как никакой другой невесты, кроме Веры, я бы им (нам) вовек не пожелал. Но она задумчиво перебила меня:

— Девки замуж идут не когда хотят, а когда зовут... Вот так-то, Стригуна.

Мне почему-то стало жалко всех на свете девок — и тех, которых зовут, и тех, которых, увы, не зовут. Ну как вам сказать — брать-то берут, еще как, прямо в кустах, уже знал я, берут, а вот звать-позвать — не зовут, увы...

И жалче всех — мою матушку. Бог с ним, со мною то есть, пускай уж позовут, если ей — наверное, и ей тоже — так хочется.

Переморгаем.

\* \* \*

...И этот самый Васька от этой чудесной Веры, представьте, загулял. В первый же месяц после свадьбы, на которой самозабвенно пел-плясал весь наш околоток.

Васька... Да я даже не хочу его особо описывать. У нас в селе почему-то парней, как и котов, почти поголовно называют Васьками. Тракторист — из той же бригады, в которой ездовым его отец, ухившийся дедом. Танкист — у меня у самого несколько двоюродных дядьев были Васьками, и все поголовно трактористами да танкистами. Похоже, что на нашей Николе если не все бронетанковые войска, то как минимум Кантемировская дивизия и держались.

Все матери Николе рожали в те годы, перемежающиеся годы то холодной, то горячей войн, не мальчишек, а сразу — танкистов-трактористов.

Вернее, так: матери их рожали трактористами, а вот Родина, на службу которой село с воем провожало своих сыновей дважды в год, весной и осенью, рожала их потом повторно — и почему-то исключительно танкистами.



Видать, Родине тогда танкисты требовались еще решительнее, чем трактористы.

Неваляшки. Русские ваньки-встаньки: сверху трактористы, а снизу, в том же самом образе — танкисты.

Васьки-встаньки.

Не то новость, что Васька наш непутевый, несколько месяцев ходивший по селу в расстегнутом до пупка парадном солдатском обмундировании и горланивший похабень, как будто тоже контужен, хотя времена уже послевоенные, — загулял.

Кто же не гулял в свое время, прежде чем впрячься до скончания века в жесткий и строгий, как бывают строгими, с острыми шипами, ошейники у овчарок, хомут, в нашем богоспасаемом околотке?

И не то новость, что загулял от такой чудесной и юной жены, — этакая куриная слепота тоже не раз одолевала наших дураковатых деревенских кобельков.

И не то, что новая избранница его, Верина злая разлучница, лет на пятнадцать старше него: наши записные ходоки способны и не на такие подвиги мужского самообольщения и самоотречения.

Но...

Загулять — с ведьмой?

Да еще так откровенно, а не только бесстрашно: он, зараза, едучи с работы, с поля, с пахоты, даже трактор свой «ДТ-54» оставлял, подлец, не возле своего дома, а возле ведьмино. Не доезжал. То есть ленился, стервец, или опасался, что законная Вера его, повиснув гирею на шее (как то с верами чаще всего и бывает), не пустит в заветное, соломой крытое ведьмино лоно, размещенное в сотне метров, наискосок, от родительского его очага?

Или что дед Куликов намертво привяжет вожжами к дверному постылому косяку?

Да, Васька после армии тоже месяца три ходил по селу в до пупка расстегнутой полушерстяной парадной танкистской форме, со множеством надранных значков отличия на выпуклой груди, среди которых нас, мальцов, особо привлекал своим сиянием латунно-перламутровый вензель «Гвардия», и почему-то, летом, — в глухом кожаном рифленом танкистском шлеме. Он, похоже, и на танцы заявлялся в нем — чтоб по башке лишний раз не наступали?

И Вера, вполне возможно, на шлем больше всего и повелась. Мол, с двойной, усиленной головой да на широких плечах?

Чем не угодила ему юная Вера и чем прельстила ведьма тетя Вера, и впрямь годившаяся ему в тетки, непонятно. Но завеза ей однажды, среди зимы, на железных, из труб сваренных санях соломы, Васька вдруг стал заворачивать к этому дворику все чаще.

И даже оставался ночевать.

Горько-горько плакала Вера, жалуясь матери на несчастную свою судьбу! Уткнется ей в грудь, и мне все с той же печи, лежанки видны только ее сотрясаемые рыданиями плечи. Мать неловко, как будто руки у нее велики для такого деликатного дела, гладит ее по лопаткам. А чем может утешить, какие слова найти, она, что и сама-то так и не сумела удержать, угнездить в действительно больших и рано огрубевших своих ладонях эту неверную, нервно пульсирующую птичку женского счастья?

А уж опыта общения с законными у нее вообще не было ни грана.

Что могла сказать этой попавшей в черную сетку?

И — сказанула:

— А ты ей стекла побей. У нас завсегда так делают. Помогает...

Я ушам своим не поверил: моя, вообще-то очень миролюбивая, мирная и смиренная до жаворонковой неприметности мать советовала побить окна, и кому — ведьме Вере Петренко?!

Уму непостижимо! — даже такому юному, бурно развивающемуся, каковой бывает у мальчиков всего-то миг. Миг, в который они, собственно говоря, из бог весть кого, бесполого, и превращаются — в мальчиков.

Тверденько так проговорила, как будто только теперь, задним числом, пожалела, что в свое время не побила окна главной своей разлучницей — судьбе.

\*\*\*

И в один из вечеров Вера таки побила, повыбивала окна — как зенки — в домике у своей счастливицы-тетки. Как только в хатке у Веры-старшей погасла висячая керосиновая лампа, Вера-младшая, вооруженная длинным дрыном, смело вошла в аккуратный, чистенький дворик и, несмотря на сумасшедшие ругательства дворняжки Пальмы, бегавшей по проволоке, как Каштанка в цирке, только та под толком, под куполом, а эта — по грешной земле, — прошла этим самым дрыном по всем без исключения окошкам землянки.

Даже того, единственного, что на улицу, не пощадил.

Отдельвание окон злой разлучницы Вера производила со своей неизменной ловкостью и даже с некоторой, уже бабьей, пугающей, самозабвенной удалью. Приговаривая:

— Лопайтесь, бесстыжие!

Крохотные, запотевшие, уже как бы заранее в слезах, бесстыжие лопались покорно и почти беззвучно.

Но никто из их горьких пробоин наружу не выглянул и даже звука никакого ответного не произвел. Похоже, крепко зажала тетя Вера — ладошкой

ли? — Васькин рот, чтобы даже матерного слова от туда ненароком не выскочило.

Как ни странно, но окна в хатке на следующий день угрюмо стеклил почему-то не Васька, а его отец.

И ворота, точнее калитку — крохотульку дегтем мазала (тоже матушка моя присоветовала?): не по-могло.

\* \* \*

Но все же главная беда заключалась в другом. Мне кажется, ея Вера поделилась только со мною.

Даже почему-то не с моей матерью, которой поверяла, кажется, все.

— У меня не будет детей, — грустно сказала мне однажды вечером, когда мы с нею оставались в комнате одни: мать управлялась по хозяйству.

— Как это — не будет детей? — изумился я, уверенный, что дети появляются у всех взрослых людей, даже вопреки их желаниям — во всяком случае моя мать в запальчивости не раз выговаривала мне:

— Эх, если б у меня не было тебя! Была б я тогда вольной птицею!

И после нередко плакала, ласково оглаживая мою повинную голову, — я и впрямь в такие минуты чувствовал себя виноватым, что появился, как чирей, в причинном месте, именно у нее, а не у какой-нибудь чужой тетки, которую мне было бы совершенно не жаль.

— ...Как это — не будет?

— Ведьма в степи встретила и сказала, — уронила Вера, сидевшая за нашим щелявым обеденным столом, голову себе в руки.

— Что сказала?

Про себя еще подумал: а что Вера могла делать в степи? Ведь она работает в конторе, в чистоте, и выглядит совсем не так, как женщины, днями пропадающие в поле.

— Что сказала?

— Что надо мне лечиться, а не дурью маяться. Лечиться, чтоб детки были...

Вот почему только я и Вера-младшая твердо знали, что наша ведьма — действительно ведьма, а не какая-нибудь базарная самозванка!

...В хату вошла мать, и Вера замолчала, не поднимая голову с вытянутых вдоль стола рук.

— Поужинаешь с нами, Вера? — ласково спросила мать.

— Нет, тетя Настя, спасибо. Мне надо идти, — как-то непривычно устало поднялась Вера.

Правда, как ни паялился я на нее, но на совсем уж большую она ну никак не походила.

И неужели для того, чтобы иметь детей, надо-таки лечиться? — тогда бы полсела у нас валялось по больницам...

\* \* \*

Васькин роман с ведьмой закончился в одночасье.

Просто однажды вечером она сама привела его, как напроказившего школьника, на порог родительского дома.

Именно на порог.

— Вот тебе порог, — показала Ваське под ноги. — А вот тебе — Бог.

И показала рукою в глубину дома. То ли по направлению к все той же мерцавшей там лампадке, то ли в направлении теперь уже его матери, бабки Куликовой, всегда, как правило, устраивавшейся с вязанием или штопкою под лампадкой. Крепко пожилой, уютный такой, трудолюбивый божок, но теперь уже женского рода.

— И больше чтоб в моем доме ноги твоей не было!

Повернулась и ушла.

Из Васькиной молодой жизни — навсегда.

Так описывала этот заключительный и самый притягательный для общественности акт драмы деревенская молва, хотя, понятное дело, никаких посторонних свидетелей при этом принудительном возврате блудного сына не было.

А Вера вскоре действительно уехала лечиться на Кавказские Минеральные Воды. В Ессентуки.

Без Васьки.

«Не майся дурью!» — в этом решительном совете мне слышалось и нечто, ставящее под сомнение даже благоразумие моей собственной матери с ее испытанными деревенскими рекомендациями по искоренению мужской неверности.

Интересно, а не поехал ли вслед за Верою на воды и ее когдатощний одноклассник?

\* \* \*

Ведьмина дочка и была одной из двух моих юных метресс. Грациозны ее цыганская худоба и угловатость при некоторой общей длинномерности, длиннотелости. Садясь перед мною на корточки, чтобы что-либо на мне поправить, она не садилась, а как-то последовательно, поэтапно с н и ж а л а с ь, как, наверное, снижались первые, подростково-громоздкие и перепончато-крылые, невесомо-воздушные, именно в о з д у ш н ы е, суда братьев Райт. (Вообще-то мне больше нравится слово Б л е р и о.)

Иногда она водила меня за руку в патронат для инвалидов Великой Отечественной войны, где работала ее мать. Мы входили на глинобитный, обсаженный шиповником и смородиной двор патроната, калеки и просто умалишенные из раскрытых окон окликали нас — ни за чью руку ни до, ни после, никогда в жизни не держался я так цепко, как за эту смуглую, продолговатую девичью ладошку. Мне казалось, упусти я ее, и меня тотчас с головою за-



хлестнет этот страшный мир, океан, через который, пока еще вброд, вела меня она — ниточка здравого смысла в окружавшем нас, призывно окликающем нас всеобщем полоумном бреде.

Ее мать, патронатская нянечка, дежурившая там сутками, давала нам узелки со скромно подворованным съестным, и мы тем же путем и образом выбирались назад. Когда, наконец, нащупывали под ногами земную благоразумную твердь, девчонка плавно снижалась передо мною на корточки и, щечкась туго вьющимися смоляными волосами, представляла ухо к моей груди — туда, где сердце.

Прислушивалась и восхищенно, нараспев произносила:

— Ну ты и тру-у-ус, Серега!..

И влажно целовала в губы.

Теперь мне кажется: то, что ведьма тетя Вера дала в конце концов от ворот поворот Ваське, тоже как-то связано с патронатом. В селе безбашенного Ваську побаивались. А вот юные инвалиды, недавние тогдашние воины, если судить по тому, как часто они употребляли в своих многоэтажных выражениях одно повторяющееся имя, не боялись даже самого Господа Бога.

Все могло быть.

...Вторая, беленькая, помоложе. Она даже была с нами в отдаленном родстве.

Тогда среди девочек гуляла мода мастерить из цветных поздравительных открыток шкатулки. Открытки подбирались по темам. Их вырезали причудливым образом, гнули и сшивали из них внахлест что-то наподобие сундучка для хранения несуществующих драгоценностей. Напомаженные кавалеры, целующиеся с роковыми дамами, воркующие и тоже, кажется, напомаженные голуби, букеты каких-то невиданных в наших засушливых, суровых краях райских цветов — совсем другая, необычная жизнь витала на выпуклых лакированных боках этих самопальных поделок. И беленькая большая мастерица по части шкатулок — они, как приданое, стояли в хате на самых видных местах. Я часто заставал ее за этим рукоделием. Сидела под лампою, склонив красивую белокурую голову, от которой света в комнате больше, чем от лампы, резала, шила, гнула, вглядываясь в эту другую лакированную жизнь и что-то беззвучно шепча розовыми пухлыми губами. Она и сама казалась мне в такие минуты сошедшей с этих же поздравительных открыток, которые, увы, никто ей не присылал: она покупала их сама у нас на почте.

Такая же — нездешняя.

Еще она ловко сворачивала бумажные кулечки. Уже тогда готовилась в продавщицы. Вследствие чего я твердо был намерен на ней жениться, как только вырасту. Бригадирова дочка — это замеча-

тельно, это л ю б о в ь, но с продавщицами жить надежнее — кто ж этого в нашей Николе не знает!

Однажды она тайком показала мне золотистый витой волосок, пробившийся у нее подмышкой, и загадочно сообщила:

— Все. Гости приехали...

Я не понял, какие такие гости — мы в доме были одни — и почему они оповещают о себе таким странным образом? У меня самого, правда, никаких скрытых волосков, кроме как давно не стриженной шевелюры на голове, и в помине не было. Тем интереснее потрогать волосок соседки.

— А ты лизни, — милостиво предложила она.

Лизать ее подмышку мне никак не хотелось, но любопытство взяло верх.

Она еще выше задрала ситцевый сарафан, выставив правую руку, как будто отдавала пионерский салют, и я — лизнул.

Ничего особенного.

Она же чуть с ума не сошла.

— Ой! Ой! — расхохоталась и запрыгала на месте, как будто ее щекотали сразу со всех сторон.

Их кавалеры должны были родиться лет на пять-шесть раньше меня — теперь-то я и это понимаю. Школы же тех лет уже и не было смысла делить на «мужские» и «женские» — классы почти сплошь неполные: война за спиною.

Я, конечно, тоже бывал у девчонок дома, но чаще они приходили ко мне. И не только потому, что об этом, уходя на смену, их просила «тетя Настя». Просто здесь над ними уж точно никакой опеки не было. Никаких тебе старших братьев.

Не оставалось укромных местечек в моем доме, которые бы мы ни облазали. Но больше всего любили возиться в коровьих яслях. Меня даже спать укладывали в них, если я за день совсем уж надоедал этим моим несравненным нянькам.

Я весь пах сеном или свежей соломой и был уже съедобен не только для коровы Ночки, которая, придя с пастбы, вполне могла принять меня за кусок соли-лизунца, который ей, особенно перед свиданием с балованным сельским бугаем Буяном, одним на все «индивидуальное» стадо, регулярно подкладывали в ясли, чтоб не дай бог не осталась яловой.

Особенно хорошо спасаться в яслях в летнюю жару. ...Меня раздели, уложили, а потом, переглянувшись, разделись и сами. А что им раздеваться? — сдернули сарафанчики и готово. Никаких тебе помочей и пуговичек.

Сплетенные из прутьев «вонючки» и желтой акации ясли у Ночки такие просторные, что мы вполне поместились в них и втроем.

Дурачились, заливаясь смехом, тормозили меня, барахтались со мною до тех пор, пока вновь, решив-

тельнее, чем когда-либо, не обратили внимания на одну пикантную особенность, резво возникшую в моем паху.

В общем, соль-лизунец оказалась по вкусу не только Ночке.

Боюсь только, что Ночкин обширный и теплый язык оказался бы куда более шероховатым.

Буян-Бойлан.

\* \* \*

Жениться на беленькой я не успел — она умерла еще девушкой. Я приехал на каникулы к родственникам из интерната — мамы моей к тому времени уже не было в живых — и узнал, что моя суженая ушла на тот же бугор, куда годом раньше отнесли и мою матушку.

Я был так оглушен этой новостью, что даже не разузнал толком, что же случилось, от чего она умерла? Литературная память услужливо подсовывает мне сейчас — «неудачный аборт». Не думаю. Вряд ли кто мог соблазнить ее из наших деревенских записных ловеласов, такую чистую, юную и нездешнюю. Разве что кто-то залетный, заезжий?

Совпадение, но тремя-четырьмя годами позже я все-таки женился на продавщице. Юной, красивой, белокурой. Правда, не из продовольственных товаров, а из «Галантереи». В годы моей юности самые красивые девушки почему-то работали в «Галантереех». Сейчас, по-моему, даже магазинов с такими простецкими названиями нету.

Ничего, с продавщицами галантерейных товаров, как показал мне многолетний опыт, жить тоже можно.

Лет двадцать назад встретил ведьмину дочку. На кладбище. Почти все встречи мои в родном селе теперь — на кладбище. Приезжаю ведь только сюда. Хоронили дядьку, и ко мне подошла высокая, суровая, с седыми космами и с огромными, невероятно пронзительными, прямо до самого дна — или наоборот: со дна? — достающими глазами. Дотронулась до плеча:

— Живой?

— Живой, — откликнулся, по инерции ответил я, понимая, что вопрос все-таки ко мне, а не к моему дядьке, которого я привез сюда последним путем и который тихо лежит в деревянном ковчеге в моем изножье.

Она задержала свою суровую руку на моем плече, еще пристальнее вглядываясь в мои запотевшие очки, словно удостоверяться: действительно ли живой?

— Живой.

И погладила меня по лопаткам.

Могла бы и сердце послушать — теперь оно на много спокойнее.

И отошла — даже до гроба дядькиного не дотронулась.

Больше я ее не видал. Жива ли?

А несколько дней назад и о патронате напомнили мне на том же кладбище. Я вновь приехал туда — после многих лет. К слову говоря — теперь уже поменять развалившийся памятник у того же дядьки Сергея. Оказывается, памятники еще недолговечнее, чем люди. И спросил у родни о другом, двоюродном дядьке — его, опять же, звали Василием — где он? Почему не видно? — ведь обычно он завсегдатай кладбища. Василий у нас с детства неблагополучный, «не догоняет», как говорят в селе, и я в каждый приезд привожу ему немного денег.

— А нету его...

Оказывается, умерли его братья, умерли снохи, и последняя, родная сестра тоже умерла — и Василия отдали в патронат. Он, патронат, просветили меня, переехал в райцентр и стал теперь домом престарелых. Василий там и помер.

Мой родич, троюродный брат, что один остался из некогда многочисленной родни не только на все село, но и на все кладбище — все могилы под его опекой и, кстати говоря, под Пасху ухожены лучше, чем дома на селе, — рассказал:

— Я сам лежал в больнице, тоже в Легокумке, когда узнал, что Василь помер. Прибежал туда, в патронат, а мне сказали: уже похоронили. В тот же день, как помер, и похоронили. Там же, в Легокумке, в райцентре. Не здесь.

Странно как-то: в тот же день, не по-русски...

И я понял, почему так незаметно уходили обитатели бывшего патроната Великой Отечественной: их наверняка тоже хоронили в тот же день, если не в тот же момент, как они помирали.

Не ставили ни под портреты Ленина-Сталина, ни под образа, не отпевали, не читали Псалтырь. Отвозили или относили, еще неостывшими, на кладбище, что, как огород, было у них прямо за обсаженным шиповником и смородиной глинобитным двором.

Ни речей, ни салютов.

Так и остались Василевы денежки у меня в кармане. Я ходил между нарядно прибранными — стараниями нашего единственного троюродного аборигена — могилами, и почти с каждого креста на меня смотрела моя фамилия.

А имя у меня, к слову, такое же, как и моего родного, давно снесенного, свезенного сюда дядьки: С е р г е й.

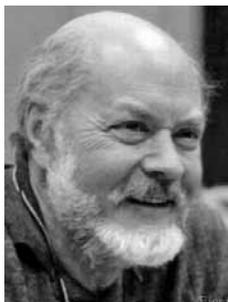
Так что можно постоять и посмотреть на самого себя — со стороны. Лежащего в одной, только что подкрашенной, оградке с матерью.

Но пока еще — живого.

*Январь — май 2011 года*



Лев АННИНСКИЙ



## РАСКАЛЫВАЕТ ИЛИ РАСКАЧИВАЕТ?

Странное ощущение владело мной по ходу спектакля, поставленного в «Современнике» по поэме Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков». Чем ярче, резче, громче раскручивалось действие (а режиссер Евгений Каменькович постарался передать всю жуть позднесоветской психушки, опираясь на мировой опыт осмысления этого феномена, тут можно вспомнить хотя бы Милоша Формана) — так вот, чем острее рвала мне душу эта сценическая жуть, тем загадочнее ускользала общая мелодия поэмы Бродского.

Странно. Поэма вроде бы «просится» в инсценировку, она написана сплошь репликами действующих лиц (их, говорящих, двое, третий сопровождает диалоги получленораздельными завываниями, кстати, очень профессиональными в смысле вокала), авторской речи в поэме вообще нет — играй ее, как пьесу, и порядок...

Да что-то раздваивается порядок. Сквозь диалог, сменяя его, проступают ритмы отлично написанного стиха. Но не только. Проступает неподдельная у Бродского мелодия духовного кача, безысходного для разума, но именно и делающего поэзию великой.

«И делится мой разум, как микроб, в молчанье безгранично размножаясь...»

После такого «молчания» психушечная трясучка как-то мельчает. Хотя именно ее пережил Бродский в ходе судебной экспертизы, а потом описал в поэме, освобождаясь от наваждения. Но безумие, его коснувшееся, спроецировалось на общую картину «прекрасной эпохи», на фатальное оскотинивание мира, а не только на психушечный бред, обретающий смысл в доносах, подаваемых куда следует.

Бред, расчлененный в поэме «на два лица» (на два полушария мозга: интеллектуальное и эмоциональное, как досочинили комментаторы), в сущности и малосценичен (роли «обмениваются», путаются), и маловразумителен (он обретает смысл только в контексте общего помешательства, уловленного великим поэтом). Сводить это общее помешательство к тюремной мерзости — значит укладывать объем в плоскость.

Театр работает эффектно: актеры виртуозно общаются с манекенами, затяжные монологи сопровождаются перекидыванием мячика, то есть яблока, то есть змеиного подарка с древа познания.

Общий смысл повисает в воздухе. Маячит адрес: Ленинградская психическая больница, 1964 год. И для облегчения: «Ныне — Клиника Святого Николая Чудотворца».

Бродскому поэма была нужна, чтобы освободиться от наваждения психушки.

Нам, читателям, она нужна — ради того отчаяния, которое делает поэзию великой.

Отчаянье раскачивает мне,  
Как доску, душу надвое, как нож, но  
Не я с ним остаюсь наедине.  
А если двоедушие безбожно,  
То не дрова нуждаются в огне,  
А греет то, что противоположно.

Раскалывает душу?.. Нет, все-таки раскачивает. И греет. Бродский — не поджигатель. «Смело иди домой...»

А дрова? Вполне подходят для яркого спектакля — разгнать сценическое действие.



Алексей БОРЫЧЕВ



*Алексей Борычев родился в 1973 году в Москве в семье инженеров. Окончил с отличием МГТУ имени Баумана по специальности «оптик-разработчик», аспирантуру по специальности «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Кандидат технических наук. Работал в Институте общей физики РАН, занимался вопросами математического моделирования преобразования лазерного излучения.*

*Начал писать стихи в двадцать лет. Публиковался в журналах «Юность», «Московский вестник», «Вестник российской литературы», в «Литературной газете», «Российском писателе», «Московском литераторе», «Дне литературы» и др. В Интернете — в ЛИТО «Точка. Зрения», журнале «Новая литература» (где трудится в настоящее время редактором отдела «Поэзия»), альманахе «Снежный ком», «Ликбез», «45-я параллель», на сайте «Поэзия.ру» и др.*

*Член Союза писателей России.*

### Война

Куда ни посмотри — везде святынь  
Лучистые забытые останки...  
От воли очумев, цветут цветы,  
Наполнив ожиданьем полустанки.

Здесь время, открячав, отголосив  
Сирено-канонадным плачем, воем,  
Бродило вдоль запретной полосы  
Под памяти всевидящим конвоем.

Здесь небо, утолив печаль по дням,  
Когда мертвящий дух стоял в пространстве  
И рок войны над всеми меч поднял,  
Оглохло, пребывая в скорбном трансе.

Кто знает — над болотами потерь —  
Еще, быть может, мгла воспоминаний  
Рассеется, но крикнет: «Нет, не верь!..»  
Нам ворон, пролетев над валунами.

Куда ни посмотри — сквозь пламя дней —  
Иных огней мерцающие знаки...  
О мире вспоминаем на войне,  
Покуда мир бесчинствует во мраке.



Война — не поругание святынь,  
Не смерть людей, не плач вдовы солдата...  
Война — когда в лугах цветут цветы  
Ни для кого... и ничего не свято!

### Радужное прошлое

*Звезда Маир сияет надо мною...*

Ф. Сологуб

Осколки разбитого детства  
Мечты искромсали мои,  
От прошлого некуда деться.  
И где он, далекий Маир!

Пронизаны радостной дрожью,  
Прносятся годы, а я  
В грядущее по бездорожью  
Иду, за предел бытия.

Мелькают забытые лица,  
Фрагменты былого. Они  
Меня призывают молиться  
За прошлые грешные дни...

А лучики воспоминаний  
Погасли, не греют мой мир.  
В свинцовом осеннем тумане  
Померк мой желанный Маир...

Молюсь, чтобы не было боли  
От радостно прожитых дней

И чтоб, обедневши судьбою,  
Не стал бы я духом бедней.

Грядущее свяжет, конечно,  
Тугою петлею невзгод  
Крыла, на которых беспечно  
Душа совершала полет.

Оно роковой пеленою  
Окутает радужный мир,  
Но вновь заблестит надо мною  
Зовущий в иное Маир!

\* \* \*

Как было прежде — не случилось.  
Спираль былого замерла.  
Прими грядущее как милость,  
Твори, мечтай, и все дела...

Но далеко, в просторах энных,  
Пребудет будущего твердь,  
Где всем хватает переменных  
Для описанья темы «смерть».

От обещаний до прощаний —  
В зеркальном теле бытия —  
Тоннели долгих ожиданий  
Судьбы проделала змея.

В их лабиринтах потеряли  
Ядро первичности своей.  
Витки тугие злой спирали  
Нас закрутили в вихри дней.

И мы легли унылой пылью  
На зеркала иных миров,  
Где небыль властвует над былью,  
Где счастье — в моши катастроф.

\* \* \*

Ослеплен осенней сталью,  
Сонной синевой небес,  
Самолет тоски хрустальной  
Посреди лесов исчез.

Расслоился, растворился  
Средь седеющих осин,  
В искры снега обратился  
И в мерцание трясин...

В угасающие мысли  
Засыпающей совы,  
В нарисованные числа...  
Да во что ни назови!..

Снова снежные постели  
Расстилает нам зима,  
Снова залы опустели  
Для цветного синема...



## Утро

Рассвет, задумчив, нерешителен,  
Уча какой-то свой закон,  
Легко общался с небожителем  
Веселым птичьим языком.

Чирикал, тенькал и посвистывал  
Живой бесформенный комок  
В переплетенье хвои с листьями  
И уставать никак не мог.

И ощущение пряной праздности  
В разноголосой пестроте  
Дразнило, образуя разности  
Оценок чуда в красоте.

Лишь там, где сырость изначальная,  
Камыш, осока, молочай —  
В траве — отчаяньем качаема —  
Ютилась некая печаль.

Ведь утро, медленно скользящее  
По темной чаше бытия, —  
Не что иное, как блестящая  
Слеза, о Господи, Твоя...

\* \* \*

По мостовым, по тротуарам  
Маршировал осенний дождь,  
И запад, облаченный в траур,  
Сказал: ты больше не придешь...

Цвело тревожное молчанье  
Тюльпаном лопнувших надежд,  
И сердцем четко различаем  
Был счастья прежнего рубеж.

А ливни пуше все хлестали,  
Шлифуя неба синеву  
До остроты дамасской стали,  
Косившей жухлую траву.

Горчило осени начало  
Твоим отсутствием в судьбе,  
И небо — плакало, кричало,  
Ветрами ухая в трубе.

Другие часто возвращались  
И оставляли тени зла,  
Но ты их тьму не освещала  
И только в памяти жила.

### **Ты не такая...**

В гробу ледовых стылых дней зима заснула.  
И блик весны дрожал на ней — на снежных скулах!

Тепла не чувствуя, она во сне искала  
Страну, где стынь и белизна, где льды и скалы.

И на лице застыл декабрь едва заметной  
Улыбкой, чопорной слегка — бесстрастья меткой!

А слишком ярый — в сотни жал — январский холод  
На остриях ресниц лежал — на них наколот!

И — вспышек магния белей — блестели кудри  
Морозной дымкой февралей — искристой пудрой.

Весна! Хмельная теплота! Глоток токая!  
Ты все равно не та. Не та!  
Ты — не такая...

### **Одиноко...**

Как одиноко в тех местах,  
Где похоронено бывшее.  
Там в трепетании листа —  
Оцепененье роковое.

Стихает пение синиц  
Под гнетом мертвого пространства.  
Размытых прошлого границ  
Не достигает шаг и транспорт...

Бывало, выйдешь за порог,  
И — вот оно — смеется детство  
И дарит тысячи дорог  
Да одиночество — в наследство!

Но вот и смех уже исчез  
В событий беспокойном гуле.  
...Да, сказка, нет твоих чудес,  
И те, что были — обманули...

Но все же я, закрыв глаза,  
На помощь память призывая,  
Хотя б на миг вернись назад.  
Там ты! Душа моя живая.

*Окончание. Начало в № 10 за 2011 г.*

# СКВОЗЬ

## РОМАН

*Публикуется в авторской редакции. Иллюстрация автора*

### Часть вторая

#### I.

По ночам вдруг стали собираться все вместе и жечь на берегу реки костер. Иногда шел снег, иногда небо было большим и чистым, и можно было плавать по нему без весел. Однажды щепки загорелись сами, а новые не принимались, тогда все сели вокруг огня и стали греть руки, и Квадрат первым сказал: «Как хорошо. Я все-таки в глубине не верил, что ничего уже не будет, и вот, видите, я прав».

— Так ничего и нет, — съязвил Кровь, — ни вас, ни Леры, ни того, кто ею захлебнулся, есть только я... и хуже всего, что вы мне снится. Но проснусь — и вы исчезнете.

Квадрат: Да, да, я понимаю, но ведь сейчас вы спите, а я говорю только о том, что сейчас. Я вас никогда не любил. Не потому что вы были первым у Леры и благодаря вам она обманула меня в Раю. Просто не любил...

Кровь: Мне-то какое дело...

Вокруг из гипсовых, мраморных фигур вылуплялись живые существа, они отряхивались от обломков и сходили с пьедестала. Шли мальчики-подростки, у которых фаллусы стояли, как памятники.

Человек-Час: А где вы сейчас живете?

Кровь: Все там же, в левом углу работы Серюзе, знаете, той, что он написал на папиросной коробке, в левом углу, я там сплю.

Человек-Час: Вы сумасшедший? Вот истинный ад — снится сумасшедшему.

Лера: А я хочу вина. Пойдите купите кто-нибудь, я вам деньги дам.

Кровь (Лере): Наверное, ты верлибр?

Лера: Может быть, только не стансы, не люблю твердую форму.

Кровь (Квадрату): А вот вы явно сонет.

Квадрат: Да пошел ты на х...й.

Кровь: Я же говорю, что сонет... Знаете, кто самый несчастный в зоопарке? Медведь. Ему зимой положено спать, а его будят каждый день и показывают. Я — медведь, я буду рычать: р-ру-ху-р.

Человек-Час: Так сделайте что-нибудь с собой. И всему конец, никакой связи, решайтесь!

Кровь: Что можно сделать с собой во сне? Разве повесишься, зарежешься... а наяву я не решусь. Нет, я — медведь, я буду рычать! Ру-р-р!

Квадрат: Встаньте парами, уходим. (Лере.) Встань со мной, пожалуйста.

Дальше разговор можно записать в два столбика.

левый столбик:

Квадрат — Лера

Помнишь, весло и вода, и звук плик-плик... Это было на самом деле, это я проникал в тебя во сне.

— А! Вот это: внутри не было ни ветра, ни течения, и все замерло, и слышался только сводящий с ума звук, такой плик-плик. Это?

— Да. И к утру ноги твои устали, ослабли, и я выскользнул с этим капающим звуком.

— Я тебе потом звонила. Я хотела поехать с тобой в Рай. Но мне отвечали про жирные пятна, проем двери...

— Я знаю, не звони больше никогда.

— А как же нам опять увидиться?

Но ты же придешь к реке?

Может быть, но знаешь, это очень трудно, когда снишься...

— Там свои неудобства, здесь свои.

А помнишь, нас там видела собака в лесу?

Помню, шел дождь, редкий-редкий, как твои еще не подросшие волосики на лобке.

Ты все забыл, был пушистый снег, пушистее треугольника.

И был обыск земли, самый страшный из всех обысков...

правый столбик:

Человек-Час — Кровь

Кровь: Знаете, изобретена новая машина: на-правляешь луч к земле, и в ручном экране отражается в цветном изображении то, что находится под землей. Таким образом, я видел совершенно скрытый город, и там на одном здании была фреска с профилем, совершенно напоминающим мой!

Человек-Час: Это неудивительно...

— Но все же.

Страшнее, когда поэт пишет: «Я даже не позволил, просто спустился по лестнице, потому что один голос был ее, а другой не мой...» Скажите, вот если бы вы имели возможность надувать людей и отпустить их в пространство навсегда от земли, вы бы...

— О, я бы набрал целую корзину и, между прочим, не пощадил бы вас...

— Вам было бы неприятно меня надувать.

— Ничего, потерпел бы.

— А почему вы выбрали именно картину Серюрье?

— Так... Надо же где-то жить.

Сколько сегодня облупилось статуй. Смотрите, из этой никак не вылупится. Кто там? Голова еще под скорлупой, грудей нет, а вместо привычного треугольника — свастика...

Да пойдете, какая разница. Этот обыск земли мне не дает покоя. Почему на той фреске?

Почему вместо треугольника?

Утром на некоторых сучьях деревьев появилась щетина, садовники подходили и сбрасывали ее электрическими бритвами — это пришла весна.

Между Эльбой и Корсикой — неподвижный биннокль. Когда к нему приникает Наполеон, господин Брюлар ему кажется маленьким-маленьким, когда же со своей стороны Брюлар, то Наполеон ему кажется большим-большим, с целый остров.

...А если посмотреть в ручное зеркальце на стену за спиной, то в отражении вскрикнет то ли отрезанная ножницами, то ли навязчивый образ, по всем болотам бегущий за фламинго; слева тень подхлестнула ремнем голоногую индуску, и одна ее грудь взлетела и замерла на груди партнера, дальше, кажется, акробаты, ничего не вижу... только пони с широкими полями, потом пустая стена, и уже у самой двери «голубая» — две чайники, два издалека

слышимые «соль» с прическами японок, и летящие оби, и пятно, и ветка.

Осенью, когда вылупившиеся живые стали каменеть, покрываясь непроницаемой скорлупой, Лера целовала Квадрата и говорила: «Т а м сейчас идут строгие дожди, и земля чешуйчато покрыта зонтами. Там, на Старших прудах, в красной рубашке, вытянув руки по швам, торчит между ногами бронзового Крылова — мальчик, как живой фаллус баснописца».

Зимой-зимой неподвижные статуи стояли, как мертвые, а Лера и Квадрат вдруг стали ссориться: он не хотел, чтоб она поступила в оркестр. «Ты не прав, музыку здесь так воспринимают, как я люблю трубу!» Дирижер был просто маньяк. Любовные пары располагались, как в симфоническом оркестре. Она хотела исполнять соло на трубе. После концерта тела-скрипки, тело-контрабас, барабан, тарелки лежали, как полумертвые.

Квадрат разглядывал Лерины перчатки и по образовавшимся на коже складкам и морщинам читал ее судьбу. Последнее время она часто меняла работу, и место в оркестре было не из лучших. Но зато ей дали комнату с правильными чертами и большими подведенными глазами. Она находилась рядом с общежитием зверей, и часто было слышно, как они воют.

Когда постучал Квадрат, Лера вышла и открыла; когда пришел Человек-Час, дверь была не заперта; когда последним появился Кровь, снял пальто и вдруг вспомнил, что купил его уже после Лериной смерти, подведенные глаза комнаты потекли, ее правильные черты искривились, и Кровь стал что-то писать в воздухе, а Лера откуда-то издалека говорила: «Хотите, откроем окно — я соскучилась, а еще подарили пакет картошки и цветы».

И Кровь подумал, что если сейчас что-то не случится, значит, он уже умер и пришел к мертвым — и тут он проснулся.

Он лежал у себя в комнате — в левом углу работы Серюрье, было светло, и дул четырнадцатый ветер.

## II.

Была так знакома пастозная техника дождя. От сырого воздуха и стен в горле начался садизм.

Мам!м!-а! — боднул головой Кровь. Вместо ответа какой-то душевнобольной застучал по батарее. Очень чесался прыщ на спине, Кровь раздавил его, и запахло сиренью. На полу лежала обгоревшая кукла и бессмысленно улыбалась. Прилетела муха и села на край постели. Он пустил ее под одеяло и сам спрятался с головой. Муха вела себя тихо, и Кровь стал с ней разговаривать. Рассказал ей об Анри, как тот любил одну-единственную женщину, жену принца



Конде, и когда она умерла, король стал забавляться с мальчиками. После этого выпустил муху, но когда ему показалось, что та на подоконнике треплется с другой, — встал и убил ее.

Внизу у подъезда сидели старухи, волосатые и сморщенные, как проросшая картошка. Дворник на поводке водил паука. Это он, Кровь, вырастил гигантских пауков. Они забавляли его первое время, когда он вставлял им в челюсти распылители из собственного участка пористой кожи, и пауки, в бешенстве испуская слюну, создавали ту невидимую пленку, под которой можно было сохранять снежные островки летом или устраивать каток среди хлопьев цветов. Теперь пауки брызжут слюной, пока повсюду идет невыдуманный дождь, не касаясь только декоративной лыжни, но зато размачивая до хлебных мякишей, словно на корм рыбам, головы бездарных прохожих.

А в тридцать восемь лет короля убили. Кровь щелкнул по башке покойницу-муху — взошел на престол Анри Кязр.

Днем Кровь одиноко стоял у раковины и мыл скопившуюся за ночь посуду. Уже несколько ночей подряд кто-то ел у него на кухне. «Двое, — думал он, счищая с тарелок остатки капусты и риса, — нет, трое, вот еще один стакан с недопитым вином, как я его не заметил раньше. Этот третий, наверное, пил стоя, ведь стула только два». Когда он нагнулся, то увидел миску на полу, и там тоже были остатки еды, а за шторой на подоконнике стояла крышка от пузырька с вином. Обьедки были в тазу, в тарелках и в крошечных пробках. Один из гостей смастерил себе из двух спичечных коробков кресло, кто-то из них купался в бокале со льдом и курил сигарету. Видимо, самый большой сидел на полу, а самый маленький — на китайской полочке рядом с флаконом, потому что там Кровь нашел косточку от маслины.

Забинтовал горло, открыл окно и поехал в лес, который, как ему казалось, не должен был уйти далеко со вчерашнего дня.

Но все-таки лес ушел от города на две автобусные остановки дальше.

Деревья шли медленно, закатав корни, и только несколько бежало страусцой.

Солнце смылось. Небо стало безропотно темнеть.

Кровь подпрыгнул и сел на сук, долговязый вяз потащил его на север.

### III.

Шла лыжница, она метко попадала палками в проколы на снегу, оставленные кем-то раньше, рядом с ней в маленьких черных ботинках не культяпал по сугробу, а скользил с легкостью водяного жука Сер-

гей Маковский. Он был глазастый, как буква «Ё», и все время улыбался и о чем-то говорил лыжнице, но только когда они приблизились, можно было разобрать: «Тонкая полоска, облачный пунктир, два-три ярких пятна, узор, блик, мелочь — все сказано, Бердслей не порнограф. Он гораздо больше... Даже самые непристойные из его рисунков, я видел целую серию у венского коллекционера Верндорфера, не производят впечатления соблазнительности в том пошлом смысле, какое приобретает это слово на языке пошлых людей. Бердслей слишком изысканный мастер и слишком безумный художник, чтобы быть опасным для добрых нравов. Соблазны его порочности доступны очень немногим». Потом он начал говорить о масках, но вдруг потекла река грязная, как монголка, и Маковский с лыжницей остались на одном берегу, а Кровь на другом, и Кровь крикнул через реку: «Сергей Маковский, вы уже уходите!» — и ему показалось, что он услышал в ответ: тут были маски из зеленого бархата, придавшие лицу такой вид, как будто на нем три слоя пудры, и Кровь заплакал, но почувствовал, как кто-то холодными руками закрыл ему глаза, это была Лера, она ничего не говорила, а только улыбалась, и он поцеловал ее руки.

— Пойдемте, — сказал, — пойдемте со мной. — После смерти, сам не зная почему, стал обращаться к ней на «вы».

Недалеко отсюда нашли гостиницу, и в названии ее была одна орфографическая ошибка, которая почему-то очаровала. Поднялись на второй этаж, Лера зашла в ванную, капельку поморосила и вышла, завернувшись в простыню... и уже после лужицы на ее животе, и после того, как он, вода кончиком, нарисовал себя, они лежали, чуть-чуть трогая друг друга, и она тихо и немножко фальшиво пела, а за окном еще тише шел снег-ребенок.

Потом в его пальцы попал сосок, как ударный слог из самого нежного слова «персидский», оказавшийся скоро уголком его собственной рубашки, которая немного порвалась о сук вяза, поменявшего за это время направление с северного на восточный.

Кровь сел поудобнее, облокотился о ствол и уже через несколько минут услышал карликовый голос:

— А ты носил в детстве такой противный белый лифчик, застегивающийся впереди на пуговицы?

— С резинками и чулками? Конечно, носил.

— Как я тебя за это люблю!

— Ну почему именно за это?

— Не знаю. И резинки были видны из-под коротких штанишек?

— Увы.

— А штанишки держались на лямках, перекрещивающихся сзади! Я тебя за это еще больше люблю.

У самого берега на бревне сидели Лера и Квадрат. На нем была шуба с карими рукавами, на ней серая шкурка. А перед ними в реке плескались НеЛаира и смертный брат.

— Смотри, — сказала Лера, — им не холодно, они купаются, когда хотят, им все равно, лето или зима.

— Они ведь неживые...

— Мы тоже неживые, а мне холодно.

— Садись ближе ко мне, я тебя согрею.

— Нет, ты холодный.

— Ты меня больше не любишь?

— Очень люблю, но ты холодный.

— Лера, посмотри на меня.

— Что?

— Ты меня все время там обманывала?

Она пожимает плечами.

— Скажи. — Квадрат повернул ее к себе.

— Зачем ты делаешь мне больно, хотя я была, здесь не существует боли, можно бесконечно составлять из ссадин и синяков адские композиции Кандинского.

— Прости, я не хотел.

— Я помню, как однажды Кровь пришел в библиотеку, в которой я работала. Он сидел в зале и ждал, пока я принесу книги, и когда я показалась со стопкой в руках, он вскочил и обнял меня за ноги.

— Я поцеловал вас в чулок, — сказал Кровь. Он стоял сзади и держал над головой зонтик. — Если вам неприятно меня видеть, я уйду.

— Нет, останься.

— А где Человек-Час?

— Он ломает ваш дом, — ответила улыбнувшись.

— Мой дом! Вы шутите? — Кровь дернулся и тут, открыв глаза, увидел, что лежит на земле, а сбросивший его вяз удирает, запутывая следы, словно моль. Кровь потерял ногу, оседлал какое-то подвернувшееся дерево и расположился в дупле, темном, как крепкий чай.

За рекой была стена, и на стене висели часы, они показывали местное время. Сквозь прозрачную воду было видно речное дно, выстланное крашеными досками.

Плавали пустые лодки. Стояли неподвижные рояли домов. Поднимались в воздух самые летучие буквы Ффф, Ххх.

Она спрятала под шубу Квадрата руки.

— Возьми его, — попросил Квадрат.

Она взяла его в ладонь и сказала: «Какой он мягкий у тебя, как мой животик». В небе стало грустно.

Она: На самом дне комнаты... компота мы изображали в лицах рассказ Эдгара По. Мою белокурую я никогда не видела раньше, но в той комнате ее звали Люнель. У нее была очень густая шерсть на

попке, а лобок бритый. Когда она легла на меня, я ее спросила тихо: это правда, что ты хочешь изображать мужчину? Вместо ответа она напрягла все силы и стала немножко тяжелее. «У тебя ничего не получится», — сказала я ей. И вдруг она страшно вскрикнула, потому что ее пипонька, мгновенно вывернувшись, выстрелила в меня шариком-колбаской. От этого выстрела я почувствовала ор.

— Мне больно и очень приятно, — сказала я ей.

— И мне также.

Квадрат: Хороший рассказ.

Лера: Пойдем к тебе.

Квадрат: Слышишь, в реке скрипят доски, как будто по дну кто-то ходит.

Лера: Я не прислушиваюсь. Не хочу слышать, до сих пор не могу привыкнуть. Отряхни меня сзади. Там ничего нет?

Квадрат: Пойдем.

Лера: Стой! — бабочка перебежала дорогу, как кошка, видел, где т-ты! где т-ы-ы! (остальное проглотила «Ы»).

Из дупла Кровь увидел дома, взятые в плен кольцевой дорогой. И автобусную остановку, на которой гадали люди. И вдруг услышал явно: «Где ты-ы-ы», — надрывающаяся «Ы» его проглотила.

— Слава богу, ты здесь, — сказала она, возникая и обнимая ладони Квадрата, — пойдем же скорей.

В его доме над самой постелью висел самодельный абажур, сшитый из поношенной комбинации с гадкими кружевами и даже с одним желтым пятном на них.

— Сюда, — позвала, — скорей, сейчас же. — Сперма брызнула пунктиром: она проскакала через весь живот, как плоский камушек, брошенный по воде — та-та-та, и ушла на дно в волосы. От Лериного смеха Кровь проснулся.

Кольцевая дорога, плен, автобус, из дупла он вылез заспанный и злой. Посмела так безобразно усыпить его перед самым утром. «Где ты-ы!» — передразнил он. «Ы» оскалилась.

#### IV.

Еще издали Кровь увидел, что разбито стекло, и поломана рамка его дома, и картина помята, как табачная обертка. Он сел в левом углу и стал расправлять ладонью стены и пол. Трещины проходили через весь левый угол от кровати до кухни, а посредине был вырван целый кусок картонки, и вместо ванной зияла дыра.

В дверь постучали. Кровь повернулся и прислушался. Раздался опять стук. «Войдите, — сказал он, — слышите!» Дверь открылась, на пороге стояла Люнель.



— Я живу внизу. К тебе никто не приходит. Меня зовут Люнель.

— Ну и что? — Кровь посмотрел вопросительно и отвернулся.

— Не сердись, мне скучно дома, днем я одна.

— Осторожно, видишь, здесь яма.

— Я не упаду.

— Я устал, я хотел бы лечь...

— Не прогоняй меня, и я полежу с тобой, можно?

— Как хочешь.

На потолке появились два маленьких вздутия, это отразились припухлости Люнель.

— Почему у тебя все тело мокрое? — спросила она.

— Я же тебе сказал, что очень устал.

— Что ты делал?

— Спал.

— Я знаю, я тоже, когда сплю — устаю, но я не бываю такой мокрой.

— Скажи, тебя никто не прислал, ты пришла сама?

— Сама, сама, ты не бойся! Я сама пришла, я думала, мне с тобой будет лучше.

— Видишь, кто-то ломает мой дом, — Кровь улыбнулся. — Ты теплая и очень маленькая.

— Сегодня опять шел грязный снег. Пауков наших дворник не чистит, они ходят и оставляют следы на лестнице.

Он обнял Люнель и мгновенно ввел его, как цитату, и цитировал несколько минут подряд: сначала петитом, потом курсивом и разрядкой, так, что она, лежа навзничь, только смотрела широко, шире, чем ноги, раскрыв глаза. Потом он встал, вытерся полотенцем, выпил немного воды.

— Не дай мне заснуть теперь, — сказал он, — не дай мне заснуть, делай что хочешь, но только не дай заснуть.

Она лежала, вычеркнув себя из комнаты. Подошел, провел языком по ее лицу, кожа немного горчила.

— Не бойся, я не засну, подай мне туфли. Хочу поставить чайник, можно?

— Не надо, не ходи на кухню!

— Почему?

— Не ходи!

— Да почему? Поставлю быстренько — и все.

— У тебя уже кто-то был?

— Да.

— Кто?

— Слабана Передок.

— Бедненькая, давно это случилось?

— Да, кажется, год назад... с градусником.

— Ну, иди, поставь чайник, если хочешь.

Вернулась с черным прекрасным сухарем.

— На столе взяла, хочешь?

— Там много грязной посуды?

Она кивнула и спросила: «К тебе приходил кто-то?»

— А что ты там еще видела?

— Что? Больше ничего... обьедки. Там пахнет пивом. Почему ты спрашиваешь, разве ты с ними не был?

Кровь сложил байковое одеяло лодкой и сел за весла.

— Иди сюда, — позвал он Люнель.

— Кто был на кухне? — раскачивая лодку, допытывалась она.

— Может, люди, может, насекомые, я не знаю, меня с ними не было, я спал в дупле.

— Понимаю, тебе снятся плохие и страшные сны.

— Я не сказал, что плохие, просто Лера меня обманывает во сне, она меня не любит. Поэтому я не хочу ее видеть, и прошу тебя, не дай мне заснуть. Мы с тобой будем долго-долго кататься и говорить, а потом я отвезу тебя домой.

— Зачем отвозить, я живу этажом ниже...

— Все равно, по лестнице ходят беспризорные пауки, и ты можешь испугаться.

— А Лера, где она живет?

— Среди статуй, из которых весной вылупляются живые. Она живет в комнате с большими выпуклыми глазами, как у совы или других ночных птиц. А по вечерам она приходит к реке, и они там жгут костер.

— Кто они?

— Их двое: одного она любит, а второй, кажется, хочет меня убить, потому что по нему она проверяет часы...

— Она умерла?

— Однажды тот, кто ее любил больше всего, выпил ее и захлебнулся сам.

— Кто-то свистит!

— Не бойся — это чайник. Завари, пожалуйста, а я пока поставлю лодку.

Они пили чай маленькими глотками и по очереди грызли сухарь. Когда им становилось страшно, они замолкали и целовались.

И только через одиннадцать дней Кровь увидел Леру, и волосы его встали дыбом, как свет от фары. Она лежала у берега, накрывшись грязной волной, и все, совершенно лишенная сил за одиннадцать дней небытия.

Подошел, перевернул ее на спину, сдернул волну, скомкал и бросил в костер.

— Зачем, — сказала, ежась, и подняла бровь, как воротник.

— Я вам помогу, вставайте... вот так, вот так.

— Я никуда не пойду. — Лера посмотрела на себя в зеркало и отвернулась. — Видишь, все платье мятое.

— Это зеркало мятое, вы в него не смотрите.

— Что вам надо?

— Будьте моей женой.

Была первая опоясывающая пауза и за ней вторая, как Тамплъ. После третьей Лера сказала: «Потом». Кровь протаранил впереди себя потомков «потом»: всех сестер, братьев, мамочку, потянулся во сне, потерял лопатками о простыню, вспотел и ответил, чуть откинув голову назад: «Хорошо. Потом».

И опять, и опять потянулись грязные темные утра с шубами на веревках и дождями, где все настроение нечистоты было сконцентрировано в колокольне Ивана Великого, выкрашенной зеленой ядовитой краской.

Лера: Знаешь, на что похожа сперма? На мрамор в жидком состоянии. Она очень красивая, я замечала в лужице голубые и розовые прожилки.

Кровь: Ты очень загорела, пока лежала здесь.

Лера: Не вся.

Кровь: Пойдемте, хотя бы сядем на скамейку рядом, пойдемте. — Он прижимался к ней всей молнией, потом пуговицами на рубашке, потом складками на брюках.

Лера: Что у вас в свертке?

Кровь: Не знаю, это просто так.

Лера: Давайте посмотрим.

Кровь: Потом, потом.

Лера (разрывая бумагу): Клетка? Зачем она вам?

Кровь открыл дверцу, нечаянно опрокинул блюдо с водой, посадил Леру на рассыпанную крупу и стал загоразивать клетку своей одеждой и бумагой. Но все равно они уместились только сидя, и целовались очень осторожно. Когда Лера встала с крупы, ее ноги были покрыты мурашками наизнанку.

Началась Девятнадцатая война деревьев. Деревья шли на город, растопырив листья, как уши, выставив сучья. Городские деревья выдирали корни из-под фундаментов, и дома рушились. Кустарники окружали людей и душили их. Корявые, как детские обгрызенные ногти, придурковатые подстриженные тополя клещили прохожих. Все елки работали с хладнокровием нюрнбергских баб.

Через пятнадцать часов деревья, победив и сбросив позиции, смотались.

Картина Серюрье была аккуратно разорвана по девяти силовым линиям, конечно, не деревьями.

«Он приходил, пока я был в клетке с Лерой», — протерев глаза, решил Кровь.

Ничего не взяв из вещей, хотя кое-какие были целыми, он спустился на улицу, и тут у него заболели ноги. В них что-то булькало несколько минут, а потом они стали высыхать и крошиться. Это было совсем не



Коток

больно, и примерно за час они совершенно раскрошились. Кровь сделал стойку и пошел на руках. Он неумело шагнул, как вдруг и с руками случилось то же самое. После ног и рук раскрошилось туловище, как кулич из песка.

Оставшаяся в живых голова покапала к обочине тротуара. Это было омерзительно — касаться лицом асфальта, особенно губами. Тогда голова легла на затылок и подпрыгнула. После нескольких прыжков, сопровождающихся адской болью, появились синяки и шишки.

«Так можно получить сотрясение мозга», — сообразил Кровь. И тогда

всеми усилиями воли голова встала на волосы и пошла, как тысяченожка. Это было удобнее всего. Но скоро волосы устали, и голова упала.

Кровь оказался у самых окон и поэтому крикнул: «Люнель!»

Она выглянула из окна и не увидела голову, тогда Кровь напрягся опять и встал на волосы. После этого Люнель разглядела его.

Вышла на улицу и взяла голову в руки, вытерла ее платочком и понесла.

— Куда ты меня несешь? — спросил Кровь.

— Я несу тебя домой, я тебя помою и покормлю.

— Не смей, — ответил он и со злостью укусил ее за палец.

— Зачем ты кусаешься? Куда же я тебя дену?

Кровь: Мой дом сломали, отвезешь меня за город на автобусе, только немедленно.

— Хорошо, — сказала Люнель. И больше они не говорили.

В лесу Кровь пробурчал: «Положишь меня в дупло — и тут же уходи, поняла?»

— Я поняла, — ответила Люнель.

Когда еще голова была у нее на руках, Люнель поцеловала ее в волосы и один раз в щеку.

В глубине леса нашла самое сухое и красивое дупло. Положила голову, хотела проститься. Вдруг смиренное дерево лягнулось и побежало. Люнель кинулась вдогонку, потому что боялась, что голова выкатится и разобьется. Но все было хорошо. Люнель скоро отстала.

## V.

Вся серия неба была скрыта. Из подвального окна только виднелись каламбуры человеческих ног.

Лера и Человек-Час лежали на пыльном столе у самого окна, изредка вставляли замечания, касающиеся ног прохожих. Человек-Час водил пальцем



по столу, получались кривые рисунки на пыльном фоне.

— Скажи мне что-нибудь, — просила Лера.

— Что я тебе скажу?

И они замолкали.

Он не прикасался к ней. Она и хотела и не хотела нарушить оттиски на столе.

Это было тридцать первого июля, спиной к писателю-памятнику, вот уже четырнадцать лет сидящему без носок.

Голова подкатилась к самому берегу и еле остановилась, зацепившись зубами за пучок травы.

Лера с Квадратом купались в реке. Вода фосфоресцировала, обманывая воображение длинными рукавами смиренной рубашки. Фосфоресцирующие рукава высывались из воды и охотились за рукавами.

Когда Лера легла на спину Квадрата и они поплыли вместе, голова почувствовала прилив тошноты.

За красным марсовым вечером набухла непроходимая ночь, и выстроились кастровыми рядами звезды еще дальше, еще дальше.

Голова легла поудобнее и прислушалась.

— Если б можно было выбрать, — сказала Лера, — я б хотела жить у ограды Тюильрийского дворца ван Донгена.

— Да, — кивнул Квадрат, — это красивая картина. Но у тебя очень хорошая комната. Редон бы позаиводвал ее глазам.

Потом они поплыли далеко, и Кровь потерял их из виду. Вернулись, полежали у самого берега в воде. Было тихо и покойно. Кровь расслабился, разжал губы и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покотился — ужас — прямо в воду.

Лера отскочила в сторону и вскрикнула.

— Какая мерзость! Голова.

«Конец», — подумал Кровь, но через секунду всплыл, как мячик. Его отнесло немного в сторону, но он все слышал, как Лера плакала от испуга, как она всхлипывала и все время повторяла: «Не хочу, не хочу здесь жить!»

Квадрат успокаивал ее, гладил по голове, потом дал ей свою рубашку, она вытерлась ею, и они медленно пошли вдоль берега.

Впервые за долгие дни Кровь умылся, попил и неожиданно почувствовал себя хорошо.

Они шли, а он плыл рядом.

Квадрат: Когда ты виделась с ним в последний раз?

Лера: Недавно. Это было в подвале. Мы простились.

Квадрат: Вот как?

Лера: Да.

Квадрат: А Кровь?

Лера: Не знаю, я уже давно его не видела, но раз мы вместе с тобой, значит, он жив, просто не хочет показываться, не знаю почему.

И Кровь, услышав это, выплыл на свет.

— Вот вы где, — сказала Лера, — вы купаетесь. А мы только что говорили о вас.

— Очень освежает, — отозвался Кровь. — Не хотите ли присоединиться?

Он представил, как они войдут в воду и не обнаружат его тела. Но она сказала:

— Нет, нет, мы только что купались. Действительно, очень хорошо, но больше не хочется.

— Лера, — позвал Кровь, — подойдите ко мне на минутку.

Квадрат что-то шепнул ей, и она подошла к самой воде.

— Вы мне что-то хотели сказать?

Кровь по привычке откинул голову и нечаянно перевернулся через затылок. Но не увидел ни удивления на Лерином лице, ни испуга, она просто ничего не заметила, она все так же стояла и вопросительно смотрела.

— Ты любила меня когда-нибудь? — спросил он.

Она оглянулась на Квадрата и сделала шаг в сторону.

— Выходите, вы так долго в воде, простудитесь.

— Скажи только: да или нет!

— Но почему вы не выходите?

— Да или нет?

— Мы пойдем уже. Хорошо. — Вода была мутной и Лера вряд ли что-то разглядела. Улыбнулась и добавила: — Увидимся еще.

— Подожди, — сказал и опять нелепо перевернулся через затылок. Но она не заметила это и во второй раз. — Наклонись ко мне! — В его голове мелькнула жуткая мысль впитаться ей в губы и повиснуть. Но он не сделал этого. Может, боялся показаться смешным или отвратительным.

— Что? — Лера наклонилась, а потом нехорошо торопливо сказала: — Ну, я пойду. — И пошла.

И в этот момент волна выбросила его на берег, но она это не увидела, потому что не оглянулась.

Кровь отряхнулся, полежал на левой стороне, и вода вытекла из одного уха. Потом полежал на правой, и вода вытекла из другого уха, обсушился чуть-чуть...

...А в тридцать восемь лет Мои Глазки был убит ножом в живот, но убийца короля, святой отец Жак Клеман, так и не получил в награду benitier м-ль де Монпансье.

...И на смертном одре Кот в сапогах, по заключению доктора Эмери, все больше смахивал на женщину: своими узкими плечами, своими широкими бедрами, выпуклым лбом.

1980–1995



*Евгений Яночкин родился в 1966 году в Красноярском крае, с 2006-го живет в Дмитрове Московской области.*

*По первой профессии — геофизик, занимался проведением полевых исследований в Саянах, в районах Севера, в последнее время — в Индии.*

*С 2004 по 2010 год учился заочно в Литературном институте имени А. М. Горького (семинар поэзии Эдуарда Владимировича Балашова).*

*Стихи пишет с детского возраста, есть опыты в прозе: несколько рассказов, эссе, повесть.*

*Публиковался в периодике Саяногорска, Абакана, Красноярска, Дмитрова, в коллективных сборниках Саяногорска и Красноярска, в литературных журналах «День и ночь», «Московский вестник», «Братина».*

*В Самаре издан музыкальный компакт-диск с песнями на стихи Евгения Яночкина в исполнении автора Алексея Аполинарова.*

*В 2010 году в Москве вышел сборник стихотворений и поэм «Отголоски».*

## ТРЕТЬЕСТЕПЕННАЯ ПРИХОТЬ

Люди, пишущие или просто любящие стихи, не могут не тревожиться о том, почему снизился интерес к поэзии, почему стихосложение порой рассматривается как некая третьестепенная прихоть. Эта проблема, для кого-то совершенно пустая, становится болезненной и судьбоносной для тех, кто продолжает верить в особенное значение поэзии. Для них поэзия — и есть судьба, в ней лучшие стихи случаются как самые значительные повороты.

Но вопрос шире особенностей творческой личности. Нужны ли стихи обществу или это — дело чудаков-одинок? Я думаю, нужны. Но какие и зачем? Возможно, что попытка ответить самому себе на эти вопросы пролетит свет на причины сегодняшней непопулярности ритмически организованных строчек. Впрочем, здесь следует сделать одну оговорку.

Поэзия — явление более важное и всеобъемлющее, чем все, связанное с созданием стихов. Есть

поэзия природы, поэзия человеческой деятельности, и, возможно, Поэзия вселенной существует в ней как время, ритм, движение и пространство. Эти открытия у нас впереди, здесь же буду использовать слово «поэзия» в его узком смысле... А в силу национальной принадлежности и «банальной эрудиции» речь пойдет преимущественно о русской поэзии — той, что в течение двух последних столетий распространяла значение стихов за рамки услаждающих песнопений, сделав их реальной исторической силой.

Читая статьи и автобиографические записи поэтов-предшественников, я пришел к выводу, что непопулярность — понятие не вполне корректное, на самом деле «проблема современной поэзии» существовала всегда. Пастернак писал о Блоке, будто тот говорил, что поэт рождается, когда ему *есть что сказать миру*. И, очевидно, те, кому сказать нечего, но очень хочется,

придумывают теории «поэзии для себя», «поэзии для поэзии», в которых порой не чувствуется ни искренности, ни смысла. Самые талантливые авторы — создатели таких теорий — своим творчеством лишь доказывали их несостоятельность, создавая шедевры, которые нужны людям. А последователи и подражатели всегда делились на тех, кто следует духу мастера и его учения, а кто — букве...

Мнения о том, какие стихи нужны, очень различны. Одни считают, что поэзия должна быть проста и сердечна, другие склоняются к поэзии мысли, поэзии неожиданных и ярких образов, к музыкальной поэзии. Кто-то из специалистов вообще готов отделить поэзию от литературы, считая, что первая должна быть лишена очевидных смыслов... Но поверх всех мнений можно поставить утверждение: поэзия никому ничего не должна, она *есть*, и задача поэта — не придумывание, а поиск.



Новое стихотворение — открытие для автора. Чтобы оно становилось таковым и для читателя, от последнего требуется немного любви и труда. Но подвигнуть на такой труд может лишь сама поэзия — если она незримо присутствует в произведении. Тогда любимые стихи можно будет открывать для себя много раз на протяжении жизни, а потомки откроют их заново. Тогда прочитанное навсегда останется частью твоей души, как Пушкин и другие поэты...

Как же создаются эти так называемые хорошие стихи? Наиболее известная формула живучести стихотворения — способность автора через частное выразить общее. Я думаю, она верна, разумеется, необходимы и другие грани таланта: чувство слова и ритма, обостренное восприятие жизни...

Но вопросы, связанные с поэзией, все равно нельзя решать однозначно. Писать «для себя» или «просто так» — вряд ли хуже, чем не писать вовсе, ибо и в таком творчестве могут прорасти зерна. И все же это — несколько надуманная позиция, ведь каждый пишущий мечтает с кем-нибудь поделиться. Но если человек начнет заведомо сочинять «для народа» — мы знаем,

что из этого получается... Можно заострить внимание на технической стороне дела и писать «гляденько и ни о чем», тогда написанное никого не взволнует; можно рифмовать политические лозунги и философские доктрины, но такие стихи быстро набьют оскомину, если не будут изначально смешны...

А. Твардовский писал в автобиографии, что в молодые годы его настойчиво учили писать «туманно и непонятно», именно тогда написанное должно было «походить на стихи». Очевидно, как реакция на эти трудности ученичества, в «Теркине» звучат известные всем строки:

Пусть читатель вероятный  
Скажет с книжкой в руке:  
«Вот стихи, а все понятно,  
Все на русском языке!»

Ясно: чтобы занять внимание читателя, поэзия должна быть предметна. Но также ясно и то, что вовсе не предметы (прошу прощения за каламбур) — подлинный предмет поэзии. Это равновесие нельзя нормировать научными определениями, они в лучшем случае лишь указывают на суть вопроса. В том и заключается тайна поэзии и поэта. Поэт —

первооткрыватель бытия. Если его стихи что-то говорят душам, значит, он смог выразить то, что люди давно чувствовали, но не могли сказать так точно, кратко и емко, как он. Предельная концентрация содержания, которое открывается человеку в один миг и которое нельзя выразить даже в философском трактате — еще одно свойство самых гениальных стихотворений.

Нельзя требовать гениальности, но поэзия — не усыпляющая бессмысленностью и не терзающая бесполезными призывами, а стимулирующая самостоятельный труд души — несомненно, нужна. Нужна, если мы не хотим получить общество, которое будет делиться на европеоидных прагматиков и откровенных кретинов.

Чтобы поднять человека над замкнутой рассудочной реальностью, напомнить ему о главном, то есть о его душе, — нужна поэзия, которой зачитывался XIX век и которая хранила духовный стержень нации в двадцатом; та, что помогла солдатам выстоять и победить в бою, а человеку в сложной ситуации — принять решение; та, по которой мы, молодые романтики 80-х, учились жизни.

Евгений Яночкин

### Отголоски

*(почти медитация)*

Кто-то зажег Костер,  
Свет на дороги брызнет.  
Длится старинный спор —  
Спор о загадке жизни.

«Жизнь — это лишь игра!» —  
Бросит случайный пеший.  
«Мне уже спать пора», —  
Лесом аукнет леший.

«Надо достичь вершин!» —  
Скажет безумный малый.  
Над житием души —  
Лампочка вполнакала...

Голову вверх — туман,  
Голову вниз — заботы.  
Рыщут сквозь океан  
Маленькие вельботы.

Вдруг озарит любовь,  
А оглянешься — ревность.  
И бесполезность слов  
В серую многодневность.

И не видать ни зги  
В едком дыму вопросов.  
Вспыхивают мозги,  
Гаснут, как папиросы.

Но к огоньку свечи  
Тянутся снова руки.  
Кто-то не спит в ночи,  
С сердцем своим в разлуке...

### **Луна и волки**

В ночь, когда луна своим сияньем  
Бесконечно падала с небес,  
Волки собирались на поляне,  
Позабыв привычный темный лес.

И качались, сев просторным кругом,  
В ритмах света, страсти и тоски,  
Песней, полной счастья и испуга,  
Разрывая сердце на куски.

Но, отдав оброк своей богине,  
Возвращались вновь в дремучий лес,  
Чтоб укрыться в ямы и отныне  
Позабывать о близости небес...

Но веками помнить будут скалы  
У подножья снежного гольца  
Превращенье волчьего оскала  
В некое подобие лица...

### **Прилет гусей**

На северах в начале мая  
Еще снега... Метели вой...  
Но сердце вздрогнет, замирая:  
Как первый гром над головой,



Как дикий крик: «Земля! Полундра!» —  
На том пиратском корабле, —  
Прилет гусей... Кружится тундра  
В спящей снежно-белой мгле.

Пора домой... Сезон отмерян,  
И лыжи липнут с десяти.  
Там, дома, — все, чему я верен...  
Ах тундра, тундра, отпусти!

«Пора домой!» — хлопчут крылья,  
«Пора домой!» — благая весть!  
И верится: за снежной пылью  
Тепло, любовь и солнце есть...

### **На трассе Надым — Салехард**

*(зимник Надым — Салехард проложен  
рядом с разрушенной железной дорогой,  
построенной в середине прошлого века  
руками заключенных)*

Провисшие рельсы в овраге,  
Прогнившие шпалы, мосты,  
Прогнутые снегом бараки  
Полвека безлюдны, пусты.

Но тот же вопрос, что полвека  
Назад и — насколько вперед? —  
За что — человек человека? —  
За правду, коль правда не врет!..

От глаз целомудренно пряча  
Набор рукотворных «чудес»,  
Природа без смуты и плача  
Взрастила чахоточный лес

И солнце повесила в небе,  
Как точку над долгой зимой.  
Молясь о душе и о хлебе,  
Я еду, я еду домой.

Я ведаю лишь понаслышке,  
Как эту дорогу вели.  
Вдали накрененная *вышка* —  
Как слон на картине Дали...

### Сонет

*(на трассе Надым – Салехард)*

Тает зимник. Тощие березки  
На ухабах прыгая, бегут,  
Оставляя синие полосы  
На апрельском плавленном снегу.

У погоды здесь характер хлесткий:  
То аврал, а то опять загул.  
Это – Север. Вид его неброский  
Позабывать я вряд ли уж смогу.

Это – Русь. Пускай не коренная,  
Но и здесь, любя и проклиная,  
Не поймешь, печален или рад,

Держит путь от Бога и до Бога  
(Затянулась чертова дорога!)  
Скандинавский греко-азиат.

### Под звездами

Однажды я шел по России  
И, где-то на самом краю,  
Как будто меня попросили, –  
Вдруг голову поднял свою.

Все было, как водится, в силе:  
Мерцающий звездный зенит...  
Но мне показалось: Россия  
Под звездами эхом звенит.

Я звуков не слышал красивой  
Пронзительной той тишины...  
Я стал размышлять о России,  
Я *видел* просторы страны!

И, в общем, меня не просили  
Выдумывать эти слова,  
Но я вдруг представил: Россия! –  
И кругом пошла голова...

*Красноярский край – Московская область*



## БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ

### ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

**Х**отя переход через пустыню в зимнее время не так страшен и утомителен, как летом, солдаты вновь страдали от усталости и отсутствия достаточного количества воды. Воду перевозили в бурдюках, размещенных на спинах верблюдов. Вскоре она стала горячей, грязной и имела неприятный запах.

Солдаты проклинали правительство и ученых, которых считали ответственными за экспедицию.

Дни не были жаркими, но ночи были очень холодными. Вдобавок ко всему пошли дожди. Легко одетые и кутавшиеся в плащи солдаты мерзли по ночам и не могли найти убежища от непогоды.

В июле они пересекали египетские пустыни, будучи одетыми в форму из толстого сукна. Теперь им шили одежду из льняных тканей, но она снова оказалась неподходящей для погодных условий.

Лошади поедали пальмовые листья, и кавалеристы опасались, что может начаться падеж животных.

За финансы экспедиции отвечал генеральный контролер Посселгуэ. Налоги собирались плохо, и он вынужден был провести сборы в счет будущих урожаев.

Посселгуэ и генеральный казначей Эстев создали «Коммерческую компанию», которая продавала и выставляла на аукцион конфискованную собственность и богатства мамелюков. Это позволило пополнить казну, но лишь на некоторое время. Недостаток денежных средств ощущался постоянно. Отправляясь в сирийскую экспедицию, Бонапарт имел в виду и такой источник финансирования армии, как богатства Джебзар-паши.

Когда Наполеон миновал Катюю, он был встревожен тем, что Эль-Ариш до сих пор не взят. Крепость была защищена многочисленным гарнизоном турок и мамелюков, а Джебзар-паша дополнительно

выслал из Акра более тысячи опытных воинов из состава албанской и марокканской пехоты.

Бойцы, оборонявшие Эль-Ариш, заняли позиции внутри крепости и в деревне. Ренье прибыл в Эль-Ариш, атаковал деревню, но был отброшен с потерями. Вскоре к нему присоединился Клебер.

Узнав о трудностях осады, Бонапарт сел верхом на верблюда, провел ночь в пути и прибыл в Эль-Ариш на рассвете 15 февраля.

В ту же ночь Ренье вновь атаковал вражеский лагерь, застав противника врасплох. Его солдаты убили 400 азиатов и африканцев, взяли в плен 900 человек, но и французы понесли новые потери.

Это происходило за пределами крепостных стен, в то время как форт продолжал обороняться. Французы, не имевшие провизии, начали поедать верблюдов, лошадей и ослов. Офицеры просыпались утром и обнаруживали, что их лошадей больше нет — они съедены голодными солдатами.

Внутри крепости, стоявшей на берегу Средиземного моря, было все необходимое. Один греческий купец доставлял по морю продовольствие из Дамьетты, проданное коррумпированными чиновниками французской армии.

Шел месяц Рамадан, и мусульмане не имели права употреблять пищу с рассвета до заката. Зато ночью турки и мамелюки пировали, а французы чувствовали запахи еды и завидовали врагам.

Терпение Бонапарта лопнуло, и он послал парламентаря с предложением сдаться. Турки начали переговоры, но соглашение достигнуто не было. Тогда Наполеон приказал расставить артиллерию на позиции вокруг форта и начать бомбардировку.

Крепость была столь мала, что несколько ядер, посланных артиллеристами, перелетели через сте-



Генерал Жан-Луи-Эбенезер Ренье.  
С портрета Герена

ны и упали с ее обратной стороны, убив и ранив несколько французов.

У Наполеона была только легкая артиллерия, поскольку тяжелые орудия находились в Дамьетте и их требовалось доставить в район Сен-Жанд'Акра — крепости с мощными стенами, которые Джеззар-паша значительно укрепил за время своего долгого правления.

Французы израсходовали немало артиллерийских снарядов, прежде чем проделали небольшую брешь в одной из башен. Их саперы подбирались к стенам под покровом темноты, чтобы произвести взрывы и увеличить зазор. Скоро башня подверглась новым разрушениям, а ее высота уменьшилась наполовину. Турки дружно трудились, заделывая дыры, и стреляли из башенных проемов, не боясь французских снарядов.

На следующий день Бонапарт послал нового парламентаря и напомнил туркам и мамелюкам жестокое правило войны: если стены крепости разрушены, то осажденным лучше сдаться, или они рискуют быть истребленными до последнего человека.

Наконец гарнизон капитулировал. Пленных мамелюков лишили их сокровищ, разоружили и отправили в Египет. С другими взятыми в плен воинами поступили иначе. Их заставили произнести клятву на Коране, что они не поднимут оружия против французов в течение года.

Пленники поклялись на Коране, и Бонапарт приказал эскортировать их в пустыню, а затем отправить в сторону Багдада. Этот приказ не был выпол-

нен, поскольку солдаты дивизии Бона распределили их среди всех частей французской армии. Пленники стали слугами французов и бежали при всяком удобном случае.

Уже на ранней стадии экспедиции Бонапарт понимал, что малочисленность его армии не позволяет сопровождать пленных на большое расстояние, а недостаток продовольствия не дает возможности их кормить.

Внутри крепости Эль-Ариш французы нашли величайший беспорядок, сотни трупов и множество раненых. Но самым ужасным и шокирующим было то, что одно из помещений было заполнено людьми, умиравшими от чумы.

Вспышки бубонной чумы были и в Египте. Главный врач Деженетт и главный хирург Ларрей создали карантинные станции в портах Средиземного моря и в Каире. Обо всех случаях вспышек заразных болезней среди египетского населения необходимо было немедленно докладывать высшему медицинскому начальству армии под страхом сурового наказания при недонесении.

Хотя французы принимали необходимые меры, в конце 1798 года вспыхнули заболевания в Александрии и Дамьетте. Чума исходила от зараженных крыс и распространялась блохами. Вскоре ряд французов подхватили болезнь.

Тогда Наполеон приказал Мармону: «Выведя батальон 85-го полка из города и расположив его на берегу в Марабуте, вы сможете доставлять им провизию по морю... Что же касается несчастной полубригады легкой пехоты, заставьте их раздеться догола, хорошо искупаться в море, так, чтобы они могли потерять себя сами с головы до ступней, и заставьте их полностью постирать военную форму. И следите за ними, чтобы они сохраняли себя в чистоте. У них не должно быть больше ни парадов, ни часовых за пределами лагеря. Заставьте их выкопать большой ров, заполните его негашеной известью, куда они смогут бросать мертвых».

Рядовой Милле, находившийся в Дамьетте, заболел бубонной чумой. «Это заболевание начинается с жара и лихорадки и сопровождается сильной головной болью, — говорит он. — Появляются бубоны или железки размером с яйцо в районе паха или другого сочленения на одной из конечностей».

Как правило, пациент умирал. Но если прошло четыре дня, а он все еще был жив, то появлялась надежда на выздоровление. Врачи решили, что Милле безнадежен, и он слышал их разговор. Когда доктора ушли, солдат сделал надрез бубона собственным ножом и выжил.

К началу февраля двести французов умерли от чумы, но слово «чума» не употреблялось в приказах



по армии. Говорилось лишь о «заразном заболевании», о лихорадке, сопровождаемой бубонами.

Бонапарт издал приказ, в котором объявил, что медики, отказывающиеся лечить больных «заразным заболеванием», должны быть арестованы, отданы под суд военного трибунала, и с ними нужно поступать так же, как с теми, кто побежал перед лицом врага.

Другой приказ, от 8 января, гласил: «Гражданин Бойе, хирург, прикрепленный к госпиталю в Александрии, был так труслив, что отказался лечить раненых, бывших в контакте с людьми, больными предположительно заразной болезнью. Он недостойн быть французским гражданином. Он будет одет в женскую одежду и провезен по улицам Александрии на осле с повешенным на шею плакатом: “Недостойн быть французским гражданином, он боится умереть”. После этого он будет помещен в тюрьму и отправлен во Францию на первом же судне». Впрочем, было доказано, что Бойе невиновен в преступном пренебрежении своим долгом.

Когда французы, вошедшие в Эль-Ариш, увидели больных чумой, они, представив себе возможное будущее, стремились быстро покинуть это место. Это соответствовало намерениям Наполеона, который считал, что армия продвигается очень медленно.

Оставив небольшой гарнизон в Эль-Арише, Бонапарт повел дивизии по берегу моря.

Клебер, бывший в авангарде, использовал местного проводника, который потерял дорогу. Дивизия остановилась в пустынном месте.

— Негодяй! — заорал Клебер. — Ты нарочно привел нас сюда!

Проводник пытался оправдаться, но командир дивизии был непреклонен:

— Расстрелять!

Другие три дивизии маршировали к северу и вышли на равнину Газы.

Двадцать шестого февраля Наполеон докладывал Директории: «Здесь был ужасный ветер, и три дня волны высотой с горы бились о берег. Мы промокли до нитки и идем по колено в грязи. Здесь так же холодно, как в Париже в это время года».

Но все же гораздо лучше, чем в Синайской пустыне: «Окрестности красивее, чем мы ожидали: цитрусовые деревья, оливковые рощи и неровная местность, все почти точно так же, как в Лангедоке».

Портной Франсуа Бернуайе писал письма домой и отмечал: «Я был без сомнения так же счастлив, как израильтяне, достигшие Земли обетованной».

Когда авангард французов достиг Газы, Бернуайе увидел «большой отряд кавалерии, который производил демонстрации, как будто пытаясь напасть на нас, и генерал Мюрат получил приказ атаковать».

Испугавшись столкновения, враги быстро ускакали и сдали Газу французам.

Бонапарт и Клебер встретились и нашли в Газе огромное количество амуниции и артиллерийских снарядов, которые можно было использовать.

Спустя несколько дней Наполеон достиг Рамлы, расположенной в восьми милях от береговой линии. Арабское население спешно покидало свои дома, а христиане встречали французов как освободителей.

Африканские верблюды начали страдать от холеры и сырости, и многие солдаты чувствовали себя плохо. Бонапарт приказал доктору Деженетту организовать госпиталь в греческом православном монастыре, где можно было лечить заболевших воинов, число которых достигло семисот. Это были раненые, заболевшие от погодных условий, и солдаты, пораженные чумой.

Третьего марта Бонапарт достиг Яффы, стоявшей на холме у моря, и начал осаду города. В течение трех дней артиллеристы пытались разрушить стены крепости с помощью легких орудий, но безуспешно.

Бонапарт испытывал огромное нетерпение. Любая задержка повергала его в уныние, поскольку он считал, что нужно как можно скорее достичь Сен-Жан-д'Акра, где засел Джемал-паша. Скверная погода, болезни, стойкость врага, проявлявшего гораздо больше упорства, чем мамелюки в Битве у пирамид, тревожили его.

Гарнизон Яффы мужественно оборонялся. Французские саперы пытались подобраться к стенам города под покровом апельсиновых деревьев, растущих у этих стен, и заложить мины. Они подвергались постоянному обстрелу из крепости, к тому же осажденные предприняли несколько вылазок, что привело к значительным потерям среди французов.

Когда брешь наконец была проделана, Бонапарт направил парламентаря с белым флагом, предложив осажденным тот же выбор, который ранее был у защитников Эль-Ариша: сдаться или погибнуть всем до последнего человека.

Вдруг французы увидели головы офицера и трубача, посланных для переговоров, поднятые на вражеские пики, которые были выставлены на двух самых больших башнях.

В семь часов вечера начался яростный артиллерийский обстрел, и часть кладки башни была разрушена. Французы приготовились к атаке.

Наполеон стоял на насыпи батареи, показывая жестом командиру полка полковнику Лежену маневр, который тому предстояло выполнить, и тут пуля сбила с него шляпу и поразила насмерть стоявшего сзади полковника.

Бонапарт, уверенный в том, что пули его не возьмут, продолжал руководить подготовкой к штурму.

Несколько солдат дивизии Бона пробрались во круг стены, удалившись от центра событий и рассчитывая ударить по врагу с другой стороны. Они нашли дыру в стене около моря, через которую проникли вовнутрь крепости, но агрессивно настроенные горожане напали на них и перерезали горло храбрецам.

Оставшиеся в живых вернулись в расположение дивизии с криками о том, что надо отомстить за погибших товарищей. Это произошло как раз перед тем, как Бонапарт скомандовал общий штурм.

Жажда мести достигла предела. Варварская расправа над парламентарями, гибель нескольких солдат дивизии Бона и алкоголь предельно возбудили людей. Солдаты, ринувшиеся на штурм, убивали всех, кто встречался на их пути.

«Это была ужасная резня, — говорит Пьер Милле, — мужчины, женщины и дети гибли под штыками. Бойня не прекратилась, даже когда барабанщик подал сигнал сбора».

Французы резали христиан, турок, всех, кто попадал под их горячую руку. Осажденные, осознав полное поражение, пытались сдаться, но французы продолжали убивать всех подряд до глубокой ночи, пока их силы не иссякли. Примерно две тысячи турецких солдат было уничтожено, но несколько тысяч заперлись в цитадели.

Утром Бонапарт направил двух юных адъютантов, Богарне и Круазье, для переговоров. Молодые люди вошли в город и торжественно проследовали сквозь толпы пьяных солдат, которые продолжали палить по окнам цитадели.

Солдаты видели яркие цветные шарфы, перекинутые через плечи адъютантов, — знаки того, что молодые офицеры уполномочены главнокомандующим и выполняют его приказы. Бойцы притихли и насторожились.

Бей, командовавший турецкими воинами, признал полномочия Богарне и Круазье и начал переговоры. Он согласился сдаться при условии, что его самого и его людей не постигнет участь ранее убитых солдат и французы сохранят пленникам жизнь.

Круазье взял инициативу в свои руки и согласился на предложение. Турки начали молча складывать оружие и выходить из цитадели. Протрезвевшие французы сопровождали их под охраной до штаб-квартиры главнокомандующего.

Богарне и Круазье привели две группы пленников: в одной было две тысячи пятьсот солдат, в другой — тысяча пятьсот.

Наполеон сидел на пушке рядом с брешью в крепостном валу и разговаривал с Ланном. Рядом находился Бурьенн. Вдруг Бонапарт увидел толпы безоружных солдат, которые медленно приближались к нему. Его лицо побледнело.

— И что мне делать с ними? — закричал он. — Разве у меня есть провизия, чтобы кормить их? Или корабли, чтобы доставить их в Египет или Францию? Какого дьявола могу я делать с ними со всеми?

В сильном волнении он начал ходить взад-вперед. Затем он устроил строгий допрос юным адъютантам.

— Не вы ли действительно требовали от нас предотвратить резню? — вопрошал потрясенный Евгений.

— Да, вне всякого сомнения, но в том, что касается женщин, детей, стариков и вообще мирных жителей, а не солдат с оружием в руках.

«Что я наделал, — думал Наполеон, — зачем я послал этих мальчишек, а не Бона, например? Что делать теперь? Я предложил гарнизону сдаться. Если бы они капитулировали, то не было бы резни. Но что бы я имел в этом случае? Те же толпы пленных сидели бы передо мной».

Он вглядывался в хмурые лица янычар и вдруг увидел трех албанских солдат, которые показались ему знакомыми.

«Конечно, я видел их в Эль-Арише! Они нарушили клятву! И сколько может быть таких клятвопреступников, которые давали торжественные обещания на Коране, но затем презрели их и вновь встали под знамена моих врагов? Сто, двести, тысяча? Да сколько бы ни было, они все заслуживают казни. Они отказались сдаться, зарезали парламентариев — этого достаточно, чтобы убить их по закону войны!»

Но что-то в этой логике не так. Да, им была обещана жизнь. Но обещана кем? Юнцами! Разве я давал Круазье право обещать помилование головорезам? Разве армия может существовать или погибать в зависимости от слов адъютантов?

Если оставить их в живых, что из этого следует? Отправить их в Египет? Для этого нужна тысяча солдат. И пленных нужно чем-то кормить. Мы и так имеем скудные пайки, и что же, уменьшать их ради этих варваров? Но, самое главное, разве я могу сократить армию на тысячу человек, когда она и так уже уменьшилась более чем на тысячу: погибшие в боях, больные, раненые, гарнизоны в городах. С кем я останусь? Какими силами буду штурмовать Сен-Жан-д'Акр?

Есть один выход: повернуть назад. Вместе с этими пленными. Мы взяли несколько крепостей и вернулись. Это — крушение моих планов.

Что делать? Нет, я не могу принимать такие решения в одиночку».

— Дайте им сухарей и хлеба, — сказал Бонапарт генералу Бертье. — Пусть свяжут им руки веревками за спиной. И позовите дивизионных генералов.

Ланн, Бон, а также Бертье, Бурьенн, Каффарелли и Доммартен собрались в палатке главнокомандую-



щего. Клебер и Ренье находились в Рамле и не участвовали в совещаниях.

— Итак, — начал Бонапарт, — у нас четыре тысячи человек, с которыми мы должны что-то делать.

Воцарилось молчание.

— Да, генерал, — заговорил Ланн резким тоном, — мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать — или ты должен что-то делать? Одним словом, мы должны разделить с тобой ответственность за то, что завтра сделаем. Уверен, что все собравшиеся здесь уже подумали над этим вопросом, и вряд ли у кого-то есть достойный ответ. Потому что такого ответа попросту быть не может! Мы растревожили этот улей, мы принесли войну на эту территорию, мы обострили все противоречия. Мы видели, как христиане приветствуют нас, а мусульмане считают нас порождением Иблиса, или Дьявола. Так давайте теперь уйдем и оставим христиан на съедение Джеззару...

— Ланн, по-моему, вы уклоняетесь от темы, — спокойно возразил Бурьенн. — Мы не на заседании политического клуба. Давайте искать ответ на единственный вопрос — что делать с пленными.

— А я не уклоняюсь от темы, дорогой Бурьенн, — продолжал Ланн. — Я предлагаю посмотреть на предмет под разными углами зрения. Это ужасная война, но подобные ужасные события происходят вот уже десять лет, и я не вижу оснований устраняться от участия в них. Раз уж мы здесь, так будем последовательными. Мы знаем, что главнокомандующий предлагал мир Оттоманской Порте, предлагал мир Джеззар-паше и всем мамелюкам. Что мы получили в ответ? Вероломство, двуличие, зверства. Да, мы пришли сюда, но в этом не было бы нужды, если бы беи и османы согласились сотрудничать. Мы гуманно обошлись с гарнизоном Эль-Ариша, но здесь мы имеем иной случай.

— В чем же он иной, мой друг? — вступил в разговор Каффарелли. — По-моему, поступить нужно, как в Эль-Арише. Отпустить их, но не на все четыре стороны, а сделать так, чтобы они не могли присоединиться к Джеззар-паше.

— Интересно, как вы собираетесь этого достичь, добрый генерал дю Фальга? — спросил Доммартен. — Может быть, отправить их на Луну? Или проложить им особый коридор, по которому они пошли бы в нужном нам направлении? Например, дружно записались бы в землекопы и возводили укрепления в Розетте?

— Дорогой Каффарелли, — вступил Бонапарт, — вы не знаете всей правды о гарнизоне Эль-Ариша. Часть из этих людей была оставлена среди наших солдат, а некоторые из них нарушили клятву и вновь подняли оружие против нас. Как мы можем изменить этих негодяев? Я не вижу способа сделать это. Мы проявили добрую волю, но, как правильно за-



*Солдаты полка дромадеров. С литографии Ладерера*

метил генерал Ланн, получили в ответ вероломство. Думаю, что часть этих подлецов уже сидят за стенами Сен-Жан-д'Акра и ждут нас, посмеиваясь над французской глупостью.

— Самая большая глупость, — сказал Ланн, — это когда мы гибнем под пулями негодяев, с которыми играем в благородство. Мы их побеждаем, разоружаем, унижаем, затем отпускаем, снова вынуждая их братья за оружие, потому что ничего другого они делать не умеют, кроме как воевать, затем мы снова их побеждаем, и так далее.

— Скажу вам больше, — добавил Бон, — когда я шел на это совещание, я слышал голоса солдат моей дивизии, которые громко возмущались тем, что сами они живут впроголодь, а врагам в это время дают поесть. Да, мы взяли в плен целую армию! И что теперь — работать на ее пропитание? Я знаю моих солдат и чувствую, что мы стоим на пороге мятежа.

Все молчали, обдумывая сказанное генералом Боном.

— Нам нужно двигаться дальше, — сказал Бонапарт, — и мы не должны затягивать принятие решения.

— Какое тут может быть решение? — рассуждал Бурьенн. — Во-первых, держать их под арестом. Но для этого нужно отвлечь наших солдат. Если охрана будет слабой, то любой вражеский отряд сможет освободить их. К тому же пленников надо кормить, что также является проблемой. Во-вторых, их можно куда-то переместить. Куда? Я не нахожу ни одного приемлемого решения.



Генерал Жан Ланн.  
Гравюра Крюэля с картины Герена

Дискуссия продолжалась еще некоторое время и закончилась безрезультатно.

Когда генералы разошлись по своим дивизиям, они увидели, что весь французский лагерь находится в состоянии брожения. Более всего возмущались солдаты Бона.

— Турки не знают, что такое война по правилам! — кричал один солдат. — Резать головы — их любимое занятие! А теперь вон как смиренно сидят. Никакое приглашение с ними невозможно!

Военный совет собирался еще два раза в том же составе. Генералы заседали несколько часов, и тягостная необходимость коллективного убийства солдат неприятеля, доверивших французам свои жизни, становилась все более очевидной для всех участников совещания.

— Генерал, нам надо было взять с собой гильотину, — мрачно произнес Ланн, обращаясь к Бонапарту. — Она стала бы важным инструментом реализации плана кампании.

— Итак, граждане генералы, — сказал Бонапарт, — ставлю на голосование вопрос о необходимости расстрела солдат неприятеля. Начнем с тебя, Ланн.

— Бонапарт, ты знаешь ответ. Да, — сказал ровесник главнокомандующего.

— Ты, Бон? — спросил Наполеон, посмотрев в глаза генералу.

— Я за расстрел, — сухо сказал Бон.

— Доммартен?

— Расстрелять, — коротко ответил артиллерист.

— Каффарелли, что скажете вы?

— Но это же люди, люди! — воскликнул Каффарелли. — Это просто чудовищно, что мы вынуждены это делать. Но я согласен с командирами, мы оказались в очень тяжелом положении. Мы поступим так, как велит нам воинский долг. Если их снова отпустить, то они направятся прямо к Джебзару и усилят его армию.

Когда генералы покидали шатер Бонапарта, их лица были бледными и искаженными.

Бертье чувствовал особую ответственность за происшедшее — ведь это он, начальник штаба, согласился с кандидатурами адъютантов-парламентеров и помогал молодым людям подготовиться к разговору. Он сделал последнюю попытку переубедить Бонапарта:

— Генерал, какую логику ни применяй, но это антигуманно!

— Если ты реагируешь подобным образом, никогда не занимайся политикой. Иди в монастырь, — бросил Бонапарт со злобой, показывая пальцем на стоявший поблизости монастырь капуцинов, — и если ты хочешь моего совета, никогда не выходи оттуда!

По приказу Наполеона египтян, марокканцев и турок выделили в группы. Магрибинцев, марокканцев, албанцев, дамаскинцев, анатолийцев, уроженцев Судана приговорили к смертной казни через расстрел.

На следующий день марокканцев вывели на берег Средиземного моря, и два батальона солдат начали их расстреливать. Пленные пытались спастись вплавь, но солдатам было легко в них целиться, и море стало красным от крови. В воде плавали тела убитых. Несколько человек доплыли до скал, и французы устремились к ним на лодках, чтобы добить несчастных.

После того как казнь марокканцев закончилась, пятьсот или восемьсот египтян отправили на родину, в Каир. Сочувствующие пленникам люди начали думать, что ужасы прекратились. Но это было не так: тысячу двести турецких артиллеристов, которых держали на протяжении двух дней перед палаткой главнокомандующего без еды, повели на бойню. Солдатам дали приказ экономить патроны, и они начали колоть пленных штыками.

Остальных отвели на пляж, расположенный в полутора километрах к югу от города, и также начали убивать. Командиры вновь приказали беречь порохов, солдаты сформировали каре, расположив пленников посередине, и добились своих жертв штыками.

Бойня продолжалась 8, 9 и 10 марта. Вскоре мертвые тела начали разлагаться, отравляя воздух, что угрожало жизням солдат.



— Бонапарт, — сказал Бурьенн дрожащим голо- сом, — когда казнили турецких артиллеристов, их дети обнимали своих отцов, и солдаты убивали и отцов, и детей.

«Мы убивали детей, — подумал Бонапарт. — Мы устроили здесь настоящий ад, и я отвечаю за это. Что ж, тогда и я сойду в ад».

Доктор Деженетт знал, что в Яффе была вспышка чумы среди осажденных. Пленники отрицали это, но Деженетт установил, что турецкие дневальные ночью перебрасывали тела через стены крепости. Было очевидно, что французы во время штурма города не могли не заразиться чумой, вступая в многочисленные контакты с солдатами и жителями города.

Главный врач выпустил приказ, обязывавший солдат немедленно сдать в целях уничтожения все захваченные в ходе осады вещи — одежду и ценные изделия. Подозреваемых в заболевании поместили в отдельные палаты, а тела умерших сжигали в ямах.

Бонапарт и доктор Деженетт понимали, что это чума, но продолжали поддерживать миф о «заразной болезни». Деженетт показывал пример медикам и сам лечил больных. В интересах медицинской науки он пошел еще дальше: «В один из дней, находясь в середине чумной палаты, я поместил мой ланцет в гной бубона выздоравливавшего пациента... и сделал им легкие надрезы в моем пахе и возле подмышек, не принимая никаких других мер предосторожности, кроме как мытье водой и мылом».

Это не привело к заболеванию, поскольку послужило прививкой. Бонапарт считал, что самое важное в борьбе с болезнью — состояние духа человека. Болезнь более всего опасна для тех, кто ее боится.

Такой взгляд подтверждался примерами из жизни. Бонапарт назначил генерал-адъютанта Грезю начальником чумного госпиталя, расположенного в монастыре. Грезю настолько боялся чумы, что заперся в квартире коменданта, находившейся в доме, примыкавшем к монастырю. Он выпускал приказы, передавая их через дыру в стене. Несмотря на эти меры предосторожности, он умер в течение двадцати четырех часов, прошедших с момента его назначения начальником госпиталя.

Болезнь распространялась, и выживал только один из двенадцати человек, заболевших ею. Некоторые генералы и высокопоставленные офицеры заперлись в домах Яффы и общались с внешним миром через дыры и люки, другие воздвигли часты рядом со своими жилищами и соглашались принимать лишь записки, предварительно погружаемые в уксус в целях дезинфекции.

В условиях паники, охватившей солдат и офицеров дивизий Ланна и Бона, Бонапарт 11 марта направился в чумной госпиталь. Этот госпиталь располагался в армянском монастыре, построенном в семнадцатом веке.

Наполеон вошел в палату госпиталя и стал спокойно наблюдать за тем, как работают медики. Он подошел к солдату-ветерану, который, увидев главнокомандующего, пытался приподнять голову, и заговорил с ним.

— Ты был в итальянской армии, ведь верно? — спросил Бонапарт.

— Да, я был в Италии и помню тебя с первого дня, когда ты пришел к нам совсем мальчишкой, — ответил солдат.

— Я хотел, чтобы в Египте со мной были мои лучшие солдаты. Ты ведь был при Лоди? — продолжал Бонапарт.

— Да, я был при Лоди и отлично помню, как все было, как мы пересекли этот мост. Я был тогда ранен в ногу. Но там было лучше, чем здесь. Когда мы вернемся во Францию? — с надеждой спросил солдат.

— Мы вернемся, может быть, скоро, но мы должны вначале закончить эту кампанию, — говорил Бонапарт негромким голосом. — В чем твоя болезнь?

— Меня охватила лихорадка, и вот я здесь.

— Эта чертова лихорадка... Терпи, мой друг, и думай о том, что вернешься в нашу прекрасную Францию, — произнес Бонапарт и взял солдата за руку. — Ты скоро поправишься. Я получаю донесения от генералов из Египта. Так вот, все заболевшие этой болезнью в Александрии и Дамьетте уже в строю.

Он не прощался с солдатом и держался так, будто пришел надолго. Бонапарт попросил Деженетта показать ему больных, переживавших кризис. Палаты были переполнены людьми, кровати стояли очень плотно. Бонапарт прошел по госпиталю, останавливаясь у каждой кровати и говоря со всеми, кто был способен его слышать.

— Что он делает? — прошептал Бертье, видя, как Бонапарт пожимает руку больному с ужасными бубонами.

— Если мы выживем, то нам уже ничего не страшно, — тихо сказал адъютант Лавалетт.

Наполеон заговорил с Деженеттом, спрашивая о том, как лечат больных.

— Санитары тоже заболевают, — сказал Деженетт.

Он не чувствовал никакой симпатии к Бонапарту и все больше удивлялся тому, что тот продолжает находиться в госпитале, хотя нужный эффект, казалось, уже произведен.

Наполеон перешел в помещение, являвшееся пристройкой к госпиталю и также переполненное людьми. Члены штаба шли вслед за ним. Было жар-



*Луи-Мари-Жозеф Максимилиан Каффарелли  
дю Фальга*

ко и душно. Бонапарт продолжал разговаривать с солдатами и всем говорил, что они поправятся.

Определив, что кровати стоят не совсем правильно, Бонапарт решил их передвинуть. Адьютанты помогали ему. Он посмотрел на измененную планировку коек и остался удовлетворенным результатами своего труда.

Его взгляд остановился на солдате, лежавшем без движения.

— Что с ним? — спросил Бонапарт доктора Деженетта.

— Похоже, он мертв. Его надо перенести, — ответил доктор.

Наполеон помог Деженетту поднять тело солдата. Молодой воин был в изорванной одежде, а его тело покрыто крупными бубонами.

— Приготовьте ему место, — сказал Деженетт санитару.

Когда генерал и доктор приподняли тело солдата, из бубона брызнул гной.

— Боже мой, — тихо сказал Бертье, наблюдая эту картину.

Наполеон и Деженетт перенесли солдата в отдельное помещение и вернулись в палату.

— Они обязательно поправятся, — сказал Бонапарт, и его голос звучал очень искренне.

Он провел в госпитале полтора часа и напоследок поблагодарил Деженетта. В тот день он не искал особых слов, а просто говорил с людьми на их языке.

Бонапарт был чувствителен к запахам, и в госпитале его мутило. Но он даже виду не подал, что испытывает тошноту.

Новость о посещении Бонапартом госпиталя мгновенно стала известна солдатам двух дивизий. Люди успокоились и начали готовиться к новому маршу.

Наполеон учредил местные диваны, в состав которых включил шейхов Эль-Ариша, Газы и Яффы. Все члены диванов были недовольны Джеззаром и поэтому охотно согласились сотрудничать.

Бонапарт обещал шейхам ударить по врагам подобно огню с небес. «Вы должны понять, — продолжал он, — что все человеческие усилия против меня бесполезны, поскольку все мои предприятия обречены на успех. Пример того, что произошло в Газе и Яффе, должен заставить вас понять, что если я ужасен в отношении моих врагов, то я добр к моим друзьям и, кроме всего, я милосерден и сострадателен к бедным людям».

Главкомандующий мог рассчитывать на лояльность и помощь местных христиан, друзов и евреев. На пост губернатора Палестины он назначил Мену.

Во время пребывания в Яффе Наполеон послал очередное письмо Джеззар-паше: «Провинции Газы, Рамлы и Яффы в моей власти. Я был великодушен к тем вашим солдатам, которые подчинились моей воле. Я был суров с теми, кто нарушил правила войны. Через несколько дней я пойду на Акр. Но есть ли причина, по которой я должен лишить старого человека, которого я не знаю, нескольких лет его жизни? Когда Бог дает мне победу, то я желаю, по его примеру, быть милосердным и сострадательным не только к людям, но и к их вождям... Станьте снова моим другом, будьте врагом мамелюков и англичан... Пошлите ответ с человеком, который наделен полной властью и знает о ваших намерениях».

Вскоре все четыре дивизии продолжили поход в северном направлении. Шли частые дожди.

Прибыв в Хайфу 17 марта, Бонапарт понял, что Джеззар эвакуировал порт и увел все свои войска за стены Сен-Жан-д'Акра.

Наполеон расположил штаб-квартиру на склонах горы Кармель, где с расстояния в десять миль был хорошо виден изгиб залива — место нахождения города-крепости Сен-Жан-д'Акр. Он был потрясен увиденным: на рейде Сен-Жан-д'Акра стояли два английских боевых корабля.

Они прибыли из Константинополя два дня назад. Сюда же должны были приплыть французские корабли, несшие на борту осадную артиллерию.



Пытаясь предотвратить захват артиллерии англичанами, Бонапарт немедленно направил в Дамьетту приказ не выходить в море. Если же флотилия уже в море, то нужно было добиться того, чтобы корабли пришвартовались в Яффе, а не в Акре.

Но было поздно — французская флотилия, состоявшая из девяти судов, уже обогнула гору Кармель. Капитан Станделе в тумане не заметил англичан и направил корабли к Акру.

«Что-то фатальное преследует мой флот, — думал Бонапарт. — И я здесь совершенно бессилён».

В состоянии крайней печали он наблюдал в подзорную трубу за медленными морскими маневрами. Наконец капитан Станделе заметил врага и поспешил ретироваться вместе с двумя кораблями эскорта.

Англичане захватили шесть тяжелых транспортных судов с орудиями, которые теперь могли быть использованы против французов.

Армия Наполеона заняла позиции под стенами Сен-Жан-д'Акра.

### Колесо Фортуны

Сидней Смит был сыном бедного морского капитана, дальнего родственника Питта, и женщины, лишенной наследства. Он родился в Вестминстере в 1764 году, учился в школе Тонбриджа и впервые взшел на борт морского судна в возрасте тринадцати лет.

Он рано узнал, что такое ураганы и войны с Францией и Америкой. В 1778 году он стал свидетелем операции против американского фрегата *Raleigh*.

Юноша с успехом воевал под началом адмирала Родни, проявил храбрость в сражении у мыса Сент-Винсент в 1780 году и был произведен в лейтенанты в шестнадцать лет — вместо положенных девятнадцати. Затем он принял участие в битвах при Чесапике и Саинтесе, ему доверили небольшое судно, а вскоре представили к командованию фрегатом.

В 1783 году был подписан Версальский мирный договор. Девятнадцатилетнему капитану пришлось вернуться на родину и довольствоваться половинным жалованьем.

Сидней Смит совершил продолжительную поездку по французским портам и подружился с морскими офицерами, с которыми недавно воевал. По собственной инициативе он стал агентом британского Адмиралтейства.

Герой не мог долго сидеть без дела, искал новых приключений и в 1790 году сражался вместе со шведами против русского флота. Шведский король Густав III назначил его главным советником по морским делам. Британское Адмиралтейство категори-

чески запретило Смиту занимать эту должность, однако он с благодарностью принял назначение.

Английский моряк проявил удивительную храбрость в бою. Он стоял под огнем и спас жизнь короля, который к тому же мог быть пленен. Густав III присвоил ему рыцарское звание.

Сидней Смит, «шведский рыцарь», как его теперь называли на родине, был отправлен с разведывательной миссией в Константинополь, где послом Британии служил его брат Чарльз Спенсер Смит. Бравый моряк был очень заметной фигурой и вскоре заслужил доверие и дружеское расположение Султана. Он поступил на службу в турецкий флот.

Когда разгорелась война между Англией и Францией, которая длилась почти непрерывно до 1815 года, Сидней Смит приобрел в Смирне небольшое судно, названное *Swallow* («Ласточка»), нанял английских моряков и прибыл в Тулон. В тот момент англичане, захватившие город, уже отступали под натиском революционных сил. Чем он мог помочь деморализованной армии? Смит вызвался сжечь французский флот.

Интересно проследить, что сообщает об этом Наполеон в своих воспоминаниях. В целом мемуары императора написаны строго и сдержанно. Автор называет себя «он», «главнокомандующий» и старается быть предельно объективным. Наполеон высоко оценивает и тех, кого недолюбливал, подчеркивая прежде всего их положительные качества. Мемуарист находит эти качества даже у врагов, но к Сиднею Смиту он явно пристрастен: «Этот офицер очень плохо исполнил свою обязанность...»

Но Смит разрушил тридцать три французских корабля! Этого было недостаточно — англичане потерпели полное поражение и покинули Тулон.

Итак, Бонапарт взял штурмом крепости, разгромил и рассеял несколько армий, но уперся в стены Сен-Жан-д'Акра. Этот форт защищал кроважадный Джебзар-паша.

Нет сомнений, что Бонапарт быстро преодолел бы и это препятствие. Однако Джебзар получил весомое подкрепление! Коммодор Сидней Смит и французский инженер Луи-Эдмон ле Пикар де Фелиппо пришли к нему на помощь.

Как эти двое связаны между собой? В 1796 году Сидней Смит предпринял серию диверсий против французского флота, но попал в плен, был обвинен в пиратстве и помещен в тюрьму Тампль. Ему угрожала гильотина. Спас его не кто иной, как Фелиппо, соученик Бонапарта по Парижской военной школе.

Революция сделала бывших одноклассников врагами. Бонапарт стал офицером и генералом республиканской армии, а Фелиппо покинул Фран-

цию и сражался под знаменами принца Конде во время роялистского мятежа в Вандее в 1793 году.

Позднее он был арестован, но умудрился ночью бежать — как раз перед назначенной казнью. Его товарищами по побегу были балетный танцовщик и отпрыск английского графа.

Все трое тайно вернулись в Париж, планируя освободить политических узников, в том числе трех англичан, томившихся в Тампле.

«...Фелиппо эмигрировал, — вспоминал Наполеон. — Вернувшись во Францию в период реакции во фрюктидоре 1797 года, он способствовал бегству сэра Сидней Смита из Тампля».

Как ему это удалось? Фелиппо соблазнил дочь надзирателя Тампля. Он привел друзей, которые представились жандармами. Пройдя через главные ворота тюрьмы, смельчаки предъявили поддельный приказ и освободили Сидней Смита.

Сразу после своего бегства Смит стал капитаном восьмидесятипушечного «Тигра», ранее захваченного у французов. На этом корабле плыл и Фелиппо.

Сидней Смит получил приказ соединиться с английским Средиземноморским флотом. Ему присвоили титул «уполномоченный министр», что давало ему право вступать в дипломатические отношения с Султаном от имени Британии.

С формальной точки зрения он мог рассматриваться турками как дезертир, самовольно покинувший флот в 1793 году, однако был тепло принят Султаном Селимом III. Это произошло в декабре 1798 года. Благодарность Султана вполне может быть объяснена влиянием Чарльза Спенсера Смита, брата Сидней Смита, который в это время согласовывал статьи договора о дружбе между Британией и Портой.

Селим III предоставил Сиднею Смиту широчайшие полномочия: английский моряк был назначен главнокомандующим всеми сухопутными войсками и морскими силами Османской империи, собранными для вытеснения французов из Леванта. Смит стал членом дивана — невиданная честь для иностранца.

Будучи человеком благородным и благодарным, Сидней Смит предложил, во-первых, назначить Фелиппо полковником турецкой армии, что было с готовностью сделано, а во-вторых, потребовал освобождения сорока французов, которых истязали на галерах. Последний жест — компенсация за джентльменское обращение с ним со стороны команданта Тампля.

Он называл себя «коммодор Смит», хотя никто не присваивал ему этого звания. Сидней Смит вышел на «Тигре» в Средиземное море и действовал независимо от Нельсона, сильно раздражая последнего. Их конфликт никогда не прекращался.

В марте 1799 года Сидней Смит, находясь в Александрии, принял командование над блокадной эскадрой. Только теперь он с полным правом мог именоваться коммодором.

Узнав о походе Наполеона в Святую Землю, Сидней Смит послал Фелиппо к Сен-Жан-д'Акру на «Тезее». Тот помогал Джеззару. Скоро туда прибыл и Смит на «Тигре» в сопровождении двух небольших судов.

Фелиппо использовал свое обаяние аристократа, чтобы преодолеть ненависть Джеззара к французам. Он успокоил пашу, который готов был покинуть крепость, и уверил его в том, что скоро придет мощное подкрепление в виде английской эскадры и турецкого флота. Джеззар, ранее напуганный сообщением о падении крепости Яффа, взялся за организацию обороны Сен-Жан-д'Акра. Фелиппо предложил ряд улучшений, которые существенно помогли делу.

Смит мог обстреливать французов из их же орудий. Он контролировал воды, окружавшие крепость. Если взять общую протяженность ее зубчатых стен и башен, то две трети граничили с морем и только треть — с сушей. Джеззар получал по морю продовольствие, боеприпасы, людские подкрепления, ресурсы Наполеона были ограничены.

Главная мечеть с куполом и минаретом, окруженный стенами дворец Джеззар-паши, лабиринт узких улочек с обветшалыми и низкими домами, заросли пальмовых деревьев — все это располагалось внутри крепости. Вдоль стен, когда-то возведенных рыцарями-крестоносцами, стояли двести пятьдесят пушек.

Сидней Смит доставил дополнительную артиллерию, много пороха, четыре тысячи ядер. Несколько сотен британских моряков и корабельные артиллеристы помогли осажденным. Не было недостатка в продовольствии: десять-пятнадцать тысяч жителей города, четыре тысячи защитников крепости, среди которых были турки, албанцы, курды, боснийцы, сирийцы и анатолийцы, получали всю необходимую провизию.

Моральный дух осажденных был очень высок. Они поклялись победить еретика Наполеона и армию неверных.

Бонапарт не смутился и приступил к осаде. Он знал, что Сен-Жан-д'Акр — последнее трудное препятствие на его пути в Константинополь и Индию. В двухстах пятидесяти милях к северу стоит Алеппо, но этот город не мог получить помощи с моря. Алеппо — не большее препятствие, чем Газа, Яффа или Эль-Ариш. Сен-Жан-д'Акр — препятствие, которое нельзя не преодолеть. Если просто пойти дальше, то линия коммуникаций француз-



Уильям Сидней Смит

ской армии с Египтом будет перерезана, а в тылу может высадиться любая вражеская армия.

Итак, необходимо решающее усилие! Но как его сделать? Штурм невозможен, осадной артиллерии не хватает, а у защитников форта достаточно пушек и боеприпасов. Значит, надо делать подкопы, взрывать стены, проделывать бреши и устремляться в проемы.

Французы начали копать. Под прикрытием темноты они рыли зигзагообразные траншеи, прячась за тюки соломы, во фруктовых садах и руинах древнего акведука. Траншеи приближались к крепостным стенам и должны были позволить подрывникам выполнить их миссию.

Эти усилия требовали минимум недели драгоценного времени. Видя, что дело продвигается очень медленно, высокорослый Клебер не сдержался и заявил Бонапарту во время очередной инспекции:

— Что за дьявольские траншеи они здесь копают, генерал? Может быть, для вас они и хороши, но пока достают не выше моего живота.

Бонапарту казалось, что все идет не так уж плохо. Армия получала продовольствие из окрестных селений друзов, вожди которых к тому же обещали ему пятнадцать тысяч человек для нового похода — как только крепость падет. Французы покупали у друзов хлеб, вино, фиги, виноград, сливочное масло.

Наполеон расставил легкую артиллерию, ранее сокрушившую стены Яффы и Эль-Ариша, и не сомневался в успехе. Если усилия артиллеристов и саперов не дадут нужного эффекта, он доставит из Александрии тяжелые пушки.

Пока полномасштабные военные действия не начались, Бонапарт обратился к Смику с предложением об обмене пленными. Он знал, что несколько французов было захвачено при попытках прорвать блокаду Александрии и других северных портов. С другой стороны, 21 марта французы пленили английских моряков, которых Сидней Смит послал для освобождения малых кораблей, ранее захваченных в гавани Хайфы.

Коммодор согласился на обмен, но информировал Бонапарта о том, что вынужден удержать жестоко избитого офицера по имени Делассаль, которого он встретил в темнице. Смит сказал Наполеону, что ему удалось уговорить Джемзара отпустить Делассалья на «Тигр» для лечения, и добавил конфиденциально: «Было бы лучше не жаловаться Джемзару на жестокое обращение с ним, так как это просто напомнит ему о деле и вызовет желание нового рукоприкладства при том антагонизме, который испытывают Джемзар и турки по отношению к французам. Месье Делассаль является моим гостем и останется им до тех пор, пока не будет подходящей okazji для того, чтобы отправить его во Францию».

Наполеон великодушно ответил: «Командующий, не сомневайтесь в том, что я желаю вести с вами дело в цивилизованной манере, отсюда мое горячее желание использовать возможность быть полезным людям вашей нации, которые имели несчастье пострадать от случайностей войны».

В качестве посредника в переговорах с Сиднеем Смитом выступил Лаллеман, офицер редких качеств. При общении с врагами он проявлял необходимый такт.

Генерал Каффарелли, руководивший инженерами, разработал план осады и предложил взломать крепость в восточной ее части как наиболее уязвимой.

— У нас есть полевые орудия и мортиры, и этого вполне достаточно, чтобы сокрушить еще одну крепость, — говорил Каффарелли. — Предлагаю пробить брешь в большой башне как наиболее удаленной от моря, как самой большой и высокой, господствующей над всей крепостной оградой и всем городом. К тому же она расположена очень близко к акведуку, который может послужить плацдармом. Со взятием этой башни крепость падет сама собой. Наша задача состоит не в том, чтобы взять Сен-Жан-д'Акр, а в том, чтобы взять город, не потеряв при этом армии. Если пойти на риск боев с турками на улицах и в домах, то мы потеряем слишком много людей!

Перед рассветом 28 марта артиллерия французов начала массированный обстрел Сен-Жан-д'Акра. Ответом был огонь крепостных орудий и корабель-



*Бонапарт, главнокомандующий армией в Египте. Андре Дютертр*

ных пушек — с английских и турецких судов, стоявших на якоре.

В течение двух часов французы проделали брешь в крепостной стене, но это им дорого обошлось: сорок артиллеристов погибли, многие из них получили ранения. Лишь три пушки продолжали стрельбу.

Тем не менее результат был видимым и осязаемым — повреждена башня, по которой нападавшие вели целенаправленный огонь. Проем стал еще шире после того, как саперы взорвали мину.

Сержант Франсуа находился на передней линии. Наполеон и его штаб от начала до конца были там же, оценивая, когда лучше начать атаку.

Капитан Майи получил приказ ее возглавить. Он должен был направиться к башне вместе с рабочими, саперами и гренадерами для устройства ложемента.

Окопы постепенно заполнялись солдатами, настроенными крайне решительно. Бойцы, которые вели поддерживающий огонь, уступали место тем, кто должен победить или умереть. Траншеи были переполнены, люди наэлектризованы. Бонапарт колебался, не давая приказа. Наконец офицеры сказали ему, что более не могут сдерживать подчиненных.

Вперед! Франсуа описывает, что произошло дальше: солдаты «устремилась к проему, гренадеры были во главе; но к их величайшему удивлению они были остановлены рвом с крутой насыпью... Гренадеры не могли позволить себе быть побежденными

этим непредвиденным препятствием. С помощью лестниц, данных нам друзьями, они спустились в ров перед проемом и приготовились взбираться на башню, несмотря на ужасный огонь, который враг обрушивал на них из проема и с высоты крепостного вала. Капитан Майи Шатореньо из генерального штаба вскарабкался первым, но был сбит шквалом огня. Если бы части поддержки, которые теперь были отделены от гренадер фатальным рвом с крутой насыпью, присоединились к ним, то гренадеры смогли бы взобраться на башню. Тем не менее они продолжали атаковать; их беспощадная храбрость вызвала такой ужас у турок, что мы видели их прыгающими из проема в ров и покидающими башню, но паша [Джеззар] впихнул большее число людей в проем, нанеся некоторым из них физические увечья, обращаясь с ними как с трусами и уверяя их в том, что французы спасаются бегством. Он угрожал [турецким солдатам] мстостью и пару раз выстрелил в них из пистолета».

Части поддержки столкнулись с тем же препятствием, что и гренадеры. Без лестниц невозможно было ни спуститься в ров, ни взобраться по крутой насыпи. Попав под сильный огонь, они отступили и укрылись в траншеях.

«В это время гренадеры, все еще находившиеся внизу башни, продолжали попытки преодолеть расстояние в десять или двенадцать футов, которое отделяло их от проема. Теперь весь огонь турок был направлен на них. Большинство солдат падало вниз с высоты их лестниц... Осажденные обрушили дождь из камней, гранат, горящих кусков просмоленного дерева и кипящего масла. Гренадеры отступили и нашли убежище в траншеях, оставив позади себя множество своих товарищей. Турки хлынули в ров и отрезали головы павшим солдатам, мертвым и раненым».

Джеззар обещал щедрое вознаграждение за каждую предьявленную ему голову неверного. В тот же вечер головы французов, в том числе голова капитана Майи, были насажены на пики и выставлены на обозрение вдоль крепостных стен.

— Майи, мы отомстим за тебя, — сказал Бонапарт, глядя на ужасное зрелище.

Несмотря на неудачу, он считал, что действия артиллерии и саперов позволят ему быстро овладеть крепостью. Франсуа пишет: «Продолжили делать подкопы. Солдаты прилагают невероятные усилия, хотя находятся под вражеским огнем; они полны желанием отомстить за то, что произошло. Осажденные выкрикивают зловещие угрозы на турецком, арабском, английском и даже французском языках».

Джеззар дал приказ на расправу с городскими жителями христианского вероисповедания и заду-



шил всех французских узников его тюрьмы. Жертвы были сброшены со стен крепости в море.

Лавалетт говорит, что «солдаты в окопах дивизии генерала Виалья увидели множество выброшенных на морской берег тел, которые были засунуты в пустые ящики из-под риса и кофе».

В одном из этих ящиков французы обнаружили тело офицера, посланного Бонапартом для переговоров с Джеззар-пашой несколькими месяцами ранее.

— Он мне заплатит за эту жуткую резню, — сказал Бонапарт членам штаба, которых становилось все меньше. — Сидней Смит ответит за то, что не остановил Джеззара.

Смит предупредил французского главнокомандующего о неконтролируемом поведении паши, но это не могло помочь делу. Только взятие города положило бы конец зверствам Джеззара.

Первого апреля были доставлены по суше две тяжелые пушки, захваченные французами в Хайфе, — тридцатидвухфунтовая и двадцатичетырехфунтовая. Однако они не могли быть немедленно использованы, поскольку не было ядер нужных размеров.

Видя эти затруднения, защитники крепости начали издеваться над французскими артиллеристами, пронзительно выкрикивая:

— Султан Селим бум, бум, бум. Бонапарт пинг, пинг, пинг.

Тем самым они подчеркивали, что устраивают настоящую канонаду, в то время как огонь французских орудий — не более чем комариные укусы.

Бонапарт немедленно извлек пользу из того, что осажденные обстреливают его позиции дни напролет и траншеи наполняются ядрами всех размеров. Четвертого апреля он издал приказ: «Солдаты, которые сегодня и завтра найдут на поле боя пушечные ядра и принесут их в штаб-квартиру, получат соответствующую оплату: тридцатишестифунтовые и тридцатитрехфунтовые ядра — двадцать су за каждое, двенадцатифунтовые — пятнадцать су за каждое, восьмифунтовые — десять су за каждое».

Вознаграждение было отменным: солдат, нашедший большое ядро, получал плату, сопоставимую с половиной дневного жалованья молодого ученого, участника экспедиции, и мог купить достаточно провизии и вина. Солдаты, многие из которых уже не верили, что крепость будет взята, нашли в собирании ядер полезное упражнение.

Наполеон ищет поводы для критики действий Сиднея Смита при защите Сен-Жан-д'Акра: «Английская эскадра под предлогом необходимости укрыться от бурь и ветров равноденствия ушла в море и исчезла уже 26 марта; на самом деле сэ

Сидней Смит не хотел присутствовать при взятии города, которое он считал неизбежным. Но, узнав, что штурм не удался, он вернулся в ночь с 5-го на 6-е на рейд. Он высадил эмигрантского полковника Фелиппо, Дагласа и сотню офицеров и канониров — своих наиболее отважных и опытных моряков. Он использовал артиллерию, захваченную у французов, — наши двадцатичетырехфунтовые и шестнадцатифунтовые пушки, наши прекрасные шестидюймовые мортиры защищали теперь город, для обстрела и покорения которого они предназначались».

Увы, беда не приходит одна — чума вновь дала о себе знать. Доктор Деженетт продолжал принимать энергичные меры против болезни. Среди солдат всех дивизий были распространены следующие инструкции: «Армия информирована о том, что очень полезно для здоровья часто мыть ноги, руки и лицо свежей водой, даже лучше мыть их теплой водой, в которую добавлять несколько капель уксуса или алкогольного спирта». Заболевшим рекомендовалось «срочно пить напиток, состоящий из кофе и хинина, одобренный свежим лимоном или лимонным соком». Доктор вновь заявил, что «это заболевание не заразно».

Деженетт делал все, чтобы предотвратить панику среди солдат. Десятого апреля он открыл чумной госпиталь, расположенный на склонах горы Кармель. Поначалу в нем было сто пятьдесят пациентов. Впоследствии число заболевших в среднем составляло один-два человека на сотню в неделю. Бонапарт и Деженетт начали беспокоиться. Главнокомандующий и ранее, и теперь предпочитал «занять умы военными операциями, нежели оставить их размышлять над яффскими болезнями и симптомами, которые обнаруживались каждый день».

Осада шла своим чередом. Поскольку запасы ядер исправно пополнялись, артиллерия французов продолжала свою разрушительную работу. Осажденные предпринимали вылазки, неся потери.

Желание Бонапарта «занять умы военными операциями» вновь исполнилось, когда французской армии пришлось иметь дело с войском паши Дамаска и мамелюками Ибрагим-бея.

На помощь осажденному гарнизону Сен-Жан-д'Акра шла сорокатысячная армия. Положение французов стало отчаянным.

Из тринадцати тысяч солдат сирийской армии тысяча человек были убиты, тысяча — больны чумой и другими болезнями, две тысячи составляли гарнизоны Эль-Ариша, Газы и Яффы, пять тысяч бойцов осаждали Сен-Жан-д'Акр. У Наполеона оставалось четыре тысячи солдат, которые должны были дать бой сорокатысячной армии. Главноко-

ман্দующий вынужден был забрать людей из-под стен Сен-Жан-д'Акра и сам пошел навстречу свежим силам противника.

Неувядаемой славой покрыл себя Жюно, отбросив три тысячи кавалеристов во главе отряда в четырехста человек. Мюрат с подвижной колонной всех родов войск численностью тысяча человек овладел лагерем сына паши Дамаска и взял много пленных, обоз, артиллерию и верблюдов.

Впервые со времени начала египетской экспедиции генерал Клебер получил возможность проявить свои выдающиеся способности. Он присутствовал при начале осады Сен-Жан-д'Акра, но затем отправился выполнять новый приказ главнокомандующего. Когда 15 апреля 1799 года он достиг Назарета, то получил данные разведки о том, что главные силы армии паши Дамаска расположились у подножия горы Табор. Сообщив Бонапарту о своих намерениях, Клебер совершил быстрый марш вокруг горы.

Дивизия маневрировала под покровом ночи, и Клебер собирался нанести неожиданный удар в тыл противника. К сожалению, генерал недооценил расстояние, которое должна была преодолеть дивизия, и трудности рельефа. В результате он достиг равнины у подножия горы лишь в шесть часов утра, когда солнце ярко светило. Эффект неожиданности был потерян.

Клебер построил свою малочисленную дивизию в два каре и перешел к обороне. Он столкнулся со всей армией паши Дамаска, усиленной мамелюками Ибрагим-бея, кавалерией Джебзар-паши и набуллусцами. Враг имел двадцать пять тысяч кавалеристов и десять тысяч человек пехоты.

В течение десяти часов французы отбивали натиск противника. Клебер понимал, что надо продержаться до заката. Однако вскоре стало ясно, что это невозможно. Клебер стал обдумывать план прорыва с тем, чтобы найти убежище в Назарете.

Рядовой Милле вспоминал: «Мы были на ногах с шести утра, амуниция для наших ружей и желудков заканчивалась. Нам дали совсем мало хлеба... но у нас не было времени поесть, да если бы оно и было, то пользы никакой, поскольку мы были настолько истощены жаждой и усталостью, что не могли даже говорить... Вблизи находилось озеро, но солдаты нашей дивизии не могли его достичь, чтобы освежиться... казалось, гибель неминуема».

Между тем враг приготовился к атаке. Только чудо могло спасти Клебера и его людей, и оно случилось. Имя этому чуду — Наполеон. Он пришел на выручку, но его солдаты не были видны бойцам Клебера, поскольку пересекали склон, покрытый дикими злаками высотой в человеческий рост.

Бонапарт приказал выстрелить из пушек. Вражеская армия остановилась, но мамелюки Ибрагим-бея и набуллусцы поспешили разведать, что это за новые войска.

Все решали секунды, и Наполеон предпринял блистательную акцию, которая психологически уничтожила турок. Бросив три малых пехотных каре между вражескими силами и их лагерем, он одновременно направил триста человек прямо к палаткам и складам провианта противника. Французы начали жечь тенты, захватывать раненых, провизию и уводить верблюдов. Турки почувствовали себя отрезанными. Будучи неспособными оценить численность врага, которая была слишком малой, они поддались панике и бросились бежать — вначале сотнями, а затем тысячами!

Клеберу не нужен был особый сигнал — он понял, что надо атаковать, теперь не ради спасения, а ради победы.

Рядовой Милле описывает, как все быстро изменилось: «Вспомните, ведь мы умирали от жажды. Да, но наша жажда мщения уничтожила желание выпить обыкновенной воды и вместо этого воспламенила жажду крови... Мы шли по пояс в воде того озера, которую перед этим мы страстно желали испить. Но теперь мы даже не думали о том, чтобы пить, но только о том, чтобы убивать и окрасить озеро кровью варваров. Незадолго до этого они жаждали отрезать наши головы и утопить наши тела в том самом озере, в котором они теперь тонули и которое было наполнено их телами».

Армия Дамаска бежала без оглядки — кавалерия устремилась в горы, лежащие к югу, а пехота бросилась к реке Иордан, уровень вод которой поднялся из-за дождей; ее берега представляли собой болото. Несколько тысяч человек утонуло. Потери французов Наполеон определил так: «Клебер потерял двести пятьдесят — триста человек убитыми и ранеными. Потери колонны главнокомандующего составили три-четыре человека».

После победы Бонапарт обдумывал возможность движения на Дамаск, но «разумно ли поручить Клеберу с тремя тысячами человек овладение большой столицей с населением в сто тысяч жителей, наиболее злобных на всем Востоке? Не следует ли опасаться, что, убедившись в малой численности французов, они окружат их со всех сторон?».

Спустившись с горы, Наполеон повел полки в Назарет. Члены монашеской коммуны, известные как Отцы Святой земли, предложили ему расположить штаб-квартиру в монастыре. Там же можно было разместить раненых и умиравших солдат.

Следующим вечером под звуки органа монахи торжественно исполнили *Te Deum* в честь францу-



зов и их победы. Рядом с Наполеоном стояли его старшие офицеры, большинство из которых были закоренелыми безбожниками.

Монахи-францисканцы (испанцы и итальянцы) показали им грот благовещения, где святой деве Марии явился ангел Гавриил и сообщил, что она должна родить Иисуса Христа.

Испанский приор подвел гостей к знаменитой колонне черного мрамора, расположенной за алтарем.

— Именно здесь, — торжественно произнес он, — ангел Гавриил явился святой деве Марии, чтобы рассказать ей о ее славном и святом предназначении. Он задел колонну своей пятой и разбил ее.

Офицеры прыснули со смеха. Бонапарт бросил на них самый суровый взгляд, и весельчаки умолкли.

Сам он «потерял веру в тринадцать лет», но всегда уважительно относился к религии, понимая ее роль в том, чтобы держать людей в повиновении.

На следующий день Бонапарт предпринял акцию, которую он давно задумал. Перед отбытием в египетскую экспедицию он обещал Директории выпустить прокламацию к еврейской нации. Он подготовил проект текста прокламации в Каире, где провел консультации с раввинами.

В тот день, 20 апреля, он находился в Рамле, в двадцати пяти милях от Иерусалима. Однако он решил обозначить место, в котором он обнаружил прокламацию, как Иерусалим.

Бонапарт обратился к Жану-Мишелю Вантюру де Пароди, который сопровождал его в экспедиции:

— Гражданин Вантюр, у меня есть для вас дело чрезвычайной важности. Выполняя свою миссию на Востоке, мы обращались и будем обращаться к христианам, друзьям, арабам и их лидерам. Сегодня настал час обратиться к еврейскому народу и предложить ему достойное Израилево. Находясь вблизи священного города Иерусалима, мы обязаны сделать это. Я дам вам текст, гражданин Вантюр, вы его прочитаете и предложите, если сочтете нужным, свои правки. Затем вы переведете текст на иврит.

Вантюр, который был нездоров, тем не менее взялся за труд, и через несколько часов прокламация была готова. Превосходное качество текста, безусловно, указывает на то, что над ним работал специалист.

«Законные наследники Палестины! Великая нация, не торгующая людьми и странами подобно тем, кто продал ваших предков всем народам, не призывает вас отвоевать ваше достояние. Нет, она предлагает вам просто взять то, что она уже отвоевала, с ее помощью и с ее разрешения оставаться хозяевами этой земли и хранить ее наперекор всем врагам».

Отношения с евреями ограничились красивой прокламацией, выпущенной Бонапартом. Он тайно



*Сэр Сидней Смит при осаде Акра.  
Гравюра Кука с картины Экстейна*

встретился в Газе с губернатором Иерусалима, который прибыл к нему вместе с делегацией христиан. Члены делегации посоветовали генералу не входить в Иерусалим до того, как он победит Джеззар-пашу.

Хорош был совет или плох, но у Бонапарта просто не было сил для наступления на Иерусалим. Он вернулся под стены Сен-Жан-д'Акра и продолжил осаду крепости. Клебер был оставлен в некотором отдалении.

В лагерь у Сен-Жан-д'Акра прибыл сирийский купец Бутрос Бокти. Этот человек родился в Египте и получил образование во Франции. Его сопровождал Винанд Мурво, посланный Директорией в Египет.

Бутрос Бокти был направлен Жозефом и Люсьеном, братьями Наполеона. Он привез письмо Жозефа, в котором тот просил Наполеона вернуться во Францию.

Мысли генерала Бонапарта начали менять направление.

*Продолжение следует.*

Геннадий КРАСНИКОВ



*Геннадий Красников — известный русский поэт — родился в 1951 году в городе Новотроицке Оренбургской области. Окончил факультет журналистики Московского университета. Около двадцати лет был редактором альманаха «Поэзия» (вместе с известным русским поэтом Николаем Старшиновым). Первая публикация стихов появилась в 1976 году в газете «Литературная Россия», затем в 1979 году — в «Литературной газете». В 1981 году вышла первая книга стихов «Птичьи светофоры». Автор поэтических книг «Пока вы любите...» (1985), «Крик» (1988), «Не убий!..» (1990), «Кто с любовью придет...» (2005). Книга верлибров «Голые глаза» вышла в Канаде (2002). В 2002 году выпустил книгу статей и эссе «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба».*

*Стихи Г. Красникова публиковались в престижных русских и зарубежных антологиях. Статьи и эссе по вопросам литературы, культурософии, истории постоянно печатаются в центральных журналах и газетах.*

*Доцент Литературного института имени А. М. Горького.*

## В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО РАЯ

(АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ)

Сейчас, после недавнего 100-летия Арсения Александровича Тарковского (25 июня 1907 года — 27 мая 1989 года), когда после его смерти прошло более 20 лет, со всею очевидностью приходит осознание неоспоримого присутствия этой значительной личности в сложной, изломанной истории русской поэзии на протяжении почти всего двадцатого века. Причем присутствие это можно было бы назвать странным, в каком-то смысле даже мистическим, незримым, если учесть, что первая книга стихов Тарковского вышла только в 1962 году, когда поэту было уже далеко за пятьдесят, и она неслучайно называлась «Перед снегом». (Оно и понятно: вёсны и радости молодости оставались позади...)

Кстати, по горькой иронии судьбы (увы, столь изобретательной по части выстраивания странных жизненных сюжетов) в той книге было весьма необычное для Тарковского стихотворение «Белый день», похожее не то на изящную японскую миниатюру, не то на какой-то сценарий, калейдоскоп картинок, сменяющихся в волшебном фонаре:

Камень лежит у жасмина.  
Под этим камнем клад.  
Отец стоит на дорожке.  
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,  
Центифолия, а за ней —  
Вьющиеся розы,  
Молочная трава.

Никогда я не был  
Счастливей, чем тогда.  
Никогда я не был  
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно  
И рассказать нельзя,  
Как был переполнен блаженством  
Этот райский сад.

«Волшебный фонарь» будет гениально перелистан через много лет в знаменитом фильме «Зеркало», первоначальное название которого должно

было быть «Белый день», исходя из ключевого образа поиска «потерянного рая», ставшего трагическим лейтмотивом всего творчества Андрея Тарковского, сына поэта. А в год поэтического дебюта отца сын фильмом «Иваново детство» фактически тоже впервые заявил о себе.

...Арсений Александрович Тарковский не воспользовался великим открытием Николая Глазкова — самиздатом, он не рассылал и не раздавал налево и направо собственные неопубликованные стихи. Как поэта его знал небольшой круг людей, а с годами, начав заниматься поэтическими переводами, он все чаще и громче (и не без основания) проходил по ведомству мастеров художественного перевода, становясь в один ряд с классиками этого жанра. Но тем не менее в литературной среде (а от нее шли круги и дальше) несомненность именно поэтической данности Тарковского в нашей литературе, можно сказать, мифологизировалась. С одной стороны, он как бы был причастен той эпохе, где — хоть и в младенчестве — на поэтических вечерах слушал знаменитых представителей Серебряного века — Федора Сологуба, Константина Бальмонта, Игоря Северянина; с другой — на нем лежит тень крыла самого Осипа Мандельштама, недолгое знакомство с которым освящало какую-то скрытую, сокровенную драму судьбы Тарковского. Была и яркая, шумная полоса юношеской лихорадки совместной работы с Ю. Олешей, М. Булгаковым, В. Катаевым, И. Ильфом и Е. Петровым в газете «Гудок». Но главным, конечно же, было — неназываемое, внутренняя работа души, по-детски неосторожное и завораживающее обращение с огнем, имя которому — Поэзия. Раз обжегшись этим огнем, человек уже не может остановиться и всю жизнь ищет для себя все нового и нового повторения этой прекрасной боли. Вспомним хотя бы умирающего Державина, дрожащей рукой пишущего на аспидной доске последние свои великие строки:

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

А. Тарковский долго, слишком долго (и не по своей воле) находился как бы во внутреннем затворе. Но при всей неестественности и оскорбительности для творческого человека столь вынужденной подспудности существования, как это ни покажется кошун-

ственным, была в такой опале и своя выстрадавшая радость, своя гигиена души, своя неразменная и неистраченная сосредоточенность на главном, истинном. Позже Тарковский напишет в воспоминаниях, как еще в молодости выбрал для себя осмысленную дорогу: «Года с 1928-го несколько молодых поэтов, не заботясь о печатании своих стихов, подняли почти никем не замеченное знамя. На нем было написано: “Поэтическая правда...” Наша поэзия не должна быть нарочита, сказали мы. В этой естественности мы и увидели правду. “Что такое реализм?” — спросили мы и тут не могли согласиться друг с другом. Тогда мы выдвинули общую гипотезу: это система творчества, где художник правдив наедине с собой». Так, это «наедине с собой» и стало для поэта на всю жизнь крестом одиночества. Но зато уж правдивость его творчества не имела примесей, рядом с нею давно померкли многие авторитеты и подделки, выдававшиеся когда-то за подлинные. И просто потрясает чутье и вкус Марины Цветаевой, которая, прочитав книгу туркменского классика Кемине в переводах А. Тарковского и не имея представления о собственных стихах переводчика, с поразительной пронизательностью письменно обратилась к нему: «Ваш перевод — прелесть. Что Вы можете сами? Потому что за другого Вы можете — все. Найдите (полюбите), слова у Вас будут...» А он уже нашел, полюбил. Значит, стоило ждать, стоило оставаться «наедине с собой», чтобы *так* мощно, жадно, точно — быть услышанным. А когда Цветаева радостно откроет, что Тарковский и «за себя может — все», то будет в ее последней земной дружеской привязанности к нему, накануне рокового отъезда на Каму с погибельной Елабугой, какая-то тяжелая бабья тоска. Тарковский даже не сможет скрыть в своих воспоминаниях, что его пугала, смущала (коробила?) грубая сила этой цветаевской тоски, голосом которой на самом деле кричала кровоточащая душа смертельно затравленной женщины. И только потом, позже (поздно!) узнает А. Тарковский, что в елабужских архивах Цветаевой ее последние стихи, последний дружеский привет будут обращены к нему, ответом на эти его строки:

Стол накрыт на шестерых —  
Розы да хрусталь...  
А среди гостей моих —  
Горе да печаль...

Тем горше читать ее послания в никуда, практически ни к кому, зная всю бесприютность и беспросветность тех лет и дней Цветаевой, что она всего лишь желала стать седьмым гостем за столом у собрата-поэта...

Есть у Тарковского несколько стихотворений памяти Цветаевой, но все кажется, будто поэты о чем-то не договорили, и главное, что оба видели неизбежность катастрофы, а потому и за гробом осталось ощущение какого-то распутия у старого камня, где сходятся (или расходятся) законы жизни и законы искусства, поэзии. Выживший всегда считает, что предал поэзию:

Как я боюсь тебя забыть  
И променять в одно мгновенье  
Прямую фосфорную нить  
На удвоенье, утроенье  
Рифм —  
и в твоём стихотворенье  
Тебя опять похоронить.

Иное с А. Ахматовой. Вот где было настоящее родство, счастливая досказанность, договоренность и до конца жизни не отпускавшая духовная, душевная, корневая связь:

Домой, домой, домой,  
Под сосны в Комарове...  
О, смертный ангел мой  
С венками в изголовье,  
В косынке кружевной,  
С крылами наготове!..

Это из стихов на смерть Ахматовой. Такой нежности, такой близости, конечно же, нет с Цветаевой. Здесь другой сюжет, и никакого распутия, жизнь и поэзия сходились, не рвались с гибельным треском.

Ахматова сразу поняла и приняла Тарковского с его стихами, с его судьбой, с его драгоценным опытом одинокого труженика. Только после ее смерти любители поэзии могли прочитать рецензию на первую книгу поэта. Ахматова писала: «Сборник стихов Арсения Тарковского “Перед снегом” — неожиданный и драгоценный подарок современному читателю. Эти долго ожидавшие своего появления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каждую минуту, делаются неизвестными, облеченными в тайну и рожают неожиданный отзвук в сердце.

Я тот, кто жил во времена мои,  
Но не был мной. Я младший из семьи  
Людей и птиц, я пел со всеми вместе  
И не покинул торжества живых...



А. Тарковский. Фото А. Н. Кривомазова, 1981

Как вечно и в то же время современно это звучит! Он уже ожил на “пиршестве живых” и рассказал нам много о себе и о нас.

Этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго. Огромные пласты работы чувствуются в стихах книги “Перед снегом”. Чувствуется, что поэт прошел через ряд более или менее сильных воздействий предшественников и современников (сейчас они скорее угадываются). Тем, у кого нет этой книги, я советую как-нибудь достать ее, чтобы судить о ней самым строгим судом. Эта книга ничего не боится».

Теперь, по прошествии стольких лет и даже десятилетий, можно смело сказать: эта поэзия действительно «ничего не боится». И хотя поэту порой пытались предъявлять претензии в «невмешательстве» в идеологические, политические, эстетические схватки, в том, что он-де «стоял в стороне», не противопоставлял себя «системе», именно это «неучастие» и являлось его оружием, его позицией. Будь иначе, он со своими как бы нейтральными, замкнутыми на культуре, на классической традиции стиха-

ми, пожалуй, вполне мог бы вписаться в литературный процесс и даже выпустить не одну книгу...

Есть у А.Тарковского одно из ранних стихотворений «Прохожий» с такими строками:

...Из дома девушка выходит,  
Подходит и глядит во тьму,  
В лицо ему фонарь наводит,  
Не хочет отворить ему.

— Что, — скажет, — бродишь, колобродишь,  
Зачем еще приходишь к нам,  
Откуда, — скажет, — к нам приходишь  
Стучаться по ночам?

По интонации, по времени, по совпадению эпох, судеб, предчувствий это еще очень близко к А. Блоку, но уже без блоковского ожидания несбыточного:

Май высокий с белыми ночами,  
Вечный стук в ворота: выходи!

Здесь уже трещина прошла через сердце человека, через эпоху, уже наметился излом, уже возникло двоение, троение колеблющегося во тьме образа: это может быть и заблудившийся в ночи путник, и любимый, и под покровом тьмы скрывающийся тать, и тот, кто уводит по безлюдным улицам на допросы, и что всего страшнее (и это уже новое явление!), это может быть в одном лице и тот, и другой, и третий. Когда-то Дмитрий Мережковский вытащил на свет формулу этой двоящейся, троящейся, разорванной, разрывающейся России и человека в ней.

Тарковский в ранних своих стихах поэтическим нервом — нечаянно ли, осознанно ли — уловил этот страшный исторический сдвиг, и вся его поэзия в дальнейшем будет упорным, по-своему героическим движением от «двоения», «троения» — к цельности, к себе, к собственной единичности и самоценности, к тому, что Пушкин называл «самостоянием человека». На этом пути будет всё — и личные, семейные драмы, и война, и тяжелое ранение, и долгая, бесконечная, как всякая несправедливость, безвестность, и саморастрачивание на переводческой ниве, дающей, однако, честный хлеб, без которого опасность «двоения» всегда слишком близка и соблазнительна. В стране, где быть собой уже считалось по меньшей мере подозрительным, внутренний суверенитет А. Тарковского, его чувство собственного достоинства отнюдь не нейтральны и не безобидны. Недаром в разгромной рецензии на готовящуюся к выходу в 1946 году первую книгу поэта заявлялось, что Тарковский принадлежит к тому же «Черному Пантеону», что и Ахматова, Мандельштам, Гуми-

лев и Ходасевич. Понятно, что после такой «черной метки» ни о каком издании книги не могло быть и речи...

И еще один вызов был брошен поэтом. Вызов эстетический. Путь А. Тарковского — путь различающих в шуме и гаме интонацию, самую выразительную сущностную характеристику человека. Если глаза — зеркало души, то интонация — тончайшая мелодическая эхограмма души. У Тарковского интонация в стихах, особенно поздних, становится главным лейтмотивом произведения, музыкальным подтекстом, сокровенным смыслом. Бюффон, говоривший, что «стиль — это человек», согласился бы и с тем, что «интонация — это внутренний человек». В интонации проговаривается то, чего еще не знает слово, мысль, но что знает душа. Когда поэт говорит: «Если правду сказать, я по крови — домашний сверчок», или когда у него прорывается горькое признание: «Я свеча, я сгорел на пиру. Соберите мой воск поутру», или когда он произносит классическое, евангельское: «Живите в доме — и не рухнет дом», или повествует о времени: «Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке...» — мы слышим не только и даже не столько слово, смысл, мы понимаем нечто невыразимое, словно бы происходившее с нами в другой жизни, в другой реальности...

К лучшим стихам поэта можно отнести его стихи о детстве. Неслучайно он признается в своем прозаическом «Пунктире», что у него было счастливое детство, в смысле — окруженности любовью, родительской нежностью. Эта любовь полной мерой бьется, живет в стихах о том, что позднее безвозвратно смелó, смыло, разворотило вдрызг войнами, революциями, идеологиями, трагедиями и катастрофами двадцатого века. В детстве, в том «потерянном рае», была единственная идеология: Любовь. Больше ей не повториться. Ее место заняли ненависть и целесообразность. Собственно, из тех дней в творчестве всего последующего Тарковского с его детской верой в справедливость словно бы разлита стихия «антицелесообразности». Недаром он так любит повторяющийся у него образ души в виде бабочки. В госпитале, где он умирал от ран, эта бабочка казалась настолько нереальной, красивой и хрупкой, будто залетела она из сказок Китая.

А детские стихи Тарковского (стихи о детстве) — блеснут порою в его книгах старомодной простотой, как незамысловатая картинка из дореволюционного журнала «Чтец-декламатор», и в ней обаяние необыкновенное, и запах, ворвавшийся запах из нечаянно-радостно приоткрывшейся двери в домашнее тепло наших бабушек и дедушек:

В желтой траве отплясали кузнечики,  
 Мальчику на зиму кутают плечики,  
 Рамы вставляют, летает снежок,  
 Дунула вьюга в почтовый рожок,  
 А за воротами шаркают пыльщики,  
 И ножи-ножницы точат точильщики,  
 Сани скрипят, и снуют бубенцы,  
 И по железу стучат кузнецы.

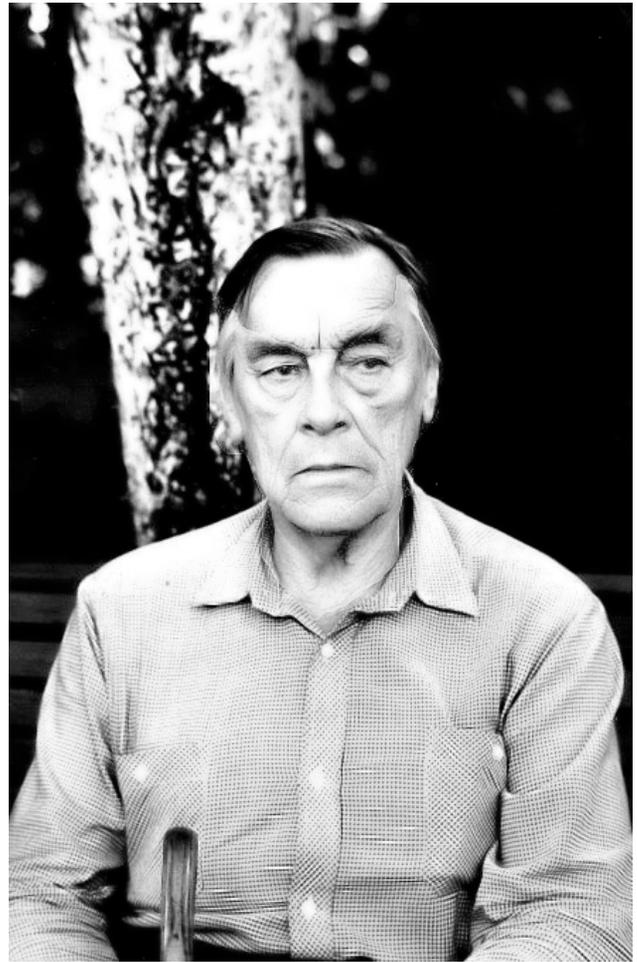
Эти «счастливые» строки многое объясняют в трагических стихах Арсения Тарковского о войне, в горьких зрелых и поздних стихах. У него была изначально чистая и благодатная, как «белый день» (Божий день!), точка отсчета, и все потери и приобретения соизмерялись с нею. Вообще в большом и необыкновенно ярком многообразии фронтовой поэзии почему-то, к сожалению, незамеченными (недооцененными!) остались стихи о войне фронтовика Арсения Тарковского. На самом же деле они были, есть и останутся исключительным явлением в отечественной поэзии. И может быть, в первую очередь потому, что в них недавняя история имеет свою особую глубинную перспективу, в которой цена бесчеловечности и разрушений судеб, стран и народов измеряется не сиюминутной мерой и обидой, или мстью, или политической конъюнктурой, но мерой всего прошлого и всего предстоящего будущего человечества:

Кто может умереть — умрет,  
 Кто выживет — бессмертен будет,  
 Пойдет греметь из рода в род,  
 Его и правнук не осудит.

На предпоследнюю войну  
 Бок о бок с новыми друзьями  
 Пойдем в чужую сторону.  
 Да будет память близких с нами!..

...Несколько раз довелось присутствовать мне в Переделкине при чтении Арсением Тарковским своих стихов. Непременно вокруг него клубилась похожая узнаваемо-однообразная аудитория — вечные окололитературные юноши и неизменно восторженные дамы. Как на гипнотическом сеансе, закатывали глаза при упоминании имен Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой. Успехом пользовались наиболее литературные, филологически холодноватые стихи. Живые, исповедально обнаженные строки — трогали меньше, а от стихов «Я ветвь меньшая от ствола России» или «Русь моя, Россия, дом, земля и мать!» глаза иных поклонниц и поклонников слегка примораживало...

Тарковский был красив и внешне чем-то напоминал знаменитого Лукино Висконти. Казалось,



А. Тарковский. Фото А. Н. Кривомазова, 1983

читал он каким-то далеким, вневременным голосом, какой бывает на старых граммофонных пластинках («Поостеречься бы, да поздно: / Я тоже под иглой пою / И все подряд раздам позвездно, / Что в кожу врезано мою»). Так звучит Шаляпин или Собинов, так пробивается сквозь шум времени, как сквозь плеск и шум океана, голос Блока, Есенина... И гордая осанка, аристократизм в каждом жесте. Именно аристократизм, вот — внутренняя дистанция его стихов, вот — добровольное одиночество, ставшее сутью. Похоже, что он далек от этой толпы. Давно далек. Так сложилась жизнь. И от того — сокрытие от посторонних глаз: боли, несчастий и неудач, того самого, чего так боялся интеллигентнейший Чехов: упасть и умереть при посторонних. Но все равно — жизнь прошла «при посторонних», судьба дала дар, обращенный к «посторонним», когда и само будущее — неизвестное «постороннее». А близкие — Ахматова, Цветаева, Заболоцкий. Близкие — дети: Андрей, Марина. Близкие — кто прочтет как себя, как свое. Для того и сказано Слово.



Татьяна МИХАЙЛОВА



*Родилась в 1954 году, училась в Калининском госуниверситете (изучала немецкий язык и литературу) и на юридических курсах для журналистов (журфак МГУ). Работала в областной картинной галерее в Курске (научный сотрудник: выставки, командировки — например, за глиняной игрушкой с застреванием в зимнем ночном лесу под непременно и недалекое завывание голодной волчьей стаи — бр-р! До сих пор в жилах холодом отдается), в мединституте в Твери (преподавала латынь в качестве почасовика; было здорово: среди студентов немало иностранцев), в информационном отделе комитета по культуре Тверской области (снова научный сотрудник), но дольше всего переводчиком с немецкого и журналистом...*

*Люблю живопись, хорошую литературу, приличных людей и своего сына (в том числе потому, что он сын художника).*

*Я автор пяти книг, в т. ч. двух сборников стихотворений: «Жареный виноград» (в соавторстве с М. Орловым, г. Братск) и «Четвертая пятница» (Тверь, 2007). Серебряный призёр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль — 2009» (Германия).*

**Д**ля меня поэзия — это часть жизни поэта (в широком смысле этого слова), его труднейший (иногда мученический, если хотите) *добровольный* выбор, его нежелание (больше, чем неумение, хотя и неумение тоже!) пресмыкаться. То есть мандельштамовское (разве не всегда актуальное в наших границах?) «Мы живем, под собою не чуя страны...», с моей точки зрения, не могло быть не написанным даже при *полном* понимании последствий — как ближайших в виде доноса одного из членов *меньшего*, чем апостольский, круга, так и отдаленных — в виде отлучения от жизни, — и по каким иезуитским правилам игры! Или ахмадулинское «Пространство отчужденно и брезгливо взирает, словно Бунин на лестеца» — это ведь тоже нравственный катехизис: про

шестидесятников сейчас много пишут, как на волнах перестройки они на сто восемьдесят градусов сменили свои вчерашние принципы (было против церкви — стало против разрушения церкви, было за Ленина — стало против, и так далее: что написано пером...), но ни разу ничего подобного не было об Ахмадулиной — не потому, что чистая поэзия, а потому, что высшая правда, как я понимаю. Таких примеров тьма — мне даже неудобно как-то об этом рассуждать. То есть я думаю, что человек, продавший свой *дар* за подачки какой-нибудь идеологии, в истории поэзии, может быть, и останется (как монумены тиранов на улицах), но в *поэзии* — вряд ли.

Пока мы сами, естественно, не бандерлоги.

*Татьяна Михайлова*

### **Болдинская осень**

Тепло в провинциальных городах.  
Сентябрь. Двадцать восьмое. Бабье лето.  
Нет, осень — смущена, полураздета,  
И капли рос на старых проводах.

И шорох — нам его за шум дождя  
Легко принять сонливым ранним утром:  
В тумане с его тусклым перламутром  
Прощально шепчут листья, уходя.

В провинциальных городах живут  
Художники — наивные, не очень:  
Под кистью их унылый вид обочин  
Значительней, чем все живое тут.

Здесь пиво пьют, как вся Россия пьет,  
И кормят голубей, ругаясь матом...  
В райцентре, парадоксами богатом,  
Екатерина Болдина живет.

\* \* \*

Его глаза давно уже не светят  
Ни матери, ни другу, ни жене.  
Притихшие у ног играют дети.  
Ребяческие тени на стене —

Воздушные шары — легки и тощи.  
Насквозь пронзает гостя детский взгляд.  
Последний анекдот про тещу теще  
Он рассказал пятнадцать лет назад.

Он шел по жизни, раздвигая ветер  
Широкой грудью, как корабль — волну.  
Чечня, засада, медсанбат и... вечер.  
А дальше — только песни. Про войну.

Россия, скольким же мужчинам надо  
В горах твоих (твоих еще?) догореть,  
Чтоб ангелами вырванным из ада  
Певцам, которым жизнь теперь не рада,  
О смерти так самозабвенно петь!

\* \* \*

*Памяти А. Кобенкова*

Родительской любви  
Глухие отголоски,  
Мы храмы на крови  
Все чаще создаем.



Наш раззолочен быт,  
А подвиги неброски.  
Кто ложью знаменит,  
Тому хвалу поем.

Считаем лишь счета  
Да на светильках пятна:  
Душевная пьета,  
Увы, не по зубам.

Все чаще нас пьянит  
Огонь неблагоприятный,  
А благодатный — миг  
Все кратче дарит нам.

Вершители греха,  
Мы умножаем горе,  
Замусорив зенит  
Заемным языком.

Нам стройностью стиха  
Не обезводить море.  
А колокол звонит:  
По-ком, по-ком... По ком?

\* \* \*

Забыты выживания уроки  
За суетой поездок, лиц и дат.  
Пляж в Слободском. Проворные сороки  
Берут в кольцо, как легион солдат.

Одиннадцатилетняя девчонка  
Их разгоняет с храбростью пажа  
На Вятке загоревшею ручонкой,  
Блокнот мой и мобильник сторожа.

Доверчивы непуганые дети,  
Что — с мамами послушны и тихи —  
Чужого спросят обо всем на свете:  
«А почему вы пишете стихи?»

А тетя свое тело опустила  
Под неба остывающую синь.  
Ночей и строф языческая сила,  
Как рассказать о ней ребенку? Кинь

Монету или взгляд в любую реку —  
Их примет уж другой поток воды.  
Нет, строящему башню человеку  
Страсть на страницах оставлять следы

Не объяснить: строительные темы  
Для них важней, и горсть песка легка...  
Пусть будут легче наших их проблемы  
И выше и светлее — облака.

\* \* \*

Вобрать в себя подлунный волчий вой,  
Озноб вдовства и материнства слезы,  
Тиранов бронзовых с надменной головой  
(У их сапог не смеют вянуть розы).

Узнать душою, кожей: жизнь — всерьез,  
До полусмерти (профи!) полосует.  
Омыться благородством мудрых рос,  
Все меньше «истин» поминая все.

От суетных телодвижений света  
Попробовать бежать — в забой, в запой...  
И встать перед глазастою толпой  
И, как ожог, принять клеймо поэта.

*г. Тверь*

Дмитрий БОБЫШЕВ



Продолжение.  
Начало в № 7–12 за 2009 г.,  
№ 1–12 за 2010 г., № 1–6, 7–8, 9 за 2011 г.



## УВИЖУ САМ

ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

### На побывку к матери

Необычная история нашего «Бестиария» заставляет меня забежать вперед, чтобы передать ее сюжет в последовательности, — перепрыг во времени в этом тексте случался и раньше. Попробую потом наверстать упущенные эпизоды, вернувшись из будущего. А тогда, поверив с известной долей риска, что происходящая в Советском Союзе перестройка — не ловушка для доверчивых эмигрантов и не провокация для выявления диссидентов, я прибыл в ленинградский аэропорт Пулково-2 как раз к вечеру 31 декабря, в канун нового 1989 года.

В силу вращения Земли и ускоренной смены часовых поясов получилось так, что летел я целые сутки, включая два часа на пересадку в Хельсинки, во время которой я накупил в беспошлинной лавке *duty free* подарков, закусок и напитков к праздничному столу, не забыв присовокупить к тому еще и букет для мамы. Пара коктейлей в буфете легли на вышитое за бессонную ночь в «Боинге», и при подлете к родным пределам я уже был хорош. К счастью, какая-то шведская жёнка, летевшая, подобно мне, к своим ленинградским родителям, пособила заполнить декларацию, и вот я уже ступаю по родной земле. Нет, мне еще предстоит пересечь «священный рубеж». Молодая волчица в зеленой форме с погончиками сначала сурово изучает мой паспорт с американским орлом, а за-

тем — о удивлень! — приветливо улыбается, но впереди я вижу, как опытный таможенник в черном мундире аж потирает руки от предстоящего удовольствия:

— Ну, предъявляйте, что вы везете!

И — запускает их в мой немудрящий багаж, перебирая калькуляторы, косметички и прочую мелочь, включая запечатанные в пластик закуски.

— Что это?

— Подарки... Сегодня ж Новый год!

— Такие калькуляторы с солнечными батарейками знаете сколько стоят на черном рынке? Понятия не имеете? А я знаю. Придется уплатить вам таможенный сбор.

— Да это ж — дрянь, дешевка... Я их выбрасываю! Где тут урна?

— Ну ладно, ладно... Если не на продажу — можете пронести! А приемничек *Sony* все-таки впишите в декларацию. Вот здесь... И на обратном пути предъявите!

А я-то хотел оставить его брату... Вот Костя меня и встречает со школьным другом Казанджи. Ну, здорово! Ведь десять лет как не виделись! Тут же и друзья-однокурсники, технологи косопузы: Блоша да Галя Руби, и даже сам Найман пожаловал... Как я вам рад! А с ними — кто это — неужели Марьяна Павловна собственной персоной? Вот уж никак не

ожидал! Кто-то предлагает тут же выпить по такому редкому поводу и достает нагретую в кармане злодейку с наклейкой.

— Уберите эту гадость! У меня есть для встречи кое-что получше...

И я вынимаю из сумы квадратную бутылку *Jonny Walker'a* (если кто разбирается — с черной этикеткой!) и пускаю ее по кругу. По второму заходу мне едва достается последний глоток. Из здания аэропорта выходит таможенник, протягивая букет:

— Дмитрий Васильевич, вы забыли!

На двух машинах кортеж прибывает на Таврическую. Мама! Феня! Танюша! Компания рассеивается по домам, Марина на некоторое время остается, домашние садятся за стол с пирогами, наливками, холодцами и винегретами... С Новым годом! Но я уже сплю...

### Мои пятнадцать минут

Эти обязательные четверть часа славы для каждого придумал Энди Уорхол, утешая (или — унижая) своих собратьев по искусству. Что-то в этом роде ощутил и я, проснувшись в Новом году на Таврической улице. Система оповещения действовала еще с доперестроечных времен: по городу прошли слухи, что я материализовался.

Позвонил некто Михаил Талалай — Советский фонд культуры, предложил у них выступить. И пошло-поехало!

Невский проспект непредставим без башни с часами над зданием былой Городской Думы. Зал, где когда-то находились железнодорожные кассы на южные направления, набит до духоты, приходится открыть окна. С сырым воздухом оттепели смешивается городской шум, который приходится перебарывать голосом. Я решаюсь — была не была! — прочесть горожанам «Русские терцины» целиком, а там пусть хоть арестуют, хоть высылают под конвоем!

...А может быть, твердить еще больней:

— Да, мы рабы, рабыни и рабёнки, достойные правителей, ей-ей?..

Из зала слышатся выкрики:

— Прекратите! Это клевета на советский народ!

Но их с лихвой перекрывают другие:

— Не мешайте! Пусть читает!

Троллейбус тормозит внизу перед остановкой, открывает пневматические двери, заглушая здесь и тех и других. Но у меня остается еще немало горьких истин для горожан и соотечественников, с которыми пошла такая прямая «разборка»:

Да не сочтется эта речь за наглость...

Не «Городу и Миру» — ей о ней, стране моей сказал я с глазу на глаз ей-ей же правду... Издали видней.

И вот, вконец измочаленный волнами многоголосия моего гражданского слова, я сваливаю с плеч эту ношу, произнося заключительное *dixi*:

Умру зато свободным. Я сказал.

Рискнул и выиграл... Мало того, что воскресли приятели — Арьев, Уфлянд, Охупкин, Пудовкина, Шварц, однокурсники и даже одноклассники, — зашевелилась пресса, явилось на дом телевидение. К беспокойству и жгучему интересу домашних осветители и помрежи затащили свои кабели, расставили треноги с перекалками, телеоператоры наставили камеры... Заставляли подходить к окну, глядеть на Таврический сад, читать стихи. В общем, все вместе мы изобразили картину «Возвращение блудного сына».

Обветшавшие за десятилетие лестницы принимали мои шаги по дружеским адресам. От слякоти на тротуарах вырвали эластические галоши, и в гостях вместо разношенных тапочек, которые мне предлагали хозяева, я всегда оставался в своей чистой обуви. Эти галоши воспринимались как чудо цивилизации: снял в прихожей — и все! Горожане забыли начисто, что некогда Ленинград славился заводом «Красный треугольник», производившим такую немудреную продукцию.

Даже на мою войлочную афганскую шапку так не пялились, хотя Лена Пудовкина предупреждала: «Смотри, убьют!» Война еще продолжалась; пятнадцать тысяч цинковых гробов получила страна оттуда, но как выглядят моджахеды, никто не знал: СМИ избегали показывать их. И для солдат они тоже были «духи».

Из разных мест посыпались приглашения, и я развернулся, поняв свою миссию: свидетельствовать. Программу каждый раз менял, так что получилось — о многом. В Доме культуры хлебопеков, где располагался литературный клуб с детским названием «Бибигон», я читал стихи об Америке, включавшие «Звезды и полосы»... На художественной выставке в Гавани это были «Краски в поэзии и живописи». Сам я находился в центральной выгородке, а голос через микрофон разносил по огромному стеклянному павильону стихи о Тюльпанове и Шварцмане... В музее Ахматовой, который тогда еще не получил своего помещения, это были воспоминания о «Пятой розе» и мои «Траурные октавы»... В музее Достоевского — отдельное выступление, перед ко-



торым я попил чаю из фарфорового сервиза Анны Григорьевны Сниткиной, а затем прочитал «Ангелы и Силы» и «Стигматы»... И, наконец, пригласили меня литераторы-неофициалы в «Клуб-81», к которому давно питал я сочувствие.

Это был понедельник, 16 января. Оттепель сменилась зверскими холодами. Почему-то меня упорно отговаривал от выступления в том месте Яков Гордин, предлагая лучшее — в Красной гостиной Дома писателей, что наискосок от Большого Дома. Место, конечно, хорошее, но...

- В другой день — пожалуйста!
- Нет, только в этот.
- Тогда не могу. Уже пообещал.

Тоже, впрочем, неподалеку от КГБ, на Фурштатской, 5.

Если театр начинается с вешалки, то «Клуб-81» начинался с грандиозной помойки, загромождавшей вход во двор. Два колоссальных мусорных бака, переполненных отбросами и увенчанных ниспадающими гирляндами зазеленевших помоев, громоздились в арке дворового въезда, а попросту сказать — в подворотне, так, что миновать их, не коснувшись, можно было лишь боком, с осторожностью держась противоположной стенки.

Во дворе переминались небольшой толпой, поеживаясь на холоде, литературные энтузиасты. Дверь в бывшую жилконтору или дворницкую, а ныне — клуб, была заперта. Вспархивали вместе с облачками морозного дыхания недоуменные взгляды:

- Где же ключ?
- У Бориса Ивановича.
- А где Борис Иванович?
- Дома нет. Может, уже в дороге сюда. А может быть, и забыл...

Через полчаса появился наш старый знакомец Борис Иванович Иванов, сердитый и озабоченный распорядитель клуба. Он впустил терпеливую публику внутрь, и она целиком заполнила душный зал. Я им приготовил сюрприз (можно читать и как «Сюр-приз») — первое исполнение «Зверей св. Антония». Но предупредил:

- Не для слабонервных.

Со мной был экземпляр книги, и я при чтении показывал нужную картинку, но книгу из рук не выпускал, зная, с кем имею дело. Бесстыжие чудовища красовались графически и словесно, ужасая не только пустынного молитвенника, но и чувствительных дам. Между тем в помещении стало происходить какое-то постороннее действие: из-под двери повеяло влажным жаром, послышался отчетливый матерок, затопали сапоги вверх и вниз... Публика забеспокоилась. Открыли дверь на лестницу, и от-

туда ворвалось облако пара, стало заливать горячей водой. Пришлось распахнуть окна. Кто-то попытался улизнуть, но выход был отрезан.

Я, однако, продолжал делать свое, как и мой старец Антоний. Публика оставалась на местах и жадно слушала. Но эпизод совокупления слонов настолько потряс поэтессу Елену Игнатову, что заставил ее ретироваться прямо через окно, благо что пол дворницкой оказался вровень с землей. Сцены пожирания мозга живой обезьяны и новые клубы пара лишили меня еще нескольких слушателей. Я заверил оставшихся, что в конце поэмы духи зла непременно будут закланы. И действительно, с окончанием чтения невидимые водопроводчики ликвидировали аварию. Но выход оставался залит водой, и я покинул эту невольную феерию как все, через окно.

К этим описаниям остается добавить еще немного. Этот спектакль для автора и книги благополучно состоялся позднее в подвальном театрике Ю. Томошевского «Приют комедианта» на Малой Морской, 16. Вход тоже был со двора, но помойка отсутствовала, так же как и вешалка. Прямо от двери ступеньки спускались амфитеатром к подобию античной сцены. Скамейки были затянуты черными сукнами, и вмещалось туда шестьдесят зрителей. Но, видимо, пришло больше, потому что устроители притащили доски и сымпровизировали из них дополнительные скамьи.

К спектаклю я заказал эпидиаскоп, чтобы проецировать картинки на экране. Казалось бы, простое оптическое устройство, есть в любой школе. Загадка не сложнее моих галаш. Но устроители долго не могли понять, что это такое. Мучились, где бы его раздобыть. В последнюю минуту все же достали, и Галя Руби, ставшая моим ассистентом, осваивала его на ходу. Перед самым началом, когда я уже сидел на сцене, прибыло телевидение. Ведущая с микрофоном склонилась ко мне, дохнув «потфешком» с морозцу:

- Дмитрий Васильевич?

Я с пониманием взглянул на нее.

- Да, — сказала она с последней прямоотой. — А что?

В этот момент я увидел, что в дверь ломится еще целая команда, и впереди — Виктор Кривулин.

- Впустите Кривулина! — заорал я в ту сторону.

— Некуда! Зал — под завязку... — ответил охраннык.

Надо ли добавлять, что на этот раз обошлось без спецэффектов в духе «Клуба-81»? Впрочем, эпидиаскоп перегрелся, и для него понадобился антракт. Но это было вполне в театральной традиции.

При таком явном аншлаге Томошевский предложил мне появиться в театре еще раз, и через несколько дней спектакль был повторен.

Остается здесь проследить за последним сюжетным завитком этой звериной истории — попыткой двуязычного издания. Да хоть бы и только английского — ведь русское уже есть. Но Шемякин (сам, без моих подталкиваний) предложил издать книгу на двух языках, даже прислал договор по всей форме на подпись переводчику и мне. И началась переводная страда. Работу мы сделали, договор подписали и послали маэстро. Но слово «гусара и белогвардейца» оказалось, увы, не крепко...

Я объяснял себе это молчание тем, что интересы мастера далеко ушли от книжного дела: он чересчур увлекся скульптурой, наставил бронзовых памятников по городам, делал миниатюрные серебряные отливки, а потом и золотые... Но не исключаю и того, что какой-нибудь Алик Конский (персонаж из романа Аксенова) отговорил его от такого издания.

Я все-таки использовал перевод «Бестиария» не раз при выступлениях по университетам, а потом он был напечатан в англо-американском журнале *Modern Poetry in Translation*.

### Университетские поэты

Знакомство с ними произошло у меня быстро и легко: Ольгина коллега по антропологии Алма Готтлиб была замужем за университетским литератором Филипом Грэхемом. Она происходила из еврейской, он — из католической семьи, но пару они составили прочную и многолетнюю, хотя и оставались при этом очень разными. Худощавой смуглой Алме иногда хватало показать одно лишь темное око из-под крученых волос, и романтический образ был закончен. Филип обрамлял свои круглые щеки русой щетинкой, его глаза были готовы превратиться в щелочки, а рот — сангвинически расхохотаться по малейшему поводу. Человек он был легкий, а писатель — скорей интеллектуальный, который начал с верлибров, а затем, перейдя на рассказы, умел закручивать их так, что реальность оказывалась сверху ногами по отношению к самой себе. Книга «Искусство стучать в дверь» построена именно на таком приеме, который можно назвать «лентой Мебиуса», и автор был доволен, когда я сказал ему это. Еще я называл Борхеса, но Филип больше кивал на графику Рене Магрита, художника с акробатически вывернутыми мозгами.

Подобный вывих он находил и в человечестве. Со своей стороны этим же занималась и Алма, только научно... Она получила грант на этнографическое исследование одной глухой африканской деревни и отправилась туда на год вместе с мужем. Там всю бушевала спиритуальная жизнь — по крайней мере, в курчавых головах местных жителей, которые каж-

дое самое мелкое происшествие объясняли сложными интригами духов. Об этом супруги написали в соавторстве книгу «Параллельные миры». Параллельные... Это не совсем то, что неразрывные, но параллельно перевернутые...

Вот более близкий пример такой перевернутости: после 11 сентября Грэхем печатно предложил использовать «секретное оружие против исламских террористов». Таким оружием наш выдумщик почитал мормонов, в чьей религии, помимо крещения водой в сознательном возрасте, есть еще и спиритуальное крещение, сила которого обращает в христианство любого отсутствующего или даже мертвого человека. Таким образом, Мухамед Атта, помещенный в магометанский рай за злодейское нападение на нью-йоркских «Близнецов», может быть принят в чуждую ему веру и изгнан в места противоположные... Представляете: вот он блаженствует среди гурий, и вдруг — паф-ф! — оказывается в сумрачном помещении, где пожилые мужчины в сюртуках тыкают в него осуждающе пальцами и бубнят нотации... Такой пример должен остудить самые пылкие религиозные чувства у новых экстремистов!

Филип и Алма ввели меня в малый круг здешних литераторов. Об университетских поэтах слышал я еще до отъезда и, как и многим другим американским чудесам, этому явлению премного дивился — особенно сравнивая их счастливую долю с судьбами наших увечных и вечно гонимых пиитов сайгонского, мало-садового и вообще всего ржаво-котельного поколения. Вот достался же кому-то благой удел: красуйся, поучай молодежь, сидя на травке под платаном, или же броди себе по архитектурно-парковому кампусу, вдохновляйся, твори!

В этом университете их было несколько, преподававших литературное творчество, и входили они в состав английского отделения, то есть на равных правах с академической публикой числились в профессуре, добивались, как и те, постоянного контракта и дальнейших повышений, обходясь при этом без диссертаций и докторских степеней. Откуда ж они взялись на этих местах? Конечно, не из воздуха — это только я угодил туда прямо из «Астронавтики»...

Для них существовали особые структуры: целая сеть творческих мастерских, рассеянных по штатам. Но ценились только немногие с солидной репутацией, которая исчислялась количеством лауреатов Пулитцеровской премии из бывших выпускников. Конечно, туда отбирались талантливейшие из молодежи и потом выпускались с дипломами и рекомендацией мастера — в свободное плавание по университетам и издательствам. При этом оставались они все в той же структуре, получая время от времени гранты и премии за лучшие первые книги, за вторые

книги, третьи и т. д. Череда мелких успехов и поощрений была утешительной заменой славы для тех, кого она миновала.

Именно такая команда осела в нашем степном университете. Коммерческую литературу они снобировали, бестселлеры устаивались лишь их презрительной улыбки — пусть даже и ревнивого происхождения. Но к «Пуллитцеровке» относились с подлинным уважением, ничуть не меньшим, чем к «Нобелевке». И все-таки вершинным достижением считался выход из литературы в чистый успех, воплощением которого являлся контракт с Голливудом.

Странно было мне слышать однажды, как Рэй Брэдбери, собравший на лекцию в «Фоллинджер аудиториум» тысячи две почитателей, благословлял тот день, когда он встретился с каким-то продюсером, имя которого у меня сразу же вылетело в другое ухо. Цену своему таланту он четко знал, этот седой крепыш с фантастическим даром: упомянул и «Марсианские хроники», и раздавленную бабочку из «Охоты на динозавра», но то были всего лишь подспорья для судьбоносной встречи с голливудским толстосумом.

А среди «наших» безусловно яркой и состоявшейся фигурой оставался Лоренс Либерман, выпустивший не менее дюжины сборников и к тому же (вот еще один калибр успеха) печатавший стихи в «Нью-Йоркере». Горбоносый, легкий, с лысиной от лба до затылка, Лэрри держался суховато и иронично. Но однажды, когда мы вышли на улицу после какого-то приема (приезжал живой классик Даблью Эс Мервин), он расчувствовался и тепло приобнял меня:

— *I love you, man.*

Я даже растерялся. Но так тут выражают свое признание «*men of letters*», или, выражаясь по-нашему, собратья по перу. В другой раз, побывав на какой-то важной конференции, сообщил, что некто оценил меня чуть ли не выше Бродского... Неужели? Кто мог нагородить такую ересь? Назвать его имя Лэрри отказался.

Подобно Гогену, Лэрри счастливо и умно выбрал себе тему, и она стала его литературной судьбой — южная экзотика. Наверняка поддерживаемый грантами, где он только не побывал со своей доброй Берниз: на архипелаге Карибской гряды в Гаити и Доминиканской республике, в Гренаде, на Святой Люции, Барбадосских и Антильских островах, в Суринаме и Гайане, на их скалах, рифах, в лагунах, синагогах и бараках для рабов... Впечатления отличались в точные по наблюдениям стихи, написанные в свободном, но выверенном слого. Они могли образно описывать и подводный балет, учиняемый



Дмитрий Бобышев. У входа в Петербургский университет

Лэрри со своей Бинни, когда-то, по-видимому, прехорошенькой даже в лапах и маске, и с тем же успехом прогулку внутри огромной головы Будды в Японии, где он побывал не иначе как в качестве ходячей мантры. Японский бог!

Я договорился посещать его семинары — просто чтобы перенять методы для своих занятий. И что ж? Оказалось, все хорошо знакомо еще по ЛИТО Семенова или Дара. Но Либерман учил, как писать английские стихи, а я решил использовать творчество, чтобы дать американским ребятам лучше почувствовать русский язык: думать на нем, читать, даже сочинять и разговаривать. И пусть они заодно получают представление о жизни советской и о диссидентском с ней несогласии. Учебником и образцом станет скандальный и все еще памятный «Метрополь». А на следующий год — сборник «Клуба-81», а еще потом — 9-й выпуск «Невы» за 89-й год с проклятыми и гонимыми. Да будет так!

Зря укорял меня в споре о своем детище Аксенов, зря испепелял бывшего друга Рейн и напрасно заставляли другие метропольцы: в глухую пору застоя и по другую сторону океана у них появились упорные читатели и подражатели... Мои студенты! О них я еще напишу.

Прозаик Пол Фридман, рассказчик-бытовик, тоже привечал меня, приглашая домой на литера-

турные топталовки, — белое вино, на закуску сырые овощи с пряной подливкой и горячие тефтели, приготовленные его женой Мэри. Они были подходящей парой: оба длинные, носатые; он — с печально понимающей, она с приветливой, но тоже понимающей улыбкой. Мне казалось, такие супружества долго держатся... Этого брака хватило ровно на то, чтобы вырастить и устроить их отпрыска в колледж. Дальше, как выразился вышеупомянутый Лэрри, началась «игра в музыкальные стулья».

Бруклинский парень, Пол служил когда-то на флоте, повидал мир и однажды за чечевичной похлебкой (мы с ним как-то полдничали в вегетарианской столовой) поведал мне, как ему приелось мелкое благополучие, как закисает он творчески здесь, на кампусе, в однообразном окружении кукурузных и соевых степей. Мне был уже знаком этот сравнительно распространенный взгляд местных творцов — от живописцев до открыточных фотографов — с ностальгической грустью по отношению ко всему облезлому, покосившемуся, готовому рухнуть... Странное дело, я тут видел совсем другое — крепкое, яркое, добротное, новое: не скучное учебное заведение и его территорию, а интеллектуально-архитектурный цветок, овеваемый ветром за океанья; видел не степь, а романтическую прерию, упорством и трудами превращенную в житницу этой страны, да и чуть ли не всего мира. Мне нравилась жирная земля, сытые березы, ухоженная чистота газонов, семейные домики, прочный бетон дорог с катящими по нему никелированными цистернами для горячего.

Пол Фридман познакомил меня с еще одним бывшим морячком (так и вижу их на палубе авианосца в белых матросских панاماх), ставшим теперь университетским поэтом, которого я тут же нарек для себя «американским Горбовским» — талантливым, хитрым, как Глебушка, играющим простеца из народа и, конечно же, крепко закладывающим за галстук. «Крепко» по-здешнему значило: с кружкой пива он принимал пару стопок бурбона. Звали его на голландский лад — Майкл ван Воллеген.

Он подчеркивал, что вырос в Детройте, столице автомобилестроения, где его отец был рабочим; в солидарность ему покупал машины только отечественных марок, а на занятия ходил в бейсбольной кепке и рыбацком жилете со множеством карманов и карманчиков. «Последний неандерталец» — так самокритично называлась одна из его книг.

Майкл и в самом деле рыбалил, и однажды я уговорил его взять меня с собой. Пришлось явиться ни свет ни заря, толком и не проснувшись. Он вывел из-под навеса здоровенный додж-пикап с прицепом, на котором была установлена довольно-таки солидная

моторка, и по 74-му «интерстейту»<sup>1</sup> мы покатали на восток. Там, в парке поблизости от Индианы, я уже бывал. «Неужели мы едем в Кикапу? — размышлял я. — Тамошние озерца маловаты для нашей лодки». Название парка (по имени индейского племени), между прочим, стало не чуждым в русской поэзии благодаря эксцентричному дару Тихона Чурилина; оно прозвучало и у сатириконовцев, и у раннего Маяковского. И мы, игумен Пафнутий, к тому руку приложили... Но как было объяснить это моему напарнику, если в столь раннюю пору мой английский еще дремал?

Мы съехали с четырехрядного шоссе на обыкновенную двухполосную бетонку, оставили территорию парка справа и двинулись дальше и дальше по засеянной маисом — если настолько уж надоела нам кукуруза, — саванне... Саванна — так, тоже нескучно — называется здесь «лесостепь».

Озеро оказалось немалым проточным водоемом. Окруженное лесом, оно было оборудовано для приятного времяпрепровождения рыбаков: пикниковые столы с грилями, а главное — бетонный съезд прямо с берега. Развернувшись, Майкл подал прицеп задом и посадил лодку прямо на воду, я ее придержал, пока он откатил пикап, и вот уже мы плывем на хорошей скорости к заветным и клевым заводям. Но для плавания в бухтах, для выбора лучшего места для ужения есть у него другой мотор, бесшумный, работающий на аккумуляторах. Бросаем якорь, и Майкл распахивает, словно книгу, свой чудо-сундучок со множеством раскрывшихся полок. Там уйма крючков, наживок и блесен — пестрых, прямо как сувенирная лавка. Но, будь я рыбой, я без раздумья променял бы всю эту красочную синтетику на самого обыкновенного дождевого червя!

И действительно, клева нет. Майкл выбирает якорь, и мы едем на стрежень, где продувает ветерком. Здесь надо сменить наживку даже не на блесну, а на искусственную рыбку, в которую вделан крючок. По виду это настоящий малек, даже с подвижным хвостом. Закидываем спиннинги попеременно. Его далекий заброс не приносит ничего, мой создает из лески дикую петлистую бороду. Майкл — само терпение — молчаливо и долго ее распутывает. Затем великодушно предлагает метнуть еще раз. И у меня получается! Следует сильный рывок, я чувствую возмущенное сопротивление крупной рыбы... Мой напарник подхватывает сачком трепещущего окуня с раскрытой пастью и выпученными глазами. Бережно освободив его от крючка, он достает линейку, замеряет добычу, после чего, к полному моему

<sup>1</sup> Interstate (англ.) — федеральная автострада.



остолбенению, бросает рыбу за борт. Я гляжу на него как на сумасшедшего. В чем дело?

— Не годится!

— Почему?

— Внутри стандартного размера. Таких брать нельзя, они больше всего годятся для воспроизведения потомства.

— А каких можно?

— Если больше или меньше стандарта.

Я долго переваривал в голове разницу между нашими умозрениями: законопокорностью с одной стороны и азартом поимки с другой. Потом все-таки спросил:

— А что если взять и спрятать?

— Здесь бывает инспектор. И, может быть, сейчас он наблюдает за нами с берега. Если такое заметит, будут крупные неприятности...

Больше я в Америке не рыбалил. Но с ван Воллегеном мы сблизилась теснее на деловой основе, то есть на почве переводов. Он сначала отнекивался: да как это — я, мол, ни бум-бум по-русски... И стоит ли тратить свое время? Но когда я смог платить, у него отпали сомнения. К тому же он убедился в действительности советского метода работы с подстрочниками. А я получил солидный грант, когда сумел внятно написать обосновательную записку — по-английски, конечно, — и подать заявку в соответствующий фонд. Это сделало меня популярным лицом среди аспирантов, они стали подрабатывать на буквальных переводах. Особенно выделилась в этом деле умненькая Ребекка, у которой было языковое чутье. Она сама ахала в изумлении, когда слова вдруг складывались в неожиданную для нее красоту. И я едва не влюбился, глядя, как она склоняет душистые рыжеватые пряди над моими листами. Чуть было не поверил в правоту Афанасия Афанасьевича Шеншина:

Только в мире и есть — этот чистый  
влево бегущий пробор.

Но святой Антоний, поборов свои искушения, помог и мне избежать тяжелого конфуза, если бы я настаивал, а она отказала. К тому же тут ведь были замешаны деньги...

Майклу за чистовой перевод я платил вдвое, хотя и там приходилось объяснять не меньше. Однажды я поправил его, и он напортил так, что пришлось вернуться к исходному варианту.

Про рифмы я и не заикался, зная ответ: «Английский язык устал, все рифмы предсказуемы». Возражать было бесполезно, но я остался при убеждении, что это обленились сами поэты. Где их энергичность,

изобретательность, словесная игра? Не в мелкотемье ли залегает причина? Ведь английский язык не менее велик, чем русский! Впрочем, были охотники возвысить один за счет умаления другого.

Однажды мой утлый кабинетец заполнил собой Ричард Темпест — нет, не толщиной, но массивностью, оживленностью, пышностью своей волости. Да, спешу представить: мой коллега, выпускник Оксфорда, специалист по Чаадаеву. Между прочим, сын журналиста Питера Темпеста, аккредитованного в Москве 50-х от *Morning Star*, газеты британских коммунистов. Подробности — в моей оде «Человек играющий». Так вот, Ричард Петрович без обиняков заявил:

— Английский в четыре раза богаче русского!

— С чего это вы взяли?

— Только что вышел Оксфордский словарь. Английский богаче по количеству корней, не говоря уж о числе синонимов и значений.

— А вы возьмите число грамматических форм, все эти суффиксы и приставки, падежные окончания не только существительных, но и прилагательных, и местоимений, и даже числительных!

— Да, но зачем они нужны?

— Ну, во-первых, нужны для нас, преподавателей русского... А главное — для поэзии! Для свежих рифм!

Это лучше всего познавалось в нашем невольном состязании с ван Воллегеном, для чего я специально перевел на русский его стихи, чтобы он не чувствовал себя только переводчиком.

У нас было эффектное, умело организованное выступление с двуязычным чтением и показом «Бестиария» в местном музее. Вдобавок редактор и издатель *Zephyr Press* Джим Кейтс пригласил нас выступить в Бостоне, в Кембриджской библиотеке. Он пытался устроить все лучшим образом, намекал даже на вероятность издать у него книгу... Но там ведь жила моя злейшая врагиня Фрида Штейн, та самая, что украли туфли на похоронах Виньковецкого! Видимо, широко расстаралась она, на своей-то территории: банкет по неизвестным причинам был отменен, спонсорша не явилась, сорвалось и дополнительное чтение в русском книжном магазине. А в библиотеке произошел худший ляп, какой только может случиться со знаменитостями, но это уже наша с ван Воллегеном вина, а верней — случайность. Мы, не сговариваясь, появились на выступлении одетыми одинаково, почти как близнецы — в твидовых пиджаках с водолазками земляных тонов. Зал так и ахнул: вот они, мол, наши степные богатыри, хлеборобы Среднего Запада, прямо от сохи и орала...

Продолжение следует.



Катя ПОВОЛОЦКАЯ



*Екатерина Поволоцкая родилась 15 февраля 2001 года в Москве. Катя стала придумывать сказки и рассказы с трех лет и стала записывать их в свои детские блокнотики, не умея хорошо писать, но зная все буквы алфавита.*

*В первом классе в школьном журнале «Классический» была напечатана сказка Кати «Приключения кота Ивасика».*

*Занимается в театральной студии «Балаганчик», в издательском доме «Совенок», в 2005–2009 годах занималась спортивно-бальными танцами.*

*В апреле 2011 года Катя заняла второе место в конкурсе чтецов «Строки, пробитые пулей».*

## КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

**Я** висел на дереве, на своем любимом клене, как вдруг подул сильный ветер. И некоторые мои друзья упали с клена, и я сказал сам себе:

— Интересно! Как же там, внизу?

И вдруг на ветке повыше мне кто-то отозвался. Это был старый лист, но он был очень мудрым. Он висел на ветке с прошлого года и поэтому все знал, и вот что он говорил:

— Молодые листики думают, что там очень плохо, а те, кто постарше, — что там очень красиво.

— Но это если не считать лисицы, которая постоянно бегаёт внизу и разгребает листья в поисках еды, — сказал я.

— Да. Но птицы говорят, — продолжил мудрый лист, — что тем листикам, которые упали на землю, очень хорошо.

— Расскажи, как им внизу, — попросил я, ведь я был маленький листик и мне все хотелось знать.

— Ладно, малыш, только немного. Внизу кто-то ходит и собирает листья, а когда листья никто не собирает, то им нравятся слабые, но все-таки лучи солнца, касающиеся их. Ну, малыш, на сегодня хватит.

— Ох как жалко, — сказал я. — Мне так хотелось послушать твои рассказы еще.

Но старый кленовый лист уже спал. Вдруг подул сильный ветер, и я услышал крики. Они были протяжные:

— Малы-ыш! Буду жда-а-ать тебя-я-я внизу-у-у. И я увидел, как мудрый лист падает вниз.

Поначалу я расстроился, что мой большой и мудрый друг упал на землю. Но потом подумал, что это не так и плохо, потому что, когда я упаду, мне будет не скучно вместе с моим другом.

На следующий день с неба посыпалось что-то странное, белое.

Что это, я никак не мог понять. И подул такой сильный ветер, какого я еще никогда не видел. В ту же секунду я почувствовал какое-то странное ощущение: как будто меня кто-то взял и сильно потянул вниз, и я понял, что я не на веточке, а куда-то лечу. А мой клен все отдаляется и отдаляется от меня. Потом мой полет резко завершился. Я ударился обо что-то твердое. И сбоку сказали:

— О! С нашего дерева упал кто-то новенький.

— Такой молоденький. Неудивительно, что он не удержался при таком сильном ветре.

Я спросил:

— Кто вы?

— Мы твои соседи, с другой ветки клена.

И только я хотел познакомиться с ними поближе, как все листики между собой стали говорить:

— Тихо! Тихо! Все молчите! Она идет!

И надо мной склонилась чья-то тень. И кто-то сказал:

— Какой красивый листочек. Я его, пожалуй, возьму в свою коллекцию.

Меня кто-то поднял с земли и понес. Я посмотрел вниз на своих соседей. Среди них был мой друг, мудрый лист. Он улыбался мне вслед, и я сразу понял, что место, куда меня несут, замечательное. Потом я рассмотрел того, кто меня несет. Это была девочка.

Дома она положила меня между страницами чудесной книги. Я подружился с этой книгой. Каждый вечер она рассказывает мне волшебные сказки.

г. Москва



## Евгений АГЕЕНКОВ



*Евгений Агеенков — уроженец Подмосковья. Окончил МПУ имени Крупской. Работал в сфере образования. Стихи и прозу пишет с детства. Печатался в университетской газете «Народный учитель», в газете «Центр Плюс». Автор сборника «Последний шаг из черной бездны».*

## ВЕЧЕРИНКА

Ключ в замочной скважине провернулся до упора, обитая коричневым дерматином дверь приоткрылась, и нос мне ударил запах застоявшегося воздуха, к которому примешивался запах старой мебели и старой газетной бумаги.

Я настороженно заглянул внутрь, собственным воображением опережая действительное и уже предвидя паутину с огромными пауками по углам и больших, бьющихся в конвульсиях отвратительных мух с золотисто-зелеными брюшками. К счастью, не было пауков, как не было мух, паутины, а была лишь пыль толстым слоем повсюду, что крайне удивительно и непривычно для этой квартиры!

Войдя и положив ключ на комод рядом с телефоном, я прошел узкую прихожую-коридорчик и мимоходом заглянул в небольшое запыленное овальное зеркало на стене, в которое вскоре непременно должна была посмотреться самая замечательная девушка нашего института.

Со Светланой мы встречались уже второй месяц. За это время мы несколько раз были в кино, посмотрели и послушали «Принцессу цирка» в Театре оперетты, побывали в Московском планетарии, еще не закрывшемся на реконструкцию на рекордно длительный, как выяснилось позже, срок, погуляли по зоопарку, ходили по музеям и выставкам. Говорили об искусстве, о литературе, о живот-

ных, о спорте, о туристических маршрутах и о нашем институте. И о Светлане мне хотелось не то чтобы просто рассказывать, а восторженно кричать чуть ли не на каждой улице! И вот однажды в кругу вяло отдыхающих между лекциями студентов, среди которых был и я, от кого-то, видимо, достаточно умудренного опытом любовных отношений, изошла следующая фраза: «Если через два месяца до интимной близости не дойдет, то так и будете друзьями». Сказанное было адресовано не мне, и все же я всерьез призадумался и решил, что пора искать «хату». И пусть мы со Светой уже и начали целоваться возле подъезда ее дома поздними вечерами, но, кто знает, может, действительно этими робкими поцелуями наши отношения и ограничатся, и спустя еще два-три месяца мы и в самом деле останемся друзьями, просто друзьями, некогда учившимися в одном институте?! Нет, я не мог себе этого даже представить, как не мог себе представить Свету, целующуюся с кем-нибудь другим!

Глеб, мой давний товарищ, все еще не обремененный приятными семейными хлопотами, увлеченно продвигающий науку в одном секретном НИИ, с которым, наверное, месяца четыре мы не виделись, подвернулся мне как раз кстати: мы столкнулись в метро, в дверях подземной электрички на «Добрынинской», и были очень рады

встрече. Разговорились, конечно. О стране и о политике, о встречах людей со снежным человеком и с плохими и хорошими инопланетянами, о трудностях жизни и о трудностях быта. Не обошлось и без печально-радостных событий. Так, Глеб сообщил мне, что полгода назад почил его московская тетька, тетька Аня, Анна Моисеевна. Сообщил также, что она оставила ему свою квартиру на первом этаже хрущевской пятиэтажки одного из спальных районов на северо-западе Москвы, в которой у него, человека очень занятого, совсем не находится времени навести хотя бы минимальный порядок, чтобы окончательно перебраться в нее из своего Пушкино. В частности, Глеб негодовал по поводу того, что квартира тетки превратилась в склад старых газет и журналов, которые та усердно собирала последние пять-шесть лет и до последних дней своих выменивала в пунктах приема макулатуры на возможность купить редкие книги для своих любимых племянников. Однако, чья память о добродетельной тетушке, просто выкинуть эти стопки макулатуры на помойку у Глеба рука не поднималась, поэтому он попросил меня первым делом свезти их в пункт приема макулатуры и взять в обмен любые, какие мне самому понравятся, книги. Я согласился, рассчитывая в качестве платы провести в его квартире вечеринку с любимой де-

вушкой, пригласить которую к себе не решался по причине затянувшегося ремонта. Скрывать от Глеба свои планы я, разумеется, не стал. Рассказал все как есть. Для того чтобы он невзначай не приехал и не испортил нам вечер. Глеб усмехнулся, подумав немного, принял обоюдное предложение, но с тем условием, что мы со Светой будем там одни, только одни и никого еще, кроме нас двоих, там не будет. Я клятвенно пообещал ему это, внутренне радуясь столь неожиданному везению. Следующим утром, получив от Глеба ключи, я приехал в институт и вне себя от переполнявшего меня чувства принялся рассекать воздух его тускло освещенных коридоров. Наконец в одном из них я увидел Светлану. Она с подругой стояла у окна в ожидании начала лекции. Не давая себе времени на сомнения, я пригласил ее на вечеринку и коротко рассказал ей про квартиру Глеба и про то, что мне предстоит в связи с этим там сделать, и решительно, размашистым почерком написал на тетрадном листке несложный адрес и номер телефона. Света улыбнулась, взяла листок, пробежала по строчкам глазами и тихо произнесла:

— Я согласна. Но только после института. Хорошо?

— Да! Конечно! Хорошо! — обрадовался я, впрочем, несколько удрученно ощущая, как прихлынула кровь к моему лицу. Мы договорились на семь часов вечера. Я сказал, что буду ждать. Света улыбнулась и, махнув мне на прощание рукой, вместе с подругой скрылась за высокими дверями лекционного зала.

...И вот я в Глебовой московской квартире, весь в мыслях о предстоящей встрече, первым делом протираю тряпкой зеркало в коридоре, стираю пыль с комода, со стула и с телефона. Но главное из дел в виде толстых пачек старых газет и журналов, которое я должен был обязательно выполнить, находилось в большой комнате под

круглым желтым столом с фигурно изогнутыми ножками. Связав четыре пачки, я поместил их в свой старый большой зеленый рюкзак. Затем быстро связал еще по две пачки. Подхватив все это, я выбрался на лестничную клетку, закрыл на ключ дверь, спустился по ступенькам к подъездной двери и направился к троллейбусной остановке. До того места, где находился пункт приема макулатуры, по словам Глеба, нужно было проехать всего две остановки, затем от остановки пройти за девятиэтажный дом, во дворы, где и находился зеленоватый вагончик с большими напольными весами, который и являлся пунктом приема макулатуры.

Троллейбуса я ждал недолго, но дворами поплутать пришлось прилично. Остановившись возле забора, чтобы передохнуть, я увидел пожилую пару, несшую большие сумки, из которых торчали кипы пожелтевших газет, и поплелся следом за ними. Вскоре под сенью роскошной ивы показался зеленоватый вагончик с открытой настежь дверью, с большими напольными весами и приемщицей макулатуры — спортивного вида женщиной лет тридцати пяти, видимо, посвятившей свои юные годы спортивной карьере и, похоже, до сих пор занимавшейся метанием ядра в свободное время. Я бесцеремонно обогнал пожилую пару и, вздохнув с облегчением, сбросил на свободную квадратную поверхность весов свой увесистый бумажный груз. Его тяжести оказалось вполне достаточно для приобретения двух книжек в мягкой глянцевой обложке, еще и оставалось. Из всех имеющихся там книг я выбрал «Голову профессора Доуэля» Александра Беяева, а оставшиеся килограммы макулатуры подарил подоспевшей пожилой паре, чему оба супруга были несказанно рады. Купив две книги, одну для Глеба, другую для себя, в память об Анне Моисеевне, которая и ко мне относилась, как к родному, когда с Глебом одно

время мне часто доводилось бывать у нее в гостях, я налегке пустился в обратный путь. Он занял у меня уже гораздо меньше времени.

В прихожей-коридоре одну книжку я сунул в свою сумку, другую положил на комод, затем уже с несколько померкшим энтузиазмом оглядел оставшиеся примерно в том же количестве пачки и перевел взгляд на часы. Стрелки показывали два часа ровно. В половине третьего пункт приема макулатуры закрывался. Так, по крайней мере, на его двери было написано. Стоит ли ехать туда, возить эти газетные пачки, когда времени в обрез? Я решил, что не стоит. Собрал все пачки, связал между собой, как и первые, и вытащил на улицу. Пахучий запах помойки своевременно подействовал на мои органы обоняния. Ближе, чем необходимо было, мне подходить к ней не хотелось. Одну за другой я запустил увесистые пачки в проржавевшие, перекосившиеся и даже треснувшие кое-где контейнеры и с облегчением потер натертые веревками ладони — Глеб не тетя Аня, несданные килограммы считать не будет, а книги я приобрел и, что самое главное, квартиру от бумажного хлама освободил. Теперь оставалось протереть мебель, пропылесосить диван, ковер, придать хоть какую-то чистоту ванне, раковинам, унитазу и вымыть полы. В общем-то, несложное для человека, к подобным хлопотам привычного, занятие.

Я перенес в кухню сумку с фруктами, шампанским и большой коробкой достаточно хороших конфет, что мне, бедному студенту, удалось-таки раздобыть в условиях разогнавшейся тяжеловесным катком и теперь бешено мчащейся по стране горбачевской перестройки. И, тем не менее, этого должно было хватить, чтобы не упасть в грязь лицом перед любимой девушкой, а заодно еще раз убедиться в том, что Светлана, как говаривал тогда наш брат-студент, девушка с понятием.



Я снова глянул на часы. Без четверти три. Наверное, я пришел слишком рано из-за боязни не управиться до вечера. Но, следуя принципу «лучше прийти пораньше, чем вдруг опоздать», я никогда не прогадывал, так как всегда располагал запасом времени. Хотя бы для того, чтобы о чем-нибудь поразмышлять, помечтать или попросту передохнуть. И к тому, и к другому, и к третьему меня, чуть подуставшего, вскоре и склонило.

Я завалился на старый, предсмотрительно разложенный Глебом диван, выслушав ворчливое скрипение его пружин, и предался сладостным мечтам. И не заметил, как уснул. И приснилось мне, что пришла Света. Сначала она стояла в прихожей и улыбалась. Потом подошла ближе и положила мне на лоб свою нежную ладонь. И вдруг испуганно воскликнула: «Ой, да ты же весь горячий!» — и куда-то исчезла. На самом деле я был разбужен громким звонком будильника. Приподнявшись на локтях, я несколько раз позвал Свету. Оглядывая комнату, некоторое время соображал, где нахожусь. Будильник продолжал звенеть, неприятно воздействуя на мой слух. Поняв, что будильник где-то подо мной, я свесился к полу и стал шарить рукой под диваном. Завод будильника закончился в тот самый момент, когда я наткнулся на него. Повалившись на пол, будильник обиженно звякнул. Квадратный старый будильник отечественного производства с черным корпусом и крупным белым циферблатом большими черными стрелками показывал двадцать пять минут четвертого. Вполне возможно, что, уходя на работу, Глеб — любитель всевозможных подвохов и коварных сюрпризов — нарочно завел его, чтоб разыграть нас со Светой. Я отбросил будильник к коврику и поднялся. До прихода Светы оставалось целых три с половиной часа, а у меня, точнее у Глеба, мебель еще не вся протерта, ковер с диваном не пропы-

лесошены и полы нигде не вымыты! В подобные минуты я оказывался чрезвычайно проворным. И сорока минут не прошло, как полы везде радостно заблестели. Ванне, раковинам и унитазу я тоже придал некоторую чистоту. Затем вытащил пылесос, включил его и тщательно прошелся по дивану и коврику вместе со злосчастным будильником. Задвинув пылесос на место, я прошел в кухню и отыскал там хрустальную вазу. Вымыл ее и принялся мыть яблоки. Они были большие и в вазу все не помещались. Поэтому одно мне пришлось съесть. Причем получилось это чисто машинально, так как я был все же голоден, а молодой организм требовал витаминов. Отнеся вазу в большую комнату, я поставил ее точно на середину стола. Большие красные яблоки в вазе хорошо смотрелись на старинном круглом столе среди комнаты. Затем я принес коробку конфет и бутылку «Советского» шампанского. Натюрморт оказался более чем подходящим.

Ополоснувшись прохладной водой из-под душа, я насухо вытерся полотенцем и приоделся в приобретенные на рынке джинсы и фирменную майку. Зачесал перед зеркалом свои вихры и сам себе улыбнулся. Все было — тип-топ!

Вернувшись в зал, я взял будильник и поставил на небольшой, достаточно уже поработавший французский телевизор Tomson, который Глебу по великому благу удалось заполучить со складов телецентра «Останкино» как списанное имущество, и оглядел комнату: все ли в порядке, ничего не упустил? И в очередной раз мое внимание привлекла дверь, что находилась между гардеробом и шкафом. Я никогда не был за нею и не знал, что там. Любопытство и вместе с тем настороженность сделали свое дело. Непроизвольно рука моя потянулась к дверной ручке. Дверь оказалась не запертой и, коротко скрипнув, подалась.

Небольшое помещение назвать чуланом, как раньше ошибочно я ду-

мал, было бы так же неудачно, как лисью нору пещерой. Несомненно, это была вторая комната площадью не менее восьми квадратных метров, самая обычная маленькая комната с тусклым освещением и почему-то с невыключенной лампочкой ватт шестидесяти под потолком и без окна. То есть окно, конечно же, было — ибо как ему не быть в таком доме! — но оно, как и стены, было заклеено невзрачными бледно-зелеными обоями с незамысловатым рисунком. Однако самая главная необычность комнаты состояла в том, что строго посередине нее находилась странная конструкция, состоящая из цилиндра серебристого цвета высотой метра два и диаметром несколько более метра и пристроенных к нему зеркал. Разнесенные на одинаковые друг от друга расстояния четыре двухметровой высоты зеркала в ширину были примерно сантиметров шестьдесят. Вся конструкция со всеми ее элементами прочно стояла на полу, поддерживаемая четырьмя коротенькими ножками-опорами.

Мелькнув в ближайшем от меня зеркале, я не спеша направился вокруг цилиндра, поочередно отражаясь и в трех последующих зеркалах причудливой конструкции, и все они, как одно, с точностью повторили каждое мое движение. Чем же могло быть это странное с виду сооружение? На самом деле оно могло быть чем угодно! Ведь чего только не изобреталось, не изготавливалось кустарным способом смекалистым, способным на всякого рода выдумку, остроумным, рукодельным населением в то сложное, трудное, сумбурное, разудалое перестроечное время конца восьмидесятых — начала девяностых годов для того, чтобы выжить, просуществовать в очередном наступившем дне или, если позволяет высокое служебное положение, воспользоваться ситуацией и разбогатеть! При желании и без него буквально всюду можно было встретить, обнару-

жить, увидеть, найти и приобрести всякое и разное. От запрещенных законом самогонных аппаратов до кухонного набора для художественной нарезки овощей к праздничному столу! От кооперативной одежды до кассет с музыкальными записями в многочисленных палатках студий звукозаписи! От видеосалонов, где можно было посмотреть запрещенные некогда фильмы иностранного производства, до семейного подряда рестораников или видеокафе с телевизорами по стенам, экраны которых почти непрерывно показывали зарубежные музыкальные клипы, и с диковинными тогда микроволновыми печками и приготовленными в них горячими бутербродами в виде французской булочки, но с расплавленным внутри сыром! От нетрадиционных методов лечения, изобретенных сомнительными личностями, сладкоречивыми и крайне вежливыми, чем очень угодными вниманию чрезвычайно загруженных домашними проблемами, совершенно забывших ласковое слово и ласковое обращение хозяек, до справочников с вымышленными именами, фамилиями и телефонами профессоров и прочих корифеев медицины, продаваемых аферистками на привокзальных площадях! От пестрых настенных плакатов и карманных календарей с фотографическими изображениями полуобнаженных девиц до тоненьких книжечек бульварных романов и прочей эротической прозы. От самодельных украшений искусных умельцев, помногу часов работающих за шлифовальными станками, например, в художественно-техническом кружке какого-нибудь дома культуры, до красочных тряпичных кукол на рынке, умело изготавливающихся в домашних условиях руками одной молодой супружеской четы спортсменов-фигуристов, чей общий заработок от ледовых спектаклей был недостаточным для того, чтобы прокормить будущего ребенка. Так и в этой конструкции,

несомненно, был заложен некий смысл. Но только что мне до него, если я собирался провести время наедине с любимой девушкой?! К тому же было совершенно очевидно, что конструкция эта не поедет, так как у нее нет колес, что она не полетит, так как у нее отсутствуют крылья, и совершенно точно уже на воду не опустится и не поплывет, так как у нее нет гребного винта!.. Конечно, с некоторой долей иронии можно было предположить, что сия конструкция отдаленно могла бы сойти за машину времени, но идеей создания подобных машин Глеб точно не болел. Уж кто-кто, а я-то знал это наверняка. Хотя в наше время всякое возможно. И все же, что ни говори, а гадать и размышлять по этому поводу я особого желания не испытывал. Я не за этим сюда пришел. Меня ожидали более приятные моменты. На что, по крайней мере, я искренне надеялся.

Я повернулся к выключателю, чтобы потушить свет, как раздался громкий щелчок и послышалось шуршание, похожее на шуршание сухих опавших листьев в осеннем парке. Эти звуки за моей спиной заставили меня насторожиться. Я медленно повернулся и чуть не вскрикнул от изумления. В комнате возле каждого зеркала спиной к цилиндру стояли люди. Это были четыре абсолютно незнакомых мне человека. И они же были все как один похожи на меня! Абсолютно похожи! Идеально похожи! Это были четыре я! Да — четыре я! И даже одежда у них была такой же, что и на мне!

Оправившись от шокирующей внезапности, я медленно приблизился к ближайшему двойнику и взглянул ему в глаза. Они ничего не выражали, они были пусты, но вдруг оживились. В них появилось осмысление. В них появился интерес к жизни, как позже заключил я. Однако то обстоятельство меня тогда почему-то не затронуло. Я обошел всю конструкцию со всеми ее зеркалами и визуально познакомил-

ся со всеми четырьмя стоявшими перед ними незнакомцами, скорей всего, из зеркал тех же, будто из недр цилиндра вышедшими, но до этого, без всякого сомнения, находившимися непосредственно в нем. Все четверо стояли неподвижно, и в их многозначительном молчании ощущалось ожидание. Чего именно? Мне оставалось лишь гадать.

«Они словно заранее знали, во что я буду одет», — подумал я, оглядывая их.

— Вы кто? — рискнул спросить я и увидел непонимание, а потом глубокую сосредоточенность на лицах незнакомцев.

«Да, действительно, до чего же сложный вопрос, — подумал я. — Интересно, сколько Глебу пришлось побегать по стране, чтобы найти и привезти в Москву столько моих двойников? И ради чего? Ради того, чтобы разыграть меня? Огорошить? И если так думать, то не слишком ли обременительно это было для такой пустячной забавы? И смысл в том какой? К тому же как они все вчетвером могли разместиться в этом цилиндре? Не тесновато ли было?»

— Эй! — обратился я к ним. — Вы что же, так и будете стоять, как истуканы?

Я сделал небольшой шаг вперед, и, к моему удивлению, мои двойники сделали то же самое, ровно на один небольшой шаг отойдя от своих зеркал. Как будто все одинаково видели и меня и друг друга сквозь серебристые стенки цилиндра.

Я сделал приставной шаг в сторону — вправо, и они повторили и это мое движение, сместившись по кругу против часовой стрелки. То есть не повторили, а сделали это почти что вместе со мною! Почти что одновременно! Я подпрыгнул — и все четверо тоже оказались головами под потолком. Тогда я начал прыгать на месте, вразнобой, меняя темп и высоту прыжков, стараясь сбить их с толку, запутать. Они не отставали. И получалось, что все



впятером мы прыгаем как один, то есть как я!

Я остановился, и они тоже замерли, молниеносно застыли каждый на своем месте, продемонстрировав поразительнейшую реакцию.

— Интересное кино!.. — проговорил я, переведя дыхание, но сказанное мной послышалось мне так, как будто произнесено это было хором в пять глоток и ртов. Я даже присвистнул от удивления, и, как оказалось, дружным посвистом.

— Вы что же, так и будете повторять вместе со мной каждое мое слово и каждый мой жест? — спросил я, но показалось, как будто я спрашиваю об этом и самого себя тоже. Я почувствовал себя удрученным. Как от чьей-то нехорошей, злой шутки. И вдруг решил спеть. Но не просто спеть. А не допеть. То есть предоставить допеть куплет двойникам. Мне интересно было посмотреть, что из этого получится. Я громко начал:

*Кто ходит в гости по утрам,  
Тот поступает мудро!  
Тарам-парам, парам-тарам,  
На то оно и...*

Я задержал дыхание. В комнате повисла напряженная тишина. «Кто первый?» — промелькнуло у меня в голове. И я резко выпалил: «Утро!» И двойники также громко повторили. Правда, на доли секунды, как мне показалось, я их все-таки опередил. Или, может быть, все же показалось? Как же хочется хоть иногда желаемое выдать за действительное! Хотя бы для успокоения души. Пусть даже временно и мнимого.

Я молча изучал своих двойников, внимательно оглядывая каждого. Со своих сторон они проделывали то же самое. И я решил, что лучше всего пока будет сохранять молчание, ведь если не хочешь слышать свой голос и произносимые тобою слова одновременно со всех сторон, то невольно предпочтешь молчание. По крайней мере для того, чтобы сохранить спокойствие, хладнокро-

вие и чтобы просто подумать и взвесить возникшую прямо-таки фантастическую ситуацию.

Итак. Какими они, эти мои двойники, должны быть внутренне, если они с необычайной легкостью, быстротой и точностью все повторяют за мной и вместе со мной делают все, что и я, — говорю, двигаюсь, — причем не ошибаются? Хотя не об одних повторях, собственно говоря, тогда могла идти речь, ведь они каким-то необъяснимым образом умудрялись не только одновременно со мной произносить слова и выражения, но делать это, соблюдая даже интонационную точность и эмоциональную окраску моей речи!

Подозрений на то, что эти странные мои двойники не только угадывают мои мысли, но и заранее знают о том, что я хочу сказать или сделать, скопилось в моей голове достаточно, чтобы прийти к определенным выводам. Было ясно, что ни одной тренировкой невозможно достичь подобных результатов, потому что это не просто невозможно, а потому, что это просто немыслимо! Но если это каким-то образом все же стало реальным, то откуда Глеб их вытащил, таких? Где отыскал? Откуда привез, наконец?

Словно от предчувствия чего-то, мне вскоре захотелось позвонить в НИИ Глебу.

Я повернулся к двери, но, не сделав и шага, столкнулся со всеми четырьмя моими двойниками, которым, как и мне, захотелось сделать то же самое. Удержавшись на ногах, я замер и попробовал сосредоточиться, глядя на дверь комнаты передо мной. Внезапно я понял, что необходимо сконцентрировать всю свою энергию в один молниеносный прыжок. Чтобы выйти из комнаты, необходимо опередить их. Это я и попытался сделать. Только получилось не совсем так, как я рассчитывал, и все вместе мы застряли-таки на одно мгновение в восьмидесятисантиметровом дверном проеме, и чуть не снесли косяки и шкафы за дверь, и чуть не

переломали друг другу кости! К счастью, пусть между собой и потолкавшись немного, мы все же преодолели ставшее общим теперь для нас для пятерых препятствие и теперь сидели на полу большой комнаты в одной и той же позе, опершись на руки.

«Ага, — подумал я в наступившей тишине. — А инициатива-то исходит от меня! От меня все-таки!.. Значит, все не так уж и плохо. Не так уж и плохо все! Не так уж...»

— Молодцы ребята, ничего не скажешь! — похвалил я, то есть мы. — Но, может, все-таки отстанете? Надоели уже как будто... Со знательность надо иметь. И чувство меры, кстати, тоже бы не помешало.

В коридоре зазвонил телефон. «Светка!» — была первой мысль. «А если — Глеб? — возникла мысль вторая. — Подойти — не подойти?»

Я понимал, что в любом случае и то и другое хорошо. Сейчас как никогда мне хотелось услышать голос Светы, а Глебу — так просто высказать, да, именно высказать, а не рассказывать о том, что тут у него творится.

Правда, как теперь это сделать? Одному? Без этих? Ведь наверняка же не получится одному! Тогда что же? Ждать, когда Глеб придет с работы? А вдруг он не придет? А вдруг он ничего не сможет сделать даже когда и придет? Мне что же, всю жизнь так с этими четырьмя молодцами-близнецами мотаться? От этой мысли мне едва не сделалось дурно. Тем временем телефон на комодке продолжал настойчиво звонить.

Я мгновенно вскочил и изо всех сил рванулся в прихожую. Четыре моих я завозились у комодка. Вместе с трубкой мы уронили и телефон и снова оказались на полу очень тесно друг к другу, так как сестра на один-единственный стул в прихожей не представлялось возможным сразу пятерым пусть и не гренадерского, но все-таки далеко не слабого вида молодцам.

«Да, ничего себе вечеринка... — подумал я. — И зачем я только по-

лез в эту чертову комнату? Сидел бы и сидел себе на диване, телевизор смотрел, Светлану бы дождался! Все же, наверное, правы те, кто говорят, что излишнее любопытство — грех. Не заглянул бы я в ту комнату, и ничего бы не случилось. Теперь сиди вот и думай, что дальше делать...»

А делать что-то было просто необходимо, ибо под лежачий камень, как известно, и вода не бежит!

Я с ненавистью посмотрел на своих странных двойников и то же самое увидел и в их глазах. И меня вдруг охватил смех. Вскоре старые, обветшавшие обои прихожей-коридора задрожали от громкого, в унисон звучащего ржания пятерых парней. Когда приступ смеха прошел, я вновь попытался проанализировать ситуацию.

Итак. Если в комнате эта конструкция является не чем иным, как чьим-то изобретением, то и мои двойники, соответственно, тоже являются изобретением. Точнее сказать, плодом изобретения. То есть группой людей, не родившихся человеческим путем от общего, взаимного усердия в постели будущих папок и мамок, а появившихся на свет божий путем искусственным, выражаясь точнее, путем моего зеркального отражения, отражения в его зеркалах, для чего Глеб по стечению обстоятельств, скорей всего, и выбрал меня. Да, опрометчиво же я поступил, уловив во взгляде Глеба знакомую мне хитринку, какая обычно у него появляется, когда он затевает что-то такое лишь одному ему известное, и не обеспокоился. Все же любопытно: способны ли были эти искусственные мои двойники мыслить или попросту почти мгновенно считывали с моих мозговых полушарий мысли?

И тут мне показалось необычайно забавным выйти на улицу. Идея узнать, что из этого получится, как на это отреагируют прохожие, показалась мне заманчивой и интригующе веселой. К тому же ждать Светлану здесь в квартире мне показалось не

совсем правильным: ведь она могла испугаться, увидев пятерых совершенно одинаковых типов в одинаковых джинсах, в одинаковых майках, с одинаковым выражением глаз, говорящих не в разнобой, а одновременно, с одной и той же интонацией и эмоциями! Лучше будет подождать Свету на улице. А увидев, не подходить к ней, а позвать издали. И лучше вполголоса. Зайдя за какой-нибудь кустарник в сквере.

Опять завожившись в дверях, мы все же выбрались из квартиры, затем преодолели проем подъездной двери и дружной ватагой вывалились наружу. Никто из жильцов подъезда нам не встретился. Наверное, это было хорошо, так как последствия от встречи могли быть самыми неожиданными.

Теплый майский вечер, заходящее солнце, воздух, пропитанный мечтами юности, и безветренная погода несколько приподняли мое настроение. Даже вселили надежду и некоторую уверенность в том, что вся происходящая со мной неразбериха — явление все-таки временное и обязательно пройдет, когда придет Глеб, который, разумеется, знает, что делать, чтобы избавить меня от этих назойливых двойников.

Двигаясь ровной шеренгой, как солдаты на плацу, плотно прижавшиеся плечами, мы прошли вдоль дома, расчищая дорогу от редких, несколько удивленных встречных прохожих. Дружно завернули за угол. Там возле выезда на шоссе стоял старый «москвич», а рядом с ним мужчина средних лет, очень похожий на Утесова в его экстравагантной белой шляпе. Взглянув в мою (нашу) сторону, мужчина обрадованно попросил:

— А ну-ка, ребятки, вовремя вы тут оказались, подсобите-ка старику...

— Что, подтолкнуть? — сказал (сказали) я (мы) в один голос.

Мужчина улыбнулся и начал объяснять:

— Аккумулятор подсел. Разгонная сила нужна. Старший сын с же-

ной в Казахстан уехали, а младший на границе служит. Одни бабки с клюками у подъездов сидят, да толку с них, что с сивой кобылы, а внуки еще не выросли, силенок у них мало-мало. Кого ж просить, как не пятерых здоровых пареньков? Видать, студенты? Я ведь сам студентом был. Знаю, каково, когда от сессии до сессии, от стипендии до стипендии...

— А запросто! — охотно согласился (согласились) я (мы).

— Вот и хорошо! — обрадовался мужчина, садясь в кабину своего «москвича».

Я (мы) приблизился (приблизились) к машине сзади, чтобы приложить усилия всех пятерых одновременно. Но произошло короткое замешательство, суতোлка — и все пятеро нас уселись на асфальт, не сдвинув автомобиль ни на сантиметр. Мужчина приоткрыл дверцу.

— Ребятки, вы целы или как? — спросил он не выходя из кабины.

— Да целы мы, целы, — ответил (ответили) я (мы). — Просто поспешили немного, вот и завалились. Сейчас вот только поднимемся и еще разок попробуем.

— Да? Ну-ну. — Мужчина захлопнул дверцу. — Вы только дружнее давайте, ребятки, а то мне ехать давно уже пора. Бабка моя ругаться сильно будет, коли поздно приеду. Она у меня такая, знаете, сердечная, что ли, переживает все очень сильно.

Я (мы) поднялся (поднялись) — и вторая попытка закончилась с тем же результатом: столкнувшись между собой плечами, мы опять не устояли, повалились и сидели, опершись на свои широко расставленные за спинами руки.

Мужчина выбрался из машины. На его лице преобладало одно сплошное недоумение. Он сосредоточенно разглядывал меня (нас) одновременно и каждого из нас в отдельности. Облокотившись рукой о край крыши, он словно пытался найти в нас различия.

— Ребятки, а вы что же это... случайно не из «белых столбов»



будете? — с шутливым подозрением спросил он наконец.

— Не-а, не из «белых». Мы из института. Студенты мы, — ответил (ответили) я (мы).

— Да вижу, что студенты! Сам студентом был... Да что-то очень странные вы какие-то... студенты. А может, вы, это, не большими ли сделали?

— Есть чуток, — решил (решили) подыграть я (мы). — Как раз сегодня у нас это... как его... обострение, вот!

— То-то я гляжу, ничегошеньки у нас не получается...

— Это пока, папаш, не получается... А вот сейчас как раз получится! — горячо заверил (заверили) я (мы). — Все сейчас получится! Вы только в машину садитесь. Сейчас еще разок попробуем. С третьего раза точно получится. С третьего раза у нас обычно получается...

— Да? В самом деле? — Мужчина повернулся и в некотором смятении в который раз уже стал садиться за руль своего старенького «москвича», а я тем временем попробовал прикинуть в уме, как избежать этой нелепой толкотни при одновременности одинаково направленных действий. Ответ пришел очень быстро.

Итак! Задаваясь целью что-то сделать, нужно не думать о том, каким образом ты собираешься это сделать, а сконцентрироваться на самом факте действия, исключая частные моменты конкретного для каждого приложения сил. А именно необходимо было постараться думать о самом факте действия как о не имеющем предпосылки к этому действию. В данном случае я должен думать не о том, как именно я буду помогать, а о том, что я буду это делать! И еще. Что если попробовать думать не о себе и не от себя, а о нас и от нас, вместе взятых, как от общего целого? Система отдельного «я» и отдельного «мы» в таком случае должна будет переходить в некоторую систему общности, то есть в систему «я — мы». А из

этого следует, что — не обособляться, а слиться! Не «я» и «они», а «мы», именно «мы». И именно такая система, по моему мнению, должна была заработать наверняка и точно.

Мы дружно поднялись и налегли на машину, схватившись в пяти разных местах, — и все действительно получилось! Разгоняемый нами «москвич» выкатился на центральную дорогу и так стремительно побежал по ней, что мужчина начал кричать нам что-то из кабины. Наверное, благодарил от радости. Решив, что на этот раз уже все, мы остановились. Однако мотор «москвича» молчал. Он не завелся!

Мужчина вышел из машины.

— Вы что же это, ребята, никак угробить меня удумали? — произнес он с досадой. — Рано!.. Рано мне еще помирать-то, ребята, рано! Мне ведь еще внуков взрослыми увидеть хочется! А вы погнались — да чересчур перестарались! Я же автомобилист, а не летчик-истребитель, и машина у меня, сами видите, старенькая. И ведь кричу же, кричу: «Подожди! Остановись!», а они как будто и не слышат ничего! Прут, как бульдозеры на свалке! Вы что же это, ребята, еще и плохо слышите?

— Да нет же, папаша, слышим мы хорошо, просто увлеклись на радостях, ну что машина покати-лась, — ответили мы. — Вот и не расслышали.

— Ах вот оно что. Слышали, но не расслышали. Не поняли, значит. На радостях! Ну-ну. На радостях-то оно, конечно, бывает, — смягчился мужчина. — А вы что же это, как я погляжу, братьями никак будете? Похожи уж очень. Как двойняшки.

— Ага. Только мы — пятерняшки! — нашелся оптимальный ответ.

— Пятерняшки? Ну-ну, — усмехнулся мужчина, достал из кармана серебряный портсигар и зажигалку, закурил. — Ну да! Конечно, пятерняшки! Как же это я сразу-то не сообразил, что, до пяти считать умею?! А как же звать-то вас, пятерняшки?

— Иннокентий, — ответили мы.

— А, Кеша, значит?! Гм... Это что ж, всех пятерых одним именем никак назвали?

— Ага. Всех пятерых одним именем, — пришла мне в голову следующая более или менее подходящая мысль. — Нас при рождении так одним именем назвали. Чтобы мама не путалась. Да так вот и осталось.

— Гм... Бывает же такое... — буркнул мужчина и, взглянув на часы, бросил папироску и опять полез в кабину. — Ну, ребята, тогда еще разок попробуем?! Подтолкнем ее, родимую, как следует?!

— Подтолкнем! — хором отозвались мы и подтолкнули. На этот раз все вышло, как должно было, мотор завелся, и старенький «москвич» вскоре соединился с общим потоком машин на дороге. А мы, пять совершенно одинаковых парней, одинаково стояли на дороге и одинаково махали ему вслед правыми руками.

Внезапно мое сознание как будто прояснилось, и я серьезно испугался. А испугаться действительно было от чего. Ведь я смотрел на дорогу уже не только своей парой глаз — я всеми пятью парами глаз уже смотрел на дорогу и видел ее и проносящиеся мимо автомашины с пяти близко расположенных точек одновременно!

Я с ужасом понял, что, сознанием подчинившись общему, я начинал терять себя, терять собственное «я», терять свою индивидуальность. Еще немного — и я, наверное, перестану быть собой, окончательно сольюсь с этими двойниками и навсегда потеряю себя! И буду уже не я, а — мы, всегда только мы!

Я с презрением посмотрел на четырех своих двойников и, конечно же, прочел в их глазах то же самое. И вдруг вспомнил, что не закрыл дверь квартиры, выходя на улицу. Я и мои двойники одновременно ринулись к пятиэтажке, к третьему подъезду, и вскоре уже были возле его дверей. А из подъезда тем временем выходил невысокий, из-

рядно пропитой наружности мужичок в выцветшей клетчатой рубашке навывпуск, в серых широких штанах и сандалиях на босую ногу. В руках мужичок держал телевизор Tomson, на котором стоял большой, страшно, до боли знакомый мне черный будильник, и воровато озирался по сторонам.

— Телевизор оставил, ты! — громко грянули мы, живой стеною став перед грабителем.

Мужичок вздрогнул, застыл на месте, испуганно тараща на нас глаза, и чуть не выпустил телевизор из рук. Действуя тем же методом, что и во время толкания «москвича», мы и тут успели — подхватили телевизор, да так удачно, что будильник на его крышке и на миллиметр не сдвинулся. Когда же мы подняли наши пять пар глаз, никто перед нами уже не стоял — убежал шустрый мужичок. В голове мелькнула догадка, что у него вполне могли быть сообщники. Из числа собутыльников, естественно. И мы, стараясь по возможности быстрее, кое-как с телевизором в многочисленных руках все же добрались до приоткрытой двери. В квартире определенно кто-то находился. Да только пятерых молодцов это вряд ли могло остановить! Мы гурьбой протиснулись в прихожую-коридор, откуда через открытое пространство зала я увидел Светлану, собирающуюся войти внутрь потаенной странной комнаты.

— Света, стой! Не входи туда! Подожди! — испуганно и предостерегающе заорали пять глоток, и Света мгновенно повернулась на крик, замерла и в изумлении опустила на пол, спиной опершись о стенку шкафа.

Ухитрившись поставить телевизор на место, мы обступили мою девушку.

— Так, и кто же из вас Иннокентий? — не теряя самообладания, спросила Света. Однако мне хотелось, чтобы она сама отгадала, и поэтому смолчал.

Света попыталась подняться из неловкого положения, и я (мы) протянул (протянули) ей руку (руки).

— Спасибо, — сказала Светлана, вставая, кстати, безошибочно выбрав из пяти правых рук именно мою руку, и я внутренне возликовал, с явным превосходством глянув на своих двойников. А они, странные, ликовали так же, да и так же, как и я, на меня все глянули. И пусть это может быть и выглядело нелепо, но было действительно смешно, потому что причина на то была лишь у меня, у меня одного, но никак не у этих четверых, лишь внешне на меня похожих! Я же ликовал еще и потому, что подобный выбор всегда будет не в их пользу! По крайней мере, пока я не устану держаться самого себя, пока у меня хватит сил воевать не только с самим собой, но и с этими незваными двойниками, пока я буду в состоянии не сливаться с ним, мысленно отделять их от себя! И пока моя Света будет рядом!

— Двойники... — с иронией произнесла Света, оглядывая нас. — И говорят одновременно... Странно. Или, может, это шутка такая?

— Да уж лучше бы шутка... — вздохнул (вздохнули) я (мы). — Света, как ты вошла?

— Как я вошла?.. А как я вошла? Да как все люди входят — через дверь. Она же открыта была, вот я и вошла. Я когда еще в подъезд входила, смотрю, мужичок какой-то из этой квартиры выходит, телевизор с будильником тащит. Ну, я и решила, что это и есть твой Глеб, но на всякий случай спросила: «Вы — Глеб?» А он посмотрел на меня испуганно, потом — на лестницу, на входную дверь, и говорит: «Глеб, Глеб, а кто же еще? Живу я тут. А вам чего?» Ну, я тогда про тебя у него и спрашиваю: «А Иннокентий где?» А он посмотрел на меня так... и говорит: «Какой Иннокентий? Ах, Иннокентий? Так он в магазин пошел!» Я — ему: «А телевизор — куда?» А он мне: «В ремонт, девонька, телеви-

зор я несу». Я — ему: «И будильник тоже?» А он мне: «И будильник, и будильник, милая, тоже». Потом посмотрел так на меня еще разок и говорит: «А ты девонька, девонька славная, девонька ладная, не стесняйся, заходи к Иннокентию-то своему, заходи, а я скоро буду. А как приду, мы с тобой и посидим часок-другой на пару, время скоротаем, чайку попьем, о том да сем побалакаем, пока Иннокентий твой в отсуствии. Вот только телевизор в мастерскую загоню, и за бутылочкой сразу, закусок там разной, конфеток к чаю прикуплю, а потом мы с тобой по рюмочке за знакомство, как говорится, и пропустим. Ты же только дверку эту на замочек-то не закрывай, не закрывай, девонька, а то ж ведь я ключи свои Иннокентию отдал, а он мне позвонил и сказал, что потерял их, из кармана обронил, а где, не помнит, а замок этот сломан, заедает. Изнутри его если закрыть, он потом не откроется. Надо будет в домоуправление идти слесаря звать. А он на кой ляп нам с тобою, девонька ты моя, сдался, слесарь этот? Лишний рот да лишняя глотка! Ему ведь, девонька ты моя ладная, наливать тогда придется. А он чего доброго глаз на тебя положит. Вот ведь история как получится может!» Ха-ха! Не старик, а умора! Ну, я удивилась, конечно, но дверь закрывать не стала. Так открытой и оставила.

Я (мы) сокрушенно покачал (покачали) головой (головами).

— Значит, прийти обещал? — сказал (сказали) я (мы). — Ну это уж вряд ли!

— Так это был... не Глеб? — спросила Света.

— Да какой там Глеб?! — вознегодовал (вознегодовали) я (мы). — Алкаш несчастный! Воришка! Крохобор! Вот кто это был, Света! А ты не поняла. Он ведь мог!..

— Что? Что он мог? — Света игриво улыбнулась. — Изнасиловать меня, да?

Я промолчал, решив не развивать эту тему. Мне как можно скорее



хотелось избавиться от двойников. Ждать, когда придет Глеб, может быть слишком рискованно, потому как может оказаться слишком поздно. Надо попробовать сделать это самому. Получится ли, нет, но попытаться надо!

— Что случилось? — спросила Света. — Эти двойники... Откуда они?

— Из этих зеркал, — сказал (сказали) я (мы), жестом показав вглубь комнаты.

— Из зеркал?

— Да, из зеркал. А точнее — из того вон цилиндра. И они не настоящие, — начал (начали) объяснять Светлане я (мы). — Они не люди. Они что-то вроде людей. Но они — не люди. Они лишь созданы по подобию человека, по моему подобию в данном случае, но созданы бесстрастной, не знающей любви машиной. Я ничего не знал, когда слишком близко подошел к ней, к этой конструкции с зеркалами. Эти двойники!.. Я с ними чуть с ума не сошел! Я с ними чуть себя не потерял, Света! Я чуть не потерялся среди них, понимаешь? Я даже подумал, что до конца жизни с ними вот так и буду! Что сольюсь с ними в одно целое и больше никогда, никогда не смогу быть собой! Потеряю свою индивидуальность и уже не буду отдельной личностью! Потому и за тебя так испугался, когда увидел, что ты в ту комнату входишь. Я бывал в этой квартире и раньше, когда тетя Глеба Анна Моисеевна еще жива была. Но я никогда не заходил в ту комнату! Поэтому для меня она не существовала. А теперь я вошел туда, потому что дверь была не заперта, а в самой комнате горел свет. И получилось, что вошел один, а вышел... вышло, сама видишь, что... Теперь хочу сделать наоборот. Думаю, получится. Ты только неходи туда, девонька ты моя славная, девонька ты моя ладная. Вот телевизор лучше включи. Он должен работать... Светка! Я так рад, что ты пришла! Я ждал! Порядок вот навел. И я умру, если ты уйдешь! Просто умру...

— Не умирай, я этого не вынесу! — поспешила успокоить меня Света. Она обняла меня и — о, завидуйте, двойники! — поцеловала. — Ну, куда же я от тебя уйду, ты хоть подумал? Никуда я отсюда не уйду. Ты слышишь меня? Никуда. Я буду здесь. До тех пор, пока все не станет на свои места. А если от меня будет что-то зависеть...

В эту минуту мне захотелось заключить Светлану в объятия, но я насили и, кстати, вовремя сдержал себя, прекрасно понимая, что станет со Светой — ведь эти двойники мои все разом устремятся сделать то же самое!

— Все будет в порядке, — твердо сказала Света. — Я уверена в этом. Ты найдешь ключ к разгадке, Иннокентий, и избавишься от них. Я уверена и потому спокойна. Ну давай, давай же, иди, устрой им веселую жизнь! Мне нужен один, только один, и настоящий. А один настоящий — это ты, Иннокентий!

Я внутренне возликовал, а Света прошла к тумбочке с телевизором, подключила к нему антенну, включила его, затем взяла из вазы большое красное яблоко, задорно подмигнула мне, скинула туфли и с ногами забралась на диван.

— Только возвращайся поскорей, хорошо? — вдруг жалобно попросила она. — А то я скучать уже начинаю.

Я впервые улыбнулся после моего знакомства со странными двойниками, и мне было совершенно наплевать, улыбнулись они точно так же или нет.

Мы — я и все четыре моих искусственных двойника — аккуратно, хотя и не без усилий, втиснулись в злосчастную комнату с заклеенным обоями окном, с тусклой, в шестьдесят ватт, лампочкой под потолком и серебряного, двухметрового цилиндра. И тут я заметил две стрелки на полу, на которые раньше не обратил внимания. Они были нарисованными цветными фломастерами. Так

бледно, что в глаза не бросались. Одна — желтая, другая — красная. Желтая была больше и располагалась подальше от всей конструкции. Красная была меньше и располагалась внутри, за желтой стрелкой. Желтая стрелка показывала круговое направление против движения часовой стрелки, красная — наоборот, круговое направление по часовой стрелке. И желтая и красная стрелки, как я понял, были не чем иным, как направлением запуска механизма «туда — обратно». Я, двигаясь против часовой стрелки, сам дал команду механизму и привел его в действие. По-другому произойти не могло. Теперь следует двигаться вокруг цилиндра, но по направлению красной стрелки, то есть в обратную сторону. И я боком, осторожно, боясь хоть чем-то задеть сию странную конструкцию, двинулся вокруг нее, по часовой стрелке, вместе со всей своей удивительнейшей компанией.

Раз — и боковое зеркало поглотило одного моего двойника. Раз — и другого двойника как будто не было. Раз — и еще один двойник оказался втянутым в зеркало. Остался последний из четырех — тот, что, должно быть, появился первым.

— Ну что? — с некоторым превосходством в голосе сказал (сказали) я (мы, пока еще мы). — А ларчик просто открывался!

Я решительно встал напротив зеркала — и в нем исчез последний мой двойник.

— Неужели все? — сказал я с сомнением, так как все же не верилось, однако никто не вторил ни движениям, ни словам моим, и я, повернувшись, со всего размаха шлепнул ладонью по выключателю и вышел из темноты в зал, плотно закрыв за собою дверь.

Света сидела на диване, распустив по плечам свои светлые волосы, и с радостной улыбкой и восторгом смотрела на меня, как на рыцаря, в смертельной схватке поразившего трех... нет, пяти... нет, девятиглавого дракона!

— Ура-а-а-а! Победа! Мы победили! Победили! — в следующее мгновение радостно восклицала Света, приподнимаясь на коленях и протягивая ко мне свои прекрасные руки. И я, чувствуя себя самым счастливым человеком в мире, весь так и подался вперед — к ее ногам, к ее рукам, к ее губам, к ее поцелуям и объятиям. А с круглого стола тем временем отнюдь не загадочным образом исчезли неоткрытая бутылка шампанского, коробка конфет и хрустальная ваза с оставшимися в ней яблоками...

\* \* \*

Как ужасную и вместе с тем удивительно забавную сказку вспоминая тот вечер, я размышлял над Глебовым изобретением. Меня как гуманитария не интересовали ни

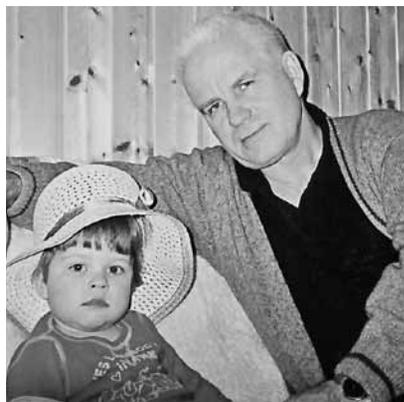
сложности конструкции, ни затраты на ее создание, ни практическое использование, о котором нетрудно было мне тогда уже догадаться: перед моими глазами полк за полком проходили одноликие солдаты; солдаты, готовые к выполнению любого приказа; солдаты, способные на масштабные действия усилими лишь нескольких десятков, а то, может, и всего-то одного или двух человек, как в темном лабиринте потерявшихся в общей массе собственных двойников...

Возвращая Глебу ключи, я в культурной форме высказал ему все, что думаю о нем и о его изобретении в целом, к тому добавив и свое маленькое, сильно напугавшее меня приключение, едва не обернувшееся для меня душевной катастро-

фой, и искреннее беспокойство за Светлану. Я собирался красиво удалиться, не дожидаясь извинений. Однако Глеб внимательно, не перебивая, выслушал меня и спокойно спросил: «А зачем ты вообще туда полез?» А через неделю после этой нашей встречи взорвался газ на втором этаже дома, как раз над Глебовой квартирой. По счастливой случайности никто не пострадал. Погибло лишь Глебово изобретение — оно накрылось обвалившимся сверху потолком и полностью уничтожилось. Самого же изобретателя в то время дома не было. С прилежным старанием Глеб трудился на кладбище. В одиночку устанавливал самодельную металлическую ограду вокруг могилы своей любимой тетушки.

Московская область

## Николай ЗАЙКИН



*Николай Зайкин родился в 1951 году в деревне Березуг Тверской области. Окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Был следователем, с 1992 года — главный редактор журнала «Законность».*

*С юношеских лет пишет стихи. В студенческие годы занимался в литературной студии «Луч» в МГУ у Игоря Волгина, затем — у Юрия Левитанского в знаменитой студии «Зеленая лампа» при журнале «Юность». В 2011 году в издательстве «Время» вышла его книга «Промежутки бытия». Стихи из нее включены в антологию «Молитвы русских поэтов. XX–XXI» («Вече», 2011), вышедшую к тысячелетию русской поэзии.*

*Наш журнал публикует главу из новой книги Н. Зайкина, которая выйдет в свет в будущем году.*

*Даша, Дарья, выплеск, дар,  
Огонек в светлице,  
Нескончаемая даль,  
Стебелек в теплице.*

*Нежный, хрупкий, дорогой  
И родной до боли.  
Родилась она такой  
От Всевышней воли.*

## ДАША

### ДЕТСКИЕ РАССКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Теперь каждое утро мне улыбается дочка Даша.

Недавно ей исполнился год. И она пошла. Наверное, познавать мир. И это познание стало ее изменять. Вот что запомнилось.

Август. Во дворах московских домов торгуют овощами с машин. Мы гуляем. Проходим мимо грузовика-фургона. Вдруг вижу, что Даша отстала. Оглядываюсь: она стоит руки в боки и смотрит



за машину. Зову — не обращает внимания. Подхожу к ней и вижу, что у заднего открытого борта кузова точно в такой же позе стоит азербайджанец — продавец картошки. Стоят и смотрят друг на друга.

\* \* \*

В марте-апреле Даша активно заговорила, смакуя слова. В том числе те, которые придумывала сама, но с известными ей значениями. Так, она не восприняла слово «хорошо». Вместо него с удовольствием произносила на японский лад только ей понятное «сандё!».

\* \* \*

Жарко. Сидим с Дашей на диване. Она держит на коленях блокнот и рисует. Фломастер соскальзывает и оставляет на ее колене яркий след.

— Папа, открой рот!

Открываю. Она сует туда указательный пальчик, слюнит и начинает тереть свою коленку.

\* \* \*

После игр устала, положила голову мне на колени и разговаривает как бы сама с собой о самом разном. И вдруг слышу:

— Вот папочка пойдет завтра на работу... Такой красивый, медленный...

\* \* \*

Нездоровится. Лежу на диване, укрывшись пледом и закрыв глаза.

Даша с мамой возвращаются с гулянья. Снимает куртку и бежит ко мне:

— Пошли играть!

Медленно освобождаю ноги из-под пледа. Даша видит это, обнимает за шею и тянет вверх, приговаривая:

— Быстрее надо! Поднимайся головой!

\* \* \*

На вопрос: «Как тебя зовут?» — чаще всего отвечает:

— Просто Даша.

Многие теряются.

\* \* \*

Вечером читаем книжку. Стихотворения и песенки Даша выбирает сама, поскольку помнит каждое

название и иллюстрацию. Заминка вышла с колыбельной «Спи, моя радость, усни». Не попадает на глаза, и все тут!

Тогда дочка решила перейти к быстрому перелистыванию: при нем все страницы одновременно отгибаются двумя пальчиками, а потом как бы веером проносятся перед глазами. Но пока это ей плохо удается, из-под большого пальчика все время вырывается по несколько страниц. Наконец радостный возглас:

— Мигнуло!!!

Я понял, о чем речь: нужная картинка промелькнула в этом веере и мгновенно исчезла из виду.

\* \* \*

Выражая нежность, Даша крепко обнимает маму за шею и шепчет:

— Мой Бозе!

Она еще плохо выговаривает букву «ж».

\* \* \*

Даша с мамой регулярно читают детские книжки. В них много стихов, которые дочка охотно запоминает. По крайней мере, четверостишия или строки. Сегодня к ней прицепилась строчка: «А вот это дуб зеленый!» Она подходит то ко мне, то к Жене, тычет пальчиком и громко произносит ее.

Вечером купаемся в ванной. Даша плескается вместе с игрушками, а я, устроившись рядом на маленьком детском стульчике, прикрыл глаза. И вдруг слышу:

— Ты что, уснул, дуб зеленый!

Взбодрился тут же.

\* \* \*

Наша березовая аллея. Даша едет на велосипеде. Вдруг останавливается, смотрит на газон, где гуляют собачники.

— Вот собака, залаза! — С буквой «р» у дочки пока тоже не все в порядке.

Поворачиваем к дому. И опять остановка. На этот раз Даша оглядывается назад и видит идущего за нами мужчину.

— Вот дядя идет, залаза!

Он сделал вид, что не услышал, резко повернул и пошел по газону, напрямую.

Маме придется последить за своим лексиконом, чтобы дочка не к месту не заимствовала.

\* \* \*

Даша уже знает, что взрослые пьют вино.

Сегодня, в воскресенье, к Жене приехала Катя, подруга детства. Я возвращаюсь домой после обеда и спрашиваю у дочки:

— Ну, чем они тут занимаются? Тебя не обижают?

— Пьют!

\* \* \*

Даша принимает не все мои предложения. Говорю:

— Давай мы это сделаем, и папа будет доволен.

Она смотрит на меня хитро и отвечает:

— А он и так доволен!

\* \* \*

Вечером Даша самостоятельно разыгралась, и я прилег на диван.

Она, как и многие дети, любит выдвигать ящики и перебирать хранящиеся там вещи. На этот раз ей под руку попала тумбочка с домашней аптечкой, где кроме разных пакетов были еще несколько приборов (большой ванный термометр, массажер и т. п.). Все это она перенесла ко мне на диван, а когда пришло время спать, не разрешала маме сложить вещи в тумбочку.

— Почему?

— Потому что это я папе подарков навалила!

\* \* \*

Рисуем. Линии надоели. Даша перешла к точкам. Ставит она их в изобилии по всему блокнотному листу с размаху и смачно. Я молча наблюдаю. Ее это не устраивает, поскольку многое ей нравится делать вместе.

— Папа, не сиди! Хлопай точки!

\* \* \*

В последнее время мы с Дашей делаем акцент на нашу схожесть (пусть пока и воображаемую). Дело дошло до того, что она утвердительно спросила:

— Папа, правда же, что когда ты был маленьким, ты тоже был девочкой?

\* \* \*

Пора ложиться спать, а Даша упорно одевает кукол, собираясь с ними в бассейн. Уговоры не помогают.

— Но ведь все уже спят. И бассейн тоже.

Это ее озадачивает, но дочка не сдаётся:

— А ты ставишь тапочки, и о них всегда спотыкаются!

Даша приступила к разработке новой тактики защиты своих планов.

\* \* \*

Прививаем дочке спокойное отношение к боли. Она не противится. И уже есть признаки первых результатов.

Играли вчера с ее зверями. Игрушечный электрический динозаврик укусил меня.

— Тебе больно, папа?

— Да, немножко больно.

— А ты будешь плакать?

— Конечно, не буду. Ты же не плачешь, когда тебе больно?

— Нет. Меня комарик укусил, а я радуюсь.

\* \* \*

Очень неожиданно, но формулировка просьбы точна до безукоризненности:

— Папа, помочь немножко можешь? Сними мне штанишки и трусики. А пописаю я сама.

\* \* \*

Тут же вспомнил, что склонность к неожиданностям проявилась у дочки давно. Было ей чуть больше года, когда в ответ на какое-то настоятельное требование она пухленькой ладошкой хлопнула маму по щеке. Та растерялась, но потом, присев на корточки, долго, минут пять, объясняла Даше, что так делать нельзя, что это плохо и т. д. Та стояла насупившись, слушала.

Беседовать в таком положении маме становилось все неудобнее, и она решила завершить разговор вопросом:

— Ну, ты все поняла, доченька?

А доченька выдержала паузу, подняла глаза и без замаха снова звонко приложила к маминой щеке. Тем и закончилась первая попытка растолковать Даше очевидное.

Но вообще она растёт очень ласковой девочкой и все больше понимает самостоятельно.

\* \* \*

Постоянно стараемся, чтобы дочка видела гармонию в окружающем. Даже выбирая одежду для прогулки, она всегда отмечает, что платьице в тон колготкам и обуви.

Мама прилегла на кровать, убранный покрывалом, не сняв легкие домашние шлепанцы, и тут же получила выговор:

— Нельзя так делать, сними тапочки. Красота же нарушается!

\* \* \*

Если мы с дочкой расстаемся или встречаемся, то целуемся.

Недавно она сопроводила очередное такое действие пояснением:

— А я папину поцелуйку язычком слизываю!

Без комментариев.

\* \* \*

Отличие детского сознания от взрослого проявляется самым неожиданным образом.

Сегодня Даша брала на улицу велосипед и упала с него. Но не плакала, потому что мама тут же помогла ей и еще раз объяснила, что так бывает у всех маленьких. Тема продолжилась дома, в моем присутствии:

— И папа, когда был маленьким, тоже падал с велосипеда?

— Конечно.

— А кто ему помогал подниматься? Тоже ты?

Мама растерялась. И немудрено.

\* \* \*

Дочка все еще заботится обо мне.

Сегодня таким вот образом:

— Держи нос ровнее! — крепко взяла его двумя пальчиками и потянула вверх.

Видно, о чем-то призадумался я в это время и имел озабоченный вид...

\* \* \*

Продолжаю удивляться. Никогда бы не придумал сказать так:

— Папа, давай сначала другой, а потом один раз.

От перестановки двух слов привычная фраза изменилась до неузнаваемости.

\* \* \*

— А зачем девочка залезла на дерево? Чтобы упасть?

Есть резон в вопросе. Не детский.

\* \* \*

— Пойдем со мной в спальню.

— А что мы там будем делать?

— Я буду тебя одевать.

Из комода на кровать уже выложена гора Дашиных нарядов: платье всех расцветок, юбочки, футболки, майки, штанишки и что-то еще.

— Когда я тебя одену, то все скажут, что ты самый красивый и любезный.

Начинаем с того, во что влезает моя голова. Такого набралось около десятка. Потом одеваются мои плечи, живот, руки, ноги...

Но дочка начинает уставать, хотя груды вещей остается внушительной. Она останавливается, критически осматривает меня и решает:

— Все, хватит. Ты уже красивый!

А вот побыть любезным мне в этот день так и не довелось.

\* \* \*

Говорят, для родителей дети взрослеют неожиданно, «рывками». В их поведении появляются совершенно новые мотивы. У Даши тоже.

Вчера вечером она минут двадцать занималась мной. Нежно лечила. Сначала делала уколы, используя в качестве шприца попавшие под руку игрушки, а потом долго растирала «уколотые» места. При этом периодически заглядывала в глаза и спрашивала: «Ну что, тебе легче?» Я благодарно восторгался эффектом дочкиных трудов.

После уколов и массажа пришел черед тюбиков с кремами из маминной косметики. Принося очередной, Даша говорила: «Этот кремик способен всем помочь!» Их воздействию



подвергались все «болевые» точки — от головы до ступней.

Наконец, дочка посчитала свое участие в моем «лечении» достаточным, принесла несколько игрушек более крупных форм и строго сказала:

— Теперь лечись сам!

Затем подумала, сходила на свою кухню, принесла игрушечные, но почти фарфоровые чайник, чашку на блюдечке с ложечкой и дала последнее указание:

— Потом попей, чтоб заполняло.

Формулировка впечатлила лаконичностью и неожиданностью. Тем и закончился лечебный сеанс.

\* \* \*

Что-то выговариваю Жене. Она обращается к Даше:

— Слышишь, как папа ругается?

— Нет, он ругается, когда у него на душе больно. Или что-нибудь не получается.

Не понимаю, как ребенок может догадаться и сформулировать то, чего я и сам еще не сумел сделать.

\* \* \*

Продолжаем приучать Дашу к порядку. В частности, в ее хозяйстве. И она уже показывает понимание вопроса. Сегодня, например, так. Встретив меня вечером у двери, дочка сразу же сообщила:

— Знаешь, там у нас на кровати такой бардак лежит!

Сработала на опережение: теперь я был лишен возможности предъявить претензии по поводу Дашиных нарядов, во внушительном количестве извлеченных из комода и разбросанных в спальне.

\* \* \*

Во время словесной игры «Фрукты — овощи» дочка проявила познания в агрономии, неожиданно поведав:

— Папа, ты у нас в семье единственный фрукт.

\* \* \*

Это мне рассказала Женя.

Сидят они с Дашей, обедают. Дочка устала (много гуляли), поэтому капризничает. И получает

одно замечание за другим. Наконец, не выдерживает и предупреждает:

— Сейчас я буду беспощадна.

\* \* \*

У нас в семье в ходу «привет!» вместо «здравствуй». Даше тоже нравится. Возможно, потому, что легче произносить.

Идем с ней по аллее. Настроение игривое. Навстречу представительный, высокий мужчина в очках, с кожаной папкой под мышкой. Только он поравнялся с нами, Даша хорошо поставленным голосом:

— Привет!

Мужик оглядывался, пока не дошел до поворота.

\* \* \*

Тетя Мила часто говорит Даше приятное. Например:

— В твоих глазах можно утонуть!

— А в твоих?

Тетя растерялась — что тут ответить? Тогда Даша решила «добить» собеседницу и свела глазки к носу:

— А теперь?

\* \* \*

В последнее время Даша, не задумываясь, одаривает нас максимамми, когда наши предложения или мнения ее не устраивают. Одно из последних:

— Папа, поищи, пожалуйста, Бибигонову соску.

— Поищи-ка ты сама. Ведь это вы с Юлей разбросали все игрушки. А кто разбрасывает, тот, по моему, и должен искать.

— Нет! Кто разбрасывает, тот и должен попросить папу найти.

\* \* \*

Сегодня за ужином Даша ведет разговор на семейные темы:

— У нас в доме все хозяйка: я — хозяйка, мама — хозяйка и папа — хозяй!

Дочка уже не первый день знает, какие слова женского, а какие мужского рода.

\* \* \*

— Мама, ты же мне говорила: «Жми!» Я и жмила!

\* \* \*

— Не уходи! Я по тебе так скучаю, что ну прямо ничего не могу без тебя делать.

Так Даша пресекла мою попытку улизнуть на балкон для перекура.

\* \* \*

Сначала, когда услышал, я не понял, что она сказала...

Осенний вечер. Глажу Дашины наряды. Она, с куклой в руках, примостилась рядом, на кресле. У них только что закончился ужин, дочка-кукла накормлена, и они беседуют. Точнее, Даша объясняет. С серьезным, задумчивым лицом. Контекст не уловил, но ключевая фраза остановила меня:

— Хлеб, мясо, рыба, макароны, картошка, гречка, яички, креветки (вчера ела), молоко, чай, сахар, печенье, конфеты, баранки, яблоки, груши, сливы, виноград, клубника, земляника — вот наша жизнь.

Кукла молча соглашалась. Во многом согласился и я.

\* \* \*

Даше удалось достаточно интеллигентно выразить свое отношение к маме на данный момент — они минут пять назад поссорились по поводу дочкиного непослушания, после чего ее удалось занять рисованием.

Смотрим рисунок фломастером на большом белом листе. На нем изображены двое.

— Ты узнал? Это — Даша, а это папа. — Мы с ней привыкли говорить о себе так, в третьем лице.

— Очень красиво получилось. Но где же мама?

— Она на другой территории!

\* \* \*

Параллельно с появлением доводов у Дашиных предложений она стала проявлять чисто женские качества, которым доводы чужды по определению.

С помощью настольной игры учим цифры, расставляя в нужном порядке картонные квадратики с их изображением. Неплохо идет дело. Но на «восьмерке» — сбой. Дочка никак не ставит ее в нужное ме-

сто. И так объясняю, и эдак. Все впустую. Наконец, Даше все это надоело, и она приняла окончательное решение:

— Как положила, так и положила!

Я понял, что сегодня по-другому не получится, и занятия мы прекратили. Пусть уже побудет женщиной!

\* \* \*

— Даша, ты что, не понимаешь?

Она оценивающе смотрит на Женю и немного расстроено отвечает:

— Я не понимаю, что есть такие люди...

Без комментариев. К тому же показалось, Женя не совсем и поняла, что в ее адрес сказала дочка.

\* \* \*

Еще о дипломатии.

Мы с Дашей готовимся ко сну. Но она мне «сделала прическу» и предлагает пойти в прихожую посмотреть в зеркало. Хотя Женя давно уже напоминает, что пора в кровать. Предвидя ее реакцию на мои потакания дочке, та предлагает такой вариант:

— Я тебя провожу. А чтобы мама не сердилась, ты пойдешь там, где ее нет, а я — где она есть.

К зеркалу прошли. Мама не ругалась.

\* \* \*

Женя потерпела очередную неудачу в процессе Дашиного воспитания. Потому что та продемонстрировала тонкую и хитрую, почти на уровне высокой дипломатии, логику.

Мы еще пьем чай, а Даша рядом на ковре занимается с куклами, одевает их. Понадобился шарфик, который на вешалке в прихожей.

— Мама, принеси, пожалуйста, шарф!

— Доченька, ты же видишь, что мы пьем чай. Подними свою попу и сама сходи за ним. Ведь когда мне что-то нужно, я сама поднимаюсь и иду.

— Нет, когда тебе что-то нужно, ты просишь папу, и он тебе это делает. А когда нужно папе, ты делаешь. Значит, когда нужно мне, то должны делать ты и папа.

Все нюансы учла, доченька. Да так ловко, что и возражать-то не хотелось. А точку она поставила так: спокойно встала и с чувством достоинства принесла еще кипу одежды.

Теперь с ней все чаще надо быть начеку, чтобы не упускать инициативу и не ронять свой родительский авторитет в свете еще предстоящих дискуссий.

\* \* \*

Даша уже — соперница. И довольно жесткая. Даже по отношению к маме.

Женя обняла меня.

— Мама, это мой папа!

— Ну и что? А мой муж.

— Нет! Он — мой папа и муж!

— А кто же тогда я?

— Ты просто здесь живешь!

Вот так дочка борется за свои права.

\* \* \*

В воспитательных целях от Даши «убежали» несколько кукол — она их разбросала по квартире и не убрала на место. Дочка нашла пропавшую в корзине с луком и заинтересовалась у мамы:

— Как ты думаешь, они не обмусолились?

Вопрос мы с Женей поняли сразу. Но оказалось, что беглянки остались чистыми.

\* \* \*

— Даша, чего ты так рано проснулась? Фейерверк разбудил?

— Нет. Тапочкин голос.

— Не понял!

— Ну, твои шаги!

\* \* \*

Радуют зачатки здорового оптимизма в Дашином поведении.

Она сидит на краю кровати и надевает носки. Один падает на пол. Хотела расстроиться, но переменила решение и веселым голосом оповестила:

— Ну и хорошо, что упал!

\* \* \*

Женя — врач, и Даша регулярно слышит ее телефонные разговоры на медицинские темы. После одного из них она подошла ко мне и печально сказала:

— У меня — почечный огрыз.

Вскоре выяснилось, что Женя разговаривала с подругой, тоже врачом, по поводу болезни, которая называется «пупочная грыжа».

\* \* \*

У нас гости. Поэтому внимания Даше меньше обычного.

Она садится ко мне на колени и просит что-то сделать. С первого раза я не понимаю. Тогда дочка находит новые слова, которые трудно не расслышать:

— Поверни лицо задом!

Оказывается, надо было посмотреть в другую сторону. И всего-то.

\* \* \*

Даша любит лечить своих кукол и приобщает к этому меня. Даже придумала мне занятный и запоминающийся псевдоним — доктор Колпачок, который ей и самой очень нравится. Настолько, что предложила мне:

— А ты скажи на работе, что тебя зовут доктор Колпачок!

Но тут же перерешила:

— Нет-нет, не говори! А то все захотят стать Колпачками!

Так быстрота дочкиного мышления уберегла моих коллег от превращения в докторов.

\* \* \*

В Дашиных разговорах все чаще звучит «женская» тема. Стараюсь использовать это в воспитательных целях — например, что женщины очень терпеливы.

Сегодня утром она выпила лекарство и сразу обратилась ко мне:

— Оно горькое, но я терпела. Теперь я женщина?

\* \* \*

Откуда что берется... В диалогах с Дашей последнее слово уже начинает оставаться за ней. А я к этому еще не готов.

Что-то она не сделала из того, что должна была, о чем договаривались. Интересуюсь причиной, мягко говоря. И слышу в ответ:

— Я непонятливая девочка. Я по своим делам хожу.

И строй фразы, и интонация, и не присущее детям такого возраста



приписывание себе, пусть и лукавое, отрицательных качеств — у кого дочка этому научилась? А главное — рано ей еще!

\* \* \*

Даша проанализировала состав нашей семьи и пришла к логическому выводу:

— Сначала рождаются папы, потом мамы, а потом и детки.

Верное наблюдение по поводу закономерности, ничего не скажешь.

\* \* \*

Передал Даше подарок от Макса — игрушечный сотовый телефон с хорошей мелодией. Заодно рассказал, что он сказочник, то есть сочиняет сказки, и большой журнал недавно напечатал одну из них, про зайку-зазнайку. И посоветовал:

— Когда ты будешь разговаривать по телефону с Максом и благодарить его за подарок, то скажи сначала: «Привет, сказочник!» Ты же теперь знаешь, что такое сказочник? Сказочник — это человек, который сочиняет...

— ...журналы и подарки! — уверенно закончила дочка.

Получилось вполне удачно не только для экспромта.

\* \* \*

Зашел разговор о светофоре. Вспоминаем, что означает красный, что зеленый свет. Я начинаю, Даша продолжает:

— Когда нам горит зеленый, а машинам красный, значит...

— ...мы переходим улицу.

— Когда нам горит красный, значит...

— ...светофор сломался!

Дашина логика победила, и разговор перенесли на другой день.

\* \* \*

Во время долгого Дашиного купания в ванной провели с ней короткие, но важные переговоры. Мое предложение было таким:

— Папе лучше отвечать почаще «да», чем «нет». Согласна с этим?

— Согласна. И тогда мы будем жить весело?

Сам я до такого веского аргумента не додумался, но оценил его макси-

мально высоко. Порадовала дочка, молодец.

\* \* \*

Суббота. Обедаем. Звонит телефон. К трубке подбежала Женя.

В это время выглянуло яркое солнце. Причем впервые за день. И Даша отреагировала на него так:

— Мама, у нас солнце! Прямо в борщ!

\* \* \*

Играем с Дашей в лото — специальное, детское, развивающее. В нем вместо бочонков картинки с буквами и цифрами. У нас с дочкой — по одной карте вместо трех. Видимо, чтобы быстрее выявить победителя. Это Даша сама корректирует правила игры.

Картинки — в непрозрачном целлофановом пакете. Из него их вытаскивает опять же Даша.

Сначала она лидирует, но потом ситуация постепенно меняется.

Тогда Даша начинает заглядывать в пакет и вытягивать нужные ей картинки. Только никак не удается обнаружить последнюю из них.

Но и здесь быстро находится выход — дочка отдает мне пакет и говорит:

— Найди арбуз, с буквой «а».

Нахожу. Даша заполняет ею последнюю свободную клетку и радуется победе.

Теперь я знаю, что у девочек, оказывается, своя технология победных игр.

\* \* \*

Начался период дочкиной ревности меня к ее маме. Присутствуют и весьма корректные приемы с Дашиной стороны, когда надо отвлечь меня от общения с Женей.

Сегодня, например, когда она играла в спальне, а мы разговаривали в другой комнате, вдруг слышу:

— Папа, лучше иди ко мне. Здесь веселей, грустить не будешь!

Конечно, пошел туда, где грустить не будешь.

\* \* \*

Задал Даше неудобный для нее вопрос, а в ответ услышал уверенное:

— Знаешь что: я думаю, а ты сиди!

Неожиданность услышанного сделала свое дело — дочке не пришлось признавать то, что она не хотела.

\* \* \*

Ждем появления в этом году Дашиной сестрички. Или братика. Даша тоже принимает трепетное участие в этом ожидании, делится своей радостью с теми, кто бывает в нашем доме. Сегодня это ее старший двоюродный брат Сережа, который приехал в Москву на конференцию молодых ученых. Вдруг, прервав игру с ним, она сообщила серьезным голосом:

— У мамы в животе маленький ребеночек бережется.

Мне оставалось только позавидовать точности выражения. И порадоваться за Дашу.

\* \* \*

Оказывается, Даша уже озабочена некоторыми вопросами своего будущего. Один из них обозначился сегодня.

Мама полвечера просит ее убрать игрушки, а в ответ слышит разговоры на пространные темы. Например:

— Даша, говоришь ты много, а делаешь мало!

— Да, мамочка... А вот интересно: когда вырасту, изменюсь я или нет?

Мы уж не стали объяснять дочке, что нам, ее родителям, это узнать не менее интересно. Но тему она озвучила первая.

\* \* \*

Слышал, конечно, о взаимном воспитании детей и родителей. А теперь, видно, подошло время стать действующим лицом таких эпизодов.

Обедаем. Как обычно, в это время на кухне работает телевизор. Каждый из нас троих хочет видеть свою передачу, но пульт в моих руках, и поэтому победа остается за мной.

Даша сосредоточенно склонилась над тарелкой и сочувствующим голосом произнесли всего три слова:

— Эх, Коля, Коля...

Мне стало стыдно за свою победу. Вскоре после обеда появился

повод для длительной воспитательной беседы, которую я успешно и провел. Даша покивала головой в ответ и пошла к своим игрушкам. Через какое-то время вернулась и с оттенком задумчивости сказала:

— Папа, я тут недавно песню слышала:

*Эх ты, Коля, Коля, Коля,  
Как же ты мне надоел.*

А ты ее никогда не слышал?

Минуты две-три понадобилось доченьке, чтобы придумать это и исполнить. Получилось, вероятно, так, как она и рассчитывала. По крайней мере, очень уверенно.

\* \* \*

Даше не понравился мой тон:

— Почему ты со мной так разговариваешь? И впредь это запомни!

Тут же запомнил.

\* \* \*

Даша искусно вывела меня из-под удара. Вот как это было.

Я сказал им с мамой с шутливым упреком:

— Вы как хотите, так меня и используете!

Женя сразу за поддержкой к Даше:

— Видишь, папа говорит, что мы его используем...

— Да нет, мама, ты не поняла. Он сказал: вы как хотите, так меня и используйте.

Всего-то одну букровку поменяла в длинном предложении, и я из жалобщика сразу превратился почти в героя.

\* \* \*

Сижу за столом, пишу.

— Папа, дай мне ручку, которой пишешь.

— Как это «дай»? Она мне нужна. Лучше возьми свою.

Обиделась. И тут же захотела занять мое место за столом. Я, конечно, не согласился уступить и услышал:

— Вот видишь, опять тема... Ты прямо бандит какой-то!

\* \* \*

Кое-что Даша старается делать очень добросовестно. По крайней мере, говорит об этом.

Сегодня она красит помадой губы любимой кукле. Закончила и отчитывается:

— Посмотри, как хорошо получилось. У нее даже до ножек дошло!

\* \* \*

Сегодня я — доктор, лечу многочисленных Дашиных детей-кукол. Наконец прекращаю прием. Она отчитывает последнего опоздавшего ребенка:

— Не надо было тормозиться! Он уже поприветствовал!

\* \* \*

Кукольные сценки — одно из наших увлечений. Вот один из эпизодов.

— Эту куклу зовут Маша. Она хочет с тобой познакомиться. Как тебя зовут?

— Николай.

— Опять ты начинаешь шуточки свои. Она серьезно спрашивает.

— Тогда — Коля.

— Ну это же другое дело! А то — Николай... Кому он нужен, этот Николай?

\* \* \*

Полдня провели в детской поликлинике — очереди во все кабинеты.

Визит к очередному врачу Даше не понравился. Выйдя в коридор и посмотрев на табличку с фамилией доктора, она выразила свои чувства так:

— Глаза бы мои не видели больше эту дверь и эту тетю. И вообще, из всей поликлиники мне нравится только Сергей Сергеевич (наш участковый врач).

\* \* \*

Даша любит игру «Доктор». Он всегда лечит ее детишек-куколок.

Я только что пришел с работы.

Она тут же:

— Скажите, во сколько сегодня начинается прием?

— Сегодня приема не будет.

— Почему?

— Доктор в отпуске.

— Надолго?

— Да, надолго. На целый месяц.

Такого подвоха дочка не ожидала, и ситуация ее явно не устраивала.

— Подождите, а разве не вы доктор? Вы на него очень похожи!

— Нет, не я. То, наверно, был мой брат.

Вышла в другую комнату и быстро вернулась:

— Я узнала — у него нет никакого брата.

— Но тогда, вероятно, это был очень похожий на меня человек. Так бывает.

Дочка внимательно посмотрела на меня и уверенно поставила точку:

— Такого лица больше ни у кого нет!

Возражать против этого не захотелось. Железный аргумент в пользу начала приема.

\* \* \*

Короткий диалог с мамой:

— Даша опять вредничает. А я думала, что она теперь хорошая девочка. Почему так?

— Душа просит.

\* \* \*

Даша знает, что у нее скоро появится сестренка:

— Вот бы родился мальчик... Как хорошо — мальчик и девочка! А девочка и девочка — даже не созвучается...

\* \* \*

Теперь почти все куклы

у Даши — новорожденные. Сидит, подолгу с ними разговаривает. Слышал, как сказала одной:

— Тебя же ведь недавно привезли из роддомика...

\* \* \*

Летнее наблюдение:

— Когда муха расцветает, она становится шмелем!

\* \* \*

В шутку предложил Даше, в случае готовности выполнить мое указание, брать под козырек (прикладывать руку к голове) и отвечать: «Есть, товарищ командир!»

Процедура дочке понравилась, а я оценил, как она подловила меня на желании покомандовать — с первого раза охотно откозыряла и отрапортовала:

— Нету, товарищ командир!



\* \* \*

Кокетливый и коварный довод:  
— Пойдем делать это вместе.  
— Почему?  
— Я же не могу так долго тебя не видеть!

\* \* \*

— Дашенька, убери, пожалуйста, свою одежду.  
— Знаешь что: со мной можно и без «пожалуйста».

\* \* \*

— Это же неприлично, Даша!  
— Давай один раз сделаем неприлично.

Оказалось, один раз можно.

\* \* \*

Даша с мамой повторяет подзабытые уже сказки, в частности «Колобок».

Оказывается, со слов дочки, когда ему встретился волк и сказал: «Сейчас я тебя съем!», Колобок ему ответил: «А я тебе не дамуся!»

\* \* \*

— Раньше было красиво. Правда, Коля? Цари были...

\* \* \*

Даша стала раздавать умные советы.

После того, как мама долго выговаривала ей за что-то и дошла до слов: «А теперь я думаю, что...», дочка спокойно ей разъяснила:

— А ты не думай, и все пройдет.

г. Москва

Зулкар ХАСАНОВ



Окончание. Начало в № 10 за 2011 г.

## ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

### ПОВЕСТЬ

5.

После того, как жизнь не удалась, можно попробовать начать новую. Афанасий и Александр встали рано. Сегодня голова не болела, так ведь вчера не пили, помешал Василий. Попив чаю со вчерашним хлебом, Александр трезвым взглядом решил посмотреть на себя в старинное большое зеркало в деревянной раме, испорченное от холода и времени. Оно висело в передней.

Раньше братья зеркало и не замечали, а тут надо идти к людям. Зрелище повергло Александра в глубокий шок: «Боже мой, какой ужас, как я выгляжу? Лицо отекшее, синяки под глазами, волосы взломачены, глаза потухшие, руки в синяках и порезах, на кого мы похожи? Как можно показаться знакомым людям в таком виде?»

— Слушай, Афанасий, пожалуй, нам не стоит являться в таком виде к Василию Фроловичу.

— Что, испугался самого себя?

— Да, испугался, а ты, думаешь, лучше? Посмотри на себя. Ты молоде меня, а лицо у тебя — как будто ты им пахал, а руки — как лопатки у снегоуборочной машины.

— Александр, мы же обещали, а обещания надо выполнять. Если он нас прогонит, значит, мы это заслужили.

Нахлобучив на себя выдавшие виды одежду и обувь, братья отправились к Василию Фроловичу. За ночь намело снегу прилично, да он еще продолжал посыпать крупными хлопьями улицу. Пришли к добротному дому с высоким деревянным забором. На доме висит вывеска: «Бондарное производство ЧП Торбенева».

Василий Фролович уже встал, что-то приколачивал во дворе. Хозяйство не позволяет долго спать, к тому же должны прийти новые работники.

Василий Фролович показывал им свое хозяйство, свои поделки. Рассказал вкратце об уже имеющемся оборудовании, инструментах. С ним

вместе работал его сын Андрей. Он хорошо знал хозяйство отца.

— Ну что, мужики? Вы, наверно, не завтракали. Сейчас Катя с дочкой Наташей организуют нам утреннюю трапезу.

— погоди, Василий Фролович, трапезу нам надо еще заработать.

— Ничего, заработаете, оставьте свое уныние, душевное опустошение за воротами. Пока Катя готовит, давайте перенесем вот этот станок в другое помещение, ему там место. Вот отсюда, — Василий показал, — надо переложить пиломатериал вон туда, в угол двора, под навес. Этот лесоматериал очень ценный, из него мы изготавливаем свою продукцию. Эту работу сделайте после завтрака.

Так начиналась новая трудовая жизнь двух неудачников.

— Мужчины, приглашаю вас к завтраку, — позвала Катя.

Мужчины направились к умывальнику, висевшему во дворе. Помыв

руки, пришли на кухню, в пристройку дома. На столе стояли жареная картошка с колбасой, хлеб, соль и все остальное, как положено. С ними сел завтракать и сам хозяин. Не побрезговал. Жена его что-то еще хлопотала.

Легко сказать: начинать новую жизнь! Афанасий и Александр сидели смиренно, опасливо поглядывая на своего нового хозяина. Особенно стыдно было Александру перед Катей. Они же учились в одной школе, была даже когда-то любовь между ними. Все это осталось в прошлом, как в тумане.

— Ну что, ребята, приуныли, дайте вооружайтесь вилками — и за дело.

Теплый взгляд Василия Фроловича и доброжелательное его отношение к бывшим сослуживцам постепенно делали свое дело. Принялись за еду, ели с аппетитом, пили чай с пряниками, которые давно уже не пробовали.

— Спасибо, Василий Фролович, что ты в нас поверил, будем осваивать с твоей помощью новое ремесло.

— Ничего, ничего, ребята, забудете постепенно свои черные дни, и все образуется.

На улице зашумел подъехавший автомобиль. Это сын Фроловича, Андрей, привез лесоматериал для производства бондарных изделий.

— Ну что, ребята, отдохните после завтрака — да за работу. Надо сложить лес, который привез Андрей, под навес.

## 6.

А жизнь в стране не стояла на месте. Появлялось что-то хорошее, а что-то неизвестное, неведомое в советское время. Люди стали меняться. Каждый старался, чтобы было хорошо в первую очередь ему. Теперь не особенно интересовались, хорошо ли чувствует себя товарищ или сосед. Появилось потребительское отношение к вещам, людей обуяла жадность, деньги стали мерилем всего и вся. Знаток буржуазной жизни утверж-

дали, что общество, которое мы строим, — это нормальное явление, дескать, человек сам кует для себя счастье. Бурно стала развиваться частная собственность. В магазинах появились товары, которые сложно было приобрести раньше, но с деньгами у людей было туго.

Василий Фролович не унывал, приучал друзей к работе, бондари нужны и буржуям. Заказов было много: бондарных, столярных, резных по дереву. Василий Фролович строго следил за Александром и Афанасием, постоянно загружал их работой, чтобы отучить от прежней пагубной привычки — выпивки.

Глава сельской администрации сдал в аренду дом хозяину бондарного производства, чтобы его друзья, братья Афанасий и Александр, жили в нормальных условиях. Братья, видя к себе такое доброе отношение, и сами приосанились, втянулись в работу благодаря неустанной заботе шефа.

Целеустремленным людям работа интересна. Необходимо механизировать бондарное производство, они живо интересовались этим вопросом и постоянно давали предложения своему хозяину, что в первую очередь надо им приобрести из оборудования.

Сказано — сделано, купили и установили прокатную и пазорезную машины, токарный станок с подвижным шлифовальным агрегатом для внешней обработки бочек. Это уже было начало организации поточного производства.

Крепло хозяйство Василия Фроловича, росло, ширилось. Он не забывал о хлебе насущном, но помнил и о душе. Считал, что, помня о личном благе, нужно заботиться и о благе общества и Отчизны. Он понимал, что богатство само по себе — не благословение и не наказание. Это, прежде всего, испытание и ответственность.

Немалый вклад в благосостояние вносили его товарищи и друзья

Александр и Афанасий. Платил Василий Фролович им неплохо. Через два года они себе построили хорошие кирпичные дома. Когда обустроились, огляделись и решили, что чего-то все же не хватает. Если сделать еще решетчатые кованые ворота и кованую калитку, то этот дом будет украшением всей деревни. Вот тут-то они всерьез опять вспомнили о своей прежней специальности. Но не давал им Фролыч сильно думать, постоянно загружал работой.

В каждодневной работе мужики постепенно приходили в себя и задумывались. Надо переговорить с хозяином. Негоже кузнецам заниматься изготовлением бочек.

Афанасий частенько напоминал брату:

— Александр, мы с тобой мастера по изготовлению кованых изделий, а не бочкотары. Поговори ты с хозяином об этом. Работы по изготовлению кованых изделий будут более выгодны для хозяина, наконец, для фирмы.

— Пожалуй, это так, Афанасий! Но где оборудование, оснастка, инструменты? Наконец, нужно помещение.

— Александр, у хозяина есть деньги, лишь бы он нас понял, давай все-таки с ним поговорим.

Время правит миром и помогает людям осуществлять свои заветные мечты. Во время обеденного перерыва Александр и Афанасий решили поговорить с хозяином на тему дальнейшего развития предпринимательской деятельности фирмы «Бочкотара».

На стол накрывала жена хозяина фирмы, Екатерина Матвеевна. Екатерина, как показалось Александру, даже похорошела — она ездила в город в салон красоты.

Накрытый к обеду стол сулил вкусную трапезу. Томительное ожидание обеда и предстоящего разговора несколько волновали Александра, поскольку он был застрельщиком этого непростого разговора. Наконец, гости расселись и принялись за еду. После небольшой паузы Александр встал с места:



— Василий Фролович и Екатерина Матвеевна, — волнуясь, говорил Александр, — мы вам безмерно благодарны, что в такое трудное время вы меня и Афанасия, людей опустившихся, вернули в свою среду. Мы говорим вам многократное спасибо за то, что вы нам вернули второе дыхание после трудных испытаний.

— Ить, Александр, мы люди своего времени. Нельзя оставлять друзей и товарищей в беде. Нас же учили этому родители.

— Василий Фролович, ты ведь из семьи кузнеца Фрола Андреевича, являешься мастером кузнечного дела, я и Афанасий тоже не льком шиты, учены этому делу вашим отцом. Я думаю, что эта профессия скоро будет очень востребована. Просим подумать тебя об организации кузнечного цеха в твоём производстве. Бочкотара — это само собой разумеется, но надо развиваться дальше.

— Да ить, Александр, я об этом давно думаю. Только хватит ли у меня средств, чтобы организовать этот бизнес? Ить организация кузнечного производства потребует значительного вложения средств в аренду производственного помещения, приобретение кузнечного оборудования и инструментов. Давайте мне свои расчеты, во что обойдется нам организация этого волшебного производства. Вот даю вам неделю на обдумывание, определитесь, сколько и какой нужно площади, какое самое необходимое оборудование надо купить в первую очередь, инструменты на первый случай. Думаю, что потом вы сможете сами изготовить необходимую оснастку. После этого определимся с финансами и нашими возможностями.

Братья Александр и Афанасий воспрянули после этого разговора. Значит, Василию Фроловичу хочется еще больше расширять свой бизнес. А самое главное, сбудется его мечта — создать кузнечное производство. Специалисты — вот они — у него работают.

Екатерина Матвеевна часто бросала свой взгляд на Александра, оправившегося после такой тяжелой жизненной встряски. Он выглядел молодцевато и боевито.

Действительно, Александр быстро оправился после короткой бомжовой жизни, опрятно одет и ухожен, долго и заинтересованно смотрел на Екатерину, временами опускал глаза то ли от смущения, то ли хотел, чтобы никто этого не заметил.

Напоследок Александр обещал представить через неделю расчеты для организации кузнечного производства, как просил Василий Фролович.

Сын Василия Фроловича — хотя и молодой парнишка, но башковитый. Он руководил установкой нового оборудования, а затем учил рабочий персонал, как работать на новой технике. Освоить новую технику — это не фунт изюму. С первого разу не всем удается, а сборка и установка требуют особой аккуратности и внимания, надо очень тщательно изучать инструкции, требуется большое терпение. Но этого у Андрея не занимать, он, как отец, как дед, ко всему готов. Руки у него золотые.

Через неделю Александр раздобыл всю необходимую информацию. Он радовался, что с заданием справился. За обеденным столом состоялся совет, на котором Александр доложил, что необходимо иметь для успешной организации кузнечного дела.

— Василий Фролович, для организации кузнечного дела необходима производственная площадь не менее ста пятидесяти — двухсот квадратных метров. На этом участке смогут работать четыре-пять человек. Кроме того, надо приобрести универсальный привод, кузнечный блок с газовым горном, с помощью которого можно будет выполнять элементы для художественнойковки металла. Купить инструменты для заготовки, зачистки и покраски изделий. Еще нужно будет организовать сборочное отделение, склад, по-

красочный участок. Покупать сырье можем здесь рядом, на металлобазе. Окупить вложения в организацию кузнечного цеха можно через год. Для организации полноценного кузнечного цеха нужно не менее 2 миллионов рублей.

— Хорошо, — продолжил Василий Фролович, — я принимаю ваши предложения, но надо определиться, как скоро мы сможем все это претворить в жизнь.

Сказать одно, а дело сделать — совсем другое. Но друзья не унывали.

Василий обратился в районную организацию по приватизации бывшего колхозного имущества, где ему предложили приобрести старую кузницу. Кузница старая по площади мала, но районная организация пошла навстречу и разрешила пристроить к кузнице большое кирпичное здание для кузнечного цеха площадью не менее двухсот квадратных метров.

Василию Фроловичу не занимать опыта по преодолению трудностей, стоящих на его пути. Долго ли, коротко ли петляла жизнь разными тропами, но через два года кузница заработала.

Теперь Василий Фролович не просто Василий Фролович, а уже глава компании под названием «Арсенал», куда вошла его бывшая фирма под названием «Бочкотара».

«Бочкотара» не говорит особенно ни о чем, а вот она совершила переворот, сальто-мортале в бизнесе Василия Фроловича. Вести кузнечное производство он поручил Александру как наиболее опытному кузнецу, хотя Василий иногда сам не прочь был встать у станка и гнуть какие-нибудь загогулины для заборов и межэтажных лестниц богатых заказчиков.

Дела пошли хорошо, заказов по кузнечному делу много. И чего только не заказывали новоиспеченные бизнесмены: ажурные заборы, ворота, калитки...

Кузнецы совершенствовали качество и изящество кованных из-

делий. Словом, богатела «империя» Василия Фроловича. Новоявленные бизнесмены Александр и Афанасий тоже не дремали. Зарабатывали они хорошо, имели уже довольно солидные денежные накопления. Наличие сбережений, как говорится, укрепляет дух и силу, уверенность в завтрашнем дне. Афанасий нашел себе новую подругу жизни, еще молодую Галину Федоровну сорока лет, вдову. Дама хороша, красотой не обижена, славно ухаживает за своим мужем, надеется, что Афанасий ее не подведет. Под влиянием жены Афанасий тоже оправился, стал заботливым мужем. В общем, он совершенно преобразился в лучшую сторону.

Василий Фролович зауважал его и стал доверять самые важные дела. Они теперь стали настоящими друзьями и общались между собой на «ты» без отчеств.

## 7.

Прошлое, которое взяло Александра за шиворот, совершенно не собиралось отпускать его на свободу. В голове Александра полный сумбур вместо музыки. Невообразимые мысли приходили ему в голову. После того, как он похоронил свою жену, Нюсю, к другим женщинам относился с предубеждением. Не раз говорил сам себе, что на другой женщине вряд ли женится. Однако время идет, душевные травмы зарубцовываются, и вот он, уже достаточно опытный человек, поддался искушению или окаянный шепнул ему на ухо: «Александр, что ты, лопух, что ли? Не видишь, не замечаешь свою бывшую любовь — Екатерину! Посмотри-ка, баба-то хороша, и она тянется к тебе, как магнит, не упускай твой шанс!»

Да и Катя не промах. При встрече с ним каждый раз мило улыбалась, спрашивая: «Как, Сашенька, дела, что-то ты меня совсем не замечаешь».

Саша первое время терялся, не знал, как и что ответить. Но задумался, ведь не каждая женщина так

интересуется мужчиной, как Катя. Она действительно очень мила, выглядит замечательно, лет на сорок, не больше. Нельзя отказывать женщине, если она тянется к тебе, надо ответить вниманием и заботой. Тем более что хозяин фирмы совсем заработался, заботился о своем бизнесе как никогда. Больше внимания уделял своим бочкам и железякам, чем супруге.

Доход от кузницы составлял уже более пятидесяти процентов всего бизнеса. Василий Фролович не собирался останавливаться на достигнутом. И как-то раз он собрался и поехал в командировку на семинар по развитию бизнеса в литейном и кузнечном производстве.

Дело было вечером, звезды радостно смотрели в окно, дул легкий ветер. Александр как бы случайно задержался на работе с одним из заказчиков. Заказчик просил его дополнительно сделать еще балконные решетки для вновь построенного коттеджа. Когда Александр его выпроводил и собрался ехать домой, направляясь к своей машине, на глаза ему попала Катя. Женщины — народ любопытный. Катя наблюдала в эти дни особенно внимательно за Сашей. В дворе-то они и встретились.

— Здравствуй, Катя, — нежно сказал Саша и окинул ее своим искрометным взглядом.

— Здравствуй, мой дорогой человек, — сказала Катя. — Саша, я тебя уже давно не видела, а мне так хочется с тобой поговорить по душам. Мне, кажется, Саша, что ко мне возвращается моя прежняя любовь. Не суди меня строго, так бывает. Я люблю тебя пуще прежнего. Теперь не знаю, как мне быть. Примешь ли ты мою любовь? Что я скажу Васе? Я просто с ума схожу.

— Я тебя, Катя, давно люблю, но не могу признаться в этом, потому как не имею права нарушать законы мужского товарищества. А потом, я кто такой? Бывший бомж!

— Будет тебе, Саша! Все мы в этом мире гости и каждый, как говорит-

ся, должен прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Меня к тебе тянет, как магнитом, каждую минуту. Я хочу видеть тебя всегда рядом с собой.

Искра пробежала между ними, прежний ливень чувств переполнил чашу терпения. Саша крепко обнял свою Катю, поцеловал и предложил с ним поехать на пикник, расслабиться.

О женщины! Они наши радость, наша гордость! Они же наше горе, имя ему — коварство! Они сели в машину и поехали на реку. Саша улыбался, то и дело шутил, заигрывая с Катей, а Катя в ответ, светясь белозубой улыбкой, только смеялась.

Женщина — тонкая штучка, ей не только пряники и цапки подавай, но внимание и заботу. Она вся легковоспламеняющееся вещество. Глянули на нее ласково — пробежала искра по телу и зажгла новую любовь. А Василий — валенок, постоянно занят работой. Приходил домой измотанный за день и часто советовался с Катей, как ему поступить в решении каких-то финансовых вопросов. Катя совершенно не интересовалась его делами, жизнь проходит, а муж все в делах. Ей хочется женского счастья, любви и ласки. Александр — молод, красив, всегда строен и подтянут, без внимания не оставит красивую женщину.

Дорожка вьется, как веретено, закручивая нить судьбы...

Наконец, они приехали в березовую рощу, где растут великаны-березы и высокая густая трава.

Стояла жаркая летняя погода. Решили искупаться в чистой воде реки Взоры. Затем устроили небольшой пикник с вином и хорошими закусками. Лето, речка, мужчина и женщина на берегу полноудной любви. В густой траве лежали они обнявшись. Саша целовал Катю, Катя млела от его нежности.

И вот они растворились в объятиях, грянул гром, сверкнула мол-



ния, и они стали любовниками, так как давно об этом мечтали.

Катя и Саша оба сошли с ума, потеряли голову...

А Василий, ничего не подозревая, вернулся довольный своей командировкой. По приезде как обычно в столовой встретился со своими помощниками, поделился впечатлениями. Спросил у Александра, какие у него новости. Александр сидел, опустив глаза, нехотя отвечая на вопросы своего шефа.

— Василий Фролович, — тягуче и как-то неестественно обратился к своему шефу. — Нам бы не мешало принимать заказы на изготовление кованых украшений из цветного и драгоценных металлов. Это бы значительно подняло наш престиж.

— Александр, к сожалению, пока это невозможно. Ты же знаешь, я и так взял большой кредит, могу в срок не рассчитаться. А за просрочку платежей придется платить большие проценты. Сейчас тяжело, мне сейчас не дадут кредит, резервов у меня нет, едва в последние месяцы набираю на зарплату рабочим.

Словом, Вася весь в своих заботах, ушел в работу с головой. Поэтому Катя не особенно ждала возвращения мужа.

Собираясь на работу, Вася обратил внимание, что даже нет глаженной рубашки, которая всегда висела на спинке стула.

— Катенька, что случилось? Ты не заболела? Что-то сегодня я не вижу на спинке стула моей глаженной рубашки.

— Вася, что-то я стала уставать в последнее время, не успела я тебе приготовить твою любимую рубашку.

— Ну ничего, Катя, это поправимо, только чтобы у тебя все было нормально.

Вася достал рубашку, быстренько сам себе погладил, в конце концов, он умеет это делать. После утреннего кофе с бутербродом Вася подошел к Кате, чтобы ее поцеловать, как

всегда. Но Катя с какой-то виноватой и скучной улыбкой подставила щеку своему мужу и тихо отправилась восвояси.

У Васи на душе стало скверно. В голову стали приходиться нешуточные мысли. С Катей происходит что-то необъяснимое и таинственное. «Наверное, — подумал он, — я ей мало уделяю внимания. Да нет, кажется, мы всегда вместе покупаем ей все, что она только попросит, в деньгах я ее никогда не ограничивал. Может, у нее появился другой мужчина?»

Впрочем, обманутый муж, без пяти минут кандидат в рога носцы, не очень забивал себе голову подобными мыслями, заботы есть заботы, когда в голове бочки да железки, тут не до бабьих ужимок.

В один из праздничных дней состоялся корпоративный выезд на природу коллектива «Арсенал». Жаркая стояла погода, было душно. Редкие тучи не обещали в ближайшее время дождя. Руководил поездкой завхоз Сергеич. Он, словно первопроходец, ехал впереди на мотоцикле с люлькой. Жена его, Варварушка, сидела в люльке, взвизгивая на кочках.

— Ты что везешь меня, как шайтан, не любишь и не жалеешь свою жену? — кричала она.

— Варварушка, потерпи, я стараюсь, но здесь такие ухабины!

Когда они остановились на большой поляне, он подал руку своей жене и вытащил ее из люльки на руках и поцеловал. Решили устроить привал на большой лесной поляне возле реки. Запах лесных трав и цветов дурманит головы лесным гостям. Завхоз фирмы острил напропалую. Поляна оказалась не просто поляной, а поляной ягодной. Она была вся усыпана красными букетами волшебных созданий. Собирая ягоды, публика даже слегка забыла, где она и что она. Кричали завхозу Силантию Сергеевичу:

— Сергеич, какой же ты молодец! Куда же ты нас привез? Нам теперь

отсюда не выбраться без тебя, тут такие дубравы и чащи. Наверное, тут и медведи водятся!

— Это правда, косолапые здесь водятся и даже гадюки. Так что будьте осторожны! — хохотал наш первопроходец. Он здесь уже бывал не раз.

Нахмуренный шеф тоже приехал со своей женой Екатериной. Они, как вступили на лесную поляну, как-то уединились от коллектива, ушли подалее в лес. Видимо, шла семейная разборка по поводу взаимоотношений между мужем и женой. Первой заговорила Катя:

— Василий, я тебе честно хочу сказать, что во мне проснулась прежняя любовь к Александру. Ты все время занят работой, для меня у тебя совсем нет времени. Я так устала от одиночества, а ты весь в работе, тебе не до меня. Прости, пожалуйста, что так случилось.

— Катя, значит, ты теперь не нуждаешься в моей любви. Я тебя любил всю жизнь, никогда тебе не изменял, всегда тебе доверял, а ты, оказывается, этого не замечала. Да, наверное, в последнее время я тебе уделял мало внимания. Дел много, а так хочется всем помочь, но не всегда все быстро получается.

— Василий, дел у тебя бесконечно много, а жизнь, молодость проходят, неминуемо быстро надвигается старость, и где потом найти оправдание тому, что жизнь промчалась мимо ветерком вхолостую!

Вот говорят: муж и жена — одна сатана, но бес выбрал своей мишенью одну Катю. К тому же сказались обиды, накопившиеся за прожитые годы, Катя к сближению с мужем не стремилась, наоборот, отчуждение и неприязнь усиливались. Это и увидел Александр, который оставался вместе с коллективом и собирал ягоды. Супруги возвращались к автомашине в отдалении друг от друга, впереди, гордая и независимая, вышагивала Катя.

Афанасий с завхозом уже успели приготовить шашлык. Народ расслаблялся вовсю, кто во что горазд.

Кому позволено, пили водочку и вино и пели песни. Не плясали — жалко, вдруг раздавят ягоды. Александр, наблюдавший за супругами, заметил, что вид у них довольно озабоченный, мрачный, особенно Василий Фролович как-то сник, шел, опустив голову, как в песне:

*Опустел тот клен, в поле бродит мгла,  
А любовь, как сон, стороной прошла.*

Возвращались с пикника поздно, дорогой пели песни, заводил всех завхоз-затейник, кумир женщин Силантий, знаток анекдотов.

Коллектив ехал, довольный отдыхом, а самое главное, везли много ягод для варенья. Только три человека были не в себе: Василий Фролович, Екатерина и Александр. Все трое испытывали противоречивые чувства. Василий Фролович злился на черную неблагодарность жены, которую он любил, и Александра, которого он вытащил из омута бомжовой жизни. Катя и Александр предали его в самое трудное время, когда он не успел решить самые сложные вопросы в своем бизнесе. Александр пошел на поводу его жены, которая, изменив мужу, нашла себе новую потеху.

Василий, человек, воспитанный в лучших традициях своим отцом, не хотел и не мог поднять руку на свою жену или на Александра. Только крепко сжимал губы, испытывая боль, сердце разрывалось на куски. Вот и приехали. Василий, не говоря ни слова Екатерине, направился домой.

## 8.

Когда ссорятся родители, боль режет на две равные половинки сердце детей.

Андрей не ездил с отцом на пикник, оставаясь дома.

Василий вошел в дом молча, расстроенный. Увидев, что отец вернулся с печальным видом, Андрей бросился к нему:

— Папа, что случилось, что с мамой?

— Сынок, с твоей мамой все нормально, только она нас предала!

— Папа, что ты говоришь? Как могла мама предать, говори толком!

— Мама твоя ушла к Александру, заведующему кузнечным цехом, насовсем, у них любовь.

— Папа, неужели такое может быть?

— Уже случилось, так что теперь мы остались втроем.

Василий вошел в свою комнату, тихо разделся, надел халат, подошел к окну. Наступила ночь. На старой пожарной вышке, находящейся рядом с их домом, на самом верху горела яркая лампа. В детстве он часто лазил на эту вышку, чтобы посмотреть, не горит ли что-либо в округе. Днем видно далеко всю округу, высота — дух захватывает. Василий вышел на улицу, его обдала вечерняя прохлада, направился к пожарной вышке. Хранитель пожарки Яким спал. Василий, открыв плохо закрытую дверцу вышки, взошел на лестничную площадку и стал медленно подниматься по лестнице вверх.

Андрей не спал, понимая, в какой сложной жизненной ситуации оказался отец. Подумал про себя: «Как бы папа чего не натворил сгоряча. Нельзя оставлять его сегодня без внимания». Не успел оглянуться, а отца уже нет. Он опрометью бросился на улицу и увидел на ярко освещенной пожарной вышке отца, поднимавшегося уже на последнюю, самую верхнюю площадку, примерно на высоту шестизэтажного дома.

— Папа, — закричал Андрей, — ты зачем полез на вышку?

Василий не отвечал, прощаясь с миром, в который пришел с любовью, смотрел на свою деревню, свою реку в последний раз. Андрей бежал стрелой по ступенькам пожарной лестницы и кричал: «Папа, погоди, ты что задумал, постой, папа, я тебя ведь очень люблю, подожди меня!»

Вбежав на самую последнюю площадку вышки, он увидел, что отец стоит, держась за парапет, на краю площадки и ждет сына. «Папа, папочка, ты мой родимый, что задумал? — И, подбежав, крепко обнял отца и не отпускал его из своих объятий. — Папа, ты мужественный человек, мы с Наташей поможем тебе! Не делай этого!»

Отец, возвратившись на площадку, крепко обнимал сына, и оба плакали. Наташа стояла внизу и кричала: «Папа, Андрей, что вы там делаете? Спускайтесь!»

Спустившись, Андрей сказал тихо сестре грустно и тоскливо: «Наташа, мама нам изменила, а папа хотел свести счеты с жизнью, но я успел, успел!» Тихо вернулись в дом, наступила ночь и тишина.

Наташа подошла к отцу и обняла его, гладила его лысую голову и тихо плакала. Василий приходил в себя. Усилием воли заставил взять себя в руки. «Детям моим еще нужна помощь, — думал он, — прошу прощения у Господа Бога за мои греховные мысли». Он, не раздеваясь, лежал на диване, отвернувшись к стене. Дети не спали, сторожа человека, давшего им жизнь.

## 9.

После ухода Василия Екатерину охватили смятение и страх, она не знала, как следует поступать дальше. После признания мужу в своей любви к Александру она буквально окаменела, совершенный поступок сковал ее волю. Екатерина даже не могла двигаться.

— Катя! Ну что так сильно разволновалась? Пойдем ко мне домой, — сказал Александр и подхватил ее за локоть.

Она шла машинально, не чуя землю под ногами, не понимала, куда и зачем идет.

«Стоп, — думала она про себя, — надо возвращаться к себе домой, зачем это я делаю?» Злые силы нашептывали: «Катя, ты куда, Василий ушел, оставил тебя».



Яркий свет фонаря выхватил из тьмы дом Александра, тихо закрипела калитка. Они вошли в дом. У Александра и Екатерины не было никакой радости и восторженности, куда-то пропали любовь и пыл. Противоречивые чувства охватили любовников. Разговор между ними шел какой-то спонтанный, непонятный им самим, тягостное состояние и пустота овладели ими.

Первой заговорила Катя:

— Саша, правильно ли мы поступили, предав Василия?

— Я, Катя, не знаю, правильно или неправильно. В нас проснулась окаянная прежняя любовь.

— Я думаю, что мы с тобой совершили великий грех. Нам нет прощения!

— Катя, так получилось, к нам вернулась прежняя любовь, не сумели мы с тобой овладеть собой. Что случилось, то случилось, теперь нам Бог судья.

— Саша, что ты прячешься, как сыч, за словом «любовь», ты мужчина, ты найдешь выход, а каково мне, как мне жить?

— Пока выхода никакого не вижу, — продолжил Александр, — попались мы, как кур во щи. Надо думать, как жить дальше. Я даже представить не могу, как я вернусь на работу, как посмотрю в лицо Василию.

Утро вечера мудренее. Легли спать врозь. Катя вся дрожала, не находила себе места, а Саша ворочался на диване. К утру потихоньку Саша перебрался к Кате.

— Катя, успокойся, все образуется. Не мы первые, не мы последние, что испытываем муки египетские.

— Саша, пожалуйста, не утешай меня. Я себя чувствую очень скверно. Как я могла решиться на такое?! Словно вселился в меня бес!

— Что поделаешь, Катя! Нельзя же жить женщине в оковах, пусть даже весьма искусных.

— Саша, какие оковы? Что ты говоришь? Никаких оков не было. Пришла просто обыкновенная человеческая похоть, а Вася увлекся чересчур

работой. Это меня сильно обозлило и обидело. Все произошло спонтанно и необъяснимо. Нет нам никакого оправдания, и надо признаться в этом честно. Кто-то из известных людей говорил: «Наша жизнь подобна реке — медленное течение придает ей спокойствие и уверенность, а бурные изъёны и круговороты несут за собой боль, страх и страдания...»

— Спи, Катя!

Сон к Александру тоже не пришел. Наступило утро. Он собрался на работу. Мучил его вопрос, с какими глазами он встретится с Василием Фроловичем. Пришла на память горькая поговорка: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». «Это правда, — думал он. — Понятное дело, что Василий Фролович скажет: «Александр, ты человек без стыда, чести и совести, отправляйся на все четыре стороны, ты мне больше не нужен». Как он скажет, так и будет».

У Кати на душе кошки скребут. Какой там сон!

«Какой стыд! — думала она. — Сколько для меня сделал Василий за нашу долгую совместную жизнь? А дети наши, Андрей и Наташа, что теперь думают обо мне? Какую страшную я нанесла им травму, травму на всю оставшуюся жизнь. Нет мне никакого оправдания. Пойду сама к ним и буду просить прощения. Нет, нет! Сначала пойду в церковь, надо встретиться со священником, рассказать ему все о совершенном грехе».

Растерянность и смятение терзали ее душу. Рано утром отправилась в церковь на встречу со священнослужителем.

Катя шла в церковь с верой и надеждой, что хватит силы и духу рассказать о случившемся. Очень волновалась, какой стыд! Она глубоко верующая, и вот нате, пожалуйста! Надо быть мужественной и все нужно рассказать честно. Войдя в храм, направилась к отцу Федору.

— Здравствуйте, отец Федор, — сказала дрожащим голосом Екатери-

на. — Я замужняя женщина, у меня двое взрослых детей. Муж мой, Василий, хороший человек, бизнесмен, денно и ночью занимается своей работой. Я, конечно, понимаю, что он с работы приходит уставшим. Мне тоже хочется со стороны мужа внимания, любви и ласки. Я знаю, что Бог требует терпения, доброты, любви к ближнему. Но я устала. Я растерялась, не знала, как дальше жить. В нашей фирме работает мужчина, с которым я была знакома со школьных лет, была у нас с ним когда-то любовь. И я потеряла голову. Не удержались мы с ним от искушения и совершили грехопадение, которое теперь меня страшно терзает, я опустошена, как мне поступить? Нет у меня больше сил, чтобы нести такой тяжелый крест. Простят ли меня мой муж и дети? Я хочу вернуться домой. Мне нужна ваша помощь, помогите!

Отец Федор, уже немолодой человек, много повидавший в своей жизни, понимал, что грешный человек всегда жалок и беспомощен перед Богом. Он ищет спасения и просит помощи. И нелегко отцу Федору это сделать. Он всегда честен перед согрешившим человеком и перед Богом. Посмотрев несчастной женщине прямо в глаза, сказал:

— Екатерина, я прекрасно понимаю ваше состояние. Вы совершили большой грех — прелюбодейство. Прелюбодеи судит Бог! По поводу прощения не могу ответить, я не Господь Бог. Все люди грешны. Эти грехи только отталкивают нас от Господа. К нашему счастью, Господь установил в церкви таинства, которые помогают людям время от времени очищать свою душу от скверны. Но надо помнить, что принимая таинства святой церкви, человек сам тоже может многое сделать. Не совершайте зла — вот вам и вся божеская помощь! Чтобы избавиться вам от греха, нужно честно рассказать семье о своем поступке. Молитесь постоянно Господу и посещайте церковь. Только через покаяние человек

может вернуться к Богу и обрести праведность. Вам нужно срочно исповедоваться. Грех, конечно, тяжелый, но отчаиваться ни в коем случае нельзя. Господь пришел на землю, чтобы нас, грешников, спасти от погибели. Если вы веруете в Господа, придите в церковь и принесите чистосердечное раскаяние во всех ваших грехах. Постарайтесь избегать общения с тем человеком, с которым вы согрешили. По церковным законам при прелюбодеянии брак расторгается. Но многое зависит от взаимопонимания супругов. Спросите себя, сохранилась ли любовь прежняя к мужу, а как ваш муж понимает происшедшее, почему произошла измена? Осталась ли еще у вас взаимная любовь? Если у вас у обоих найдутся силы простить друг другу, попытайтесь! Пусть хранит вас Господь!

## 10.

Катя, изможденная, бледная, усталая и безразличная, вернулась домой.

Во дворе ей встретился Василий. У него сверкали глаза, гнев, негодование душили его.

— Ты чего вернулась к нам, ступай к своему любовнику, курва!

Катя молча вошла в свою комнату. Она, раздевшись, посмотрела на себя в зеркало и увидела, что превратилась за одну ночь в старуху. Услышав хождение в соседней комнате, Наташа, страшно переживавшая предательство мамы, решила зайти в ее комнату. Наташа тихо вошла. Мама стояла перед зеркалом и рассматривала себя, а потом, обернувшись, увидела, что в комнате дочь.

— Наташа, здравствуй, — сказала мама.

— Мама, здравствуй, что случилось, где же ты была?

— Случилась беда в нашей семье. Я была у Александра и совершила великий грех, прошу прощения у тебя, дочь. Если простишь, спасибо, если нет, значит, такова моя судьба.

— Мама, я уже взрослая, понимаю, что произошло, но ты и пойми нас и папу. Папа-то чуть не выбросился с пожарной вышки, ты об этом знаешь?

— Боже мой, что я натворила! Наверное, нет мне прощения ни от кого, я виновата перед всеми, правда, Наташа? — Мать зарыдала, а за нею и дочь.

Вошел и сын Андрей.

— Здравствуй, мама, — с холодком, тихим голосом обратился Андрей. — Мы тут все на головах ходим, а мама наша совершает неведомые нам «подвиги».

Мать молчала, не знала, что можно сказать Андрею в свое оправдание.

— Дети мои, нет мне прощения, убейте меня лучше, кому нужна такая мать?

— Мама, мы-то тебя простим, — сказал Андрей, — а вот как папа отнесется к тебе, мы не знаем.

Зашел и отец.

— Пришла, гуляющая! Какое бесстыдство! Зачем ты пришла домой? Иди к нему! Вот, оказывается, как ты меня любишь? Конечно, ты знаешь меня как человека добродушного и сердечного, который в жизни никогда и ни на кого ни разу руку не поднял, а что бояться такого человека, он же лох! Катя, я тебя любил, как никто, а чем ты мне ответила? Подлюстью? Эх ты!

Катя, бледная и изможденная, стала на колени и взмолилась:

— Ради Христа, прости меня. Василий! Простите меня, дети мои! Какие-то дьявольские силы подтолкнули меня. И вот я перед вами глубоко раскаиваюсь в совершенном грехе и прошу у вас пощады. Василий, дети мои любимые! Я к вам пришла с мучительным вопросом для нас всех, как нам быть? Прошу у вас прощения и спасения! Я погибаю, совершив такой подлый поступок. Убейте меня! Я виновата. Я вас люблю и буду любить до последнего вздоха. Вася! Ты же забыл про меня, у тебя все время работа, работа. Пришла

ко мне минутная слабость, я не удержалась от искушения. Я ведь твоя, я тебя люблю. Я буду молиться день и ночь и просить прощения у Бога за свои прегрешения. Ты меня слышишь, Василий? Вы меня слышите, мои дети? Что мне теперь делать? Уйти? Я уйду...

— Катя, мы не хотим твоей смерти. Мы хотели бы, чтобы ты всегда была с нами вместе.

— Мама, ты же нас родила и воспитала, мы твои дети, тебя принимаем и прощаем, хотя нам тоже не легко все это пережить. Мы молодые. Береги папу, он нам очень дорог, мы бы не хотели, чтобы ты его обижала.

Василий сидел в кресле худой, почерневший от переживаний. Такую рану излечить сразу очень сложно. Он думал в первую очередь о том, что надо еще помочь основательно укрепиться в этой жизни Андрею и Наташе. Им надо учиться. А там нужно создать свои семьи. Надо дожидаться внуков. Изгнать Катю не хватит у него сил, не такой он человек по своей природе.

Наступила весна, зацвела сирень. Александр на работу не явился, побоялся разговора с Василием Фроловичем. Он уехал на своей машине неведомо куда, бросив свой дом, разорвав все отношения с братом.

## 11.

А у Василия Фроловича все разладилось. Непонятно стало, как теперь выстраивать отношения в семье. Наступил полный ступор на производстве — не стало руководителя кузнечного производства. К счастью, Афанасий поддержал своего друга, а не брата. Узнав о случившемся, на следующий день утром рано Афанасий явился к Василию Фроловичу. Стоял у порога каким-то виноватым, словно он совершил плохой поступок по отношению к хозяину. Переминаясь с ноги на ногу, с порога обратился к Василию Фроловичу:

— Я прошу, Василий, у тебя извинения за моего брата. Он, непутевый, потерял стыд и совесть,



соблазнил твою жену, пусть будет трижды наказан за свое деяние. Бог его так не оставит, обязательно накажет. Я буду рад тебе всегда помочь. Не расстраивайся, производство кузнечное мы сохраним. Я приглашу замечательного специалиста по кузнечному делу Николая Федоровича Соколова, с которым мы проработали вместе много лет.

— Спасибо, Афанасий, за твое сочувствие.

— Василий, работа от тебя не убежит, отдохни. Поезжай куда-нибудь: на Мальту, в Карловы Вары, в Кисловодск, словом, туда, куда душа лежит. А мы тут с Андреем управимся, если что, мы тебе позвоним. С месяца мы вдвоем справимся на работе. Твоя дочь Наташа замечательная девочка. Ты говорил, что ее отправишь на учебу?

— Хотел, Афанасий, отправить ее учиться в институт культуры. Она хорошо играет и поет, да и историю искусств знает. Она несколько раз участвовала в вокальных конкурсах, имеет грамоты.

— Василий, училась бы она на инженера, сейчас так не хватает инженеров. Старые инженерные кадры ушли на пенсию, а новых специалистов не хватает. Надо поднимать производство и делать свое, не все же покупать за границей. Неужели у наших инженеров мало ума? По-моему, умных людей у нас предостаточно. Но народ упорно бежит за границу. Ведь мы русские люди. Куда пропали у некоторых людей гордость за матушку-Россию? Куда делись молодые Ломоносовы, Менделеевы, Сеченовы, Циолковские? Где наши последователи Пушкина, Некрасова, наконец, Льва Толстого? Да мало ли кого еще? Значительная часть молодежи безграмотна, косноязычна. Плохо знают свой родной язык. Славу богу, что ваши дети очень образованны. А кем Андрей хочет быть? Надо его тоже посылать на учебу! У нас не хватает специалистов. Пусть для начала окончат хотя бы какой-нибудь техникум. Кто нам будет помогать, если мы сами

себе не поможем? Финансовое положение фирмы, по-моему, находится в неплохом состоянии, ты можешь пригласить хороших специалистов. Так что давай думай!

— В семье, Афанасий, у меня сложные дела. Полный раздрай, сам не знаю, чем все закончится. Катя находится в глубокой депрессии. Ходит в доме тенью, отношения между нею и детьми натянуты. Это не потому, что они возненавидели друг друга, а потому, что никак не могут преодолеть возникший психологический барьер. Я тебе говорил, что дети ей простили. Но свое здоровье я подсадил сильно. Болит сердце. Часто вызываю скорую помощь, медики говорят, что у меня мерцательная аритмия. После оказания помощи я тоже неработоспособный. В общем, беда приходит не одна.

— Василий, ты сам-то общаешься с Екатериной Матвеевной?

— Пытаемся общаться, только пока на уровне «да» и «нет». Даже не знаю! Я схожу с ума, не знаю, как и о чем с ней говорить. Сам не пойму, почему это произошло? Замотала меня работа, хотел всем помочь, всех обустроить. Ан нет! Оказывается, на всех не угодишь. Не зря говорят, что всегда надо помнить о близких.

— Если ты не поможешь, Василий, кто же ей поможет. Я понимаю, что дело трудное, нелегко себя переломить. Мы же люди, все в этом мире грешны. Надо найти в себе силы и простить ее.

— Я не знаю, Афанасий, прошу ли я Катю. Пока никак не получается! Я часто вижу во сне, как ко мне приходят злые демоны и говорят: «Изгони от себя эту греховную женщину, которая предала, тогда мы освободим тебя от твоих мучений и страданий». Может быть, мне лучше застрелиться, Афанасий?

— Василий, а можно мне закурить?

— Кури, кури, — тихо, отвернувшись, чуть подкашливая и выгираясь красивым вышитым платком, едва выговаривал Василий.

Афанасий курил, кашлял и задышался. Ведь он уже давно болеет хроническим бронхитом. Ему врачи строго запретили курить. В лечении ему помогал шеф. Уже несколько раз Афанасий ездил на курорт, на соляные шахты. Грудь его теперь выглядела вполне нормально, не так выпирала, как раньше. Вспомнив о своей болезни, он погасил сигару.

## 12.

А Катя погрузилась на самое дно отчаяния. Замкнулась. Сердце ее часто щемит и болит. Прощения она у всех попросила. Теперь каждый день ходит в церковь и молится. Просит прощения у Бога за свои прегрешения. Облегчения душевного нет. Сын и дочь пытаются ее разговорить, но пока она больше молчит. Навещает Софью Александровну, соседку старую, бабушку, которой уже за восемьдесят. О чем они говорят, никто не знает. Одевается в поношенную одежду: неказистое темное платье, сапоги с короткими голенищами. Откуда-то вытащила из своих запасов старую красную вязаную кофту и черную юбку. Готовят вместе с Наташей еду. Дети страдают не меньше родителей, переживая за случившееся. Наташа старается как-то поддержать мать, она все же не чужая. Приходит часто в комнату матери и как можно мягче говорит ей:

— Мама, ну что ты все время молчишь? Мне так хочется с тобой поговорить, а ты ушла в себя.

А Катя молчит. Усевшись рядом с мамой, Наташа глядит на нее и сидит некоторое время, не произнося ни слова, гладит ее пальцы, накрыв своей рукой.

— Мамочка, что же нам теперь делать? Не в молчанку же играть. Надо нам разговаривать. Молчанием мы только себя дальше загоняем в тупик. Я понимаю, что ты сильно страдаешь от случившегося. Но ты ведь человек душевный и добрый. Надо тебе обращаться к папе, пытаться с ним разговаривать.

— Дочь, я тебя прекрасно понимаю. Как же всем нам теперь трудно. Душевные раны, которые я нанесла всей семье, очень тяжкие. Я хожу в церковь, исповедалась, прошу прощения у Бога каждый день.

— Мама, пригласи вместе с собой и папу в церковь. На него наверняка окажут благотворное действие верующие люди, атмосфера любви, уважения. Ты рассказала священнику о совершенном грехе все честно и продолжаешь раскаиваться и исповедоваться. Сделай это при папе. Священник ведь тебе сказал, что нет греха непростительного, кроме нераскаянного. Сходите вместе с отцом на исповедь и постарайтесь поговорить с ним. Обещай папе, что такое больше в жизни не повторится.

— Ты права, дочь, об этом мне постоянно говорит наша соседка Софья Александровна.

— Мама, ты и папа жалуетесь, что болит сердце. Помогите друг другу.

Жизнь шла своим чередом. Душевные раны не отменяют закон всемирного тяготения. Производство у Василия Фроловича работает. По приглашению Афанасия возглавил работу кузнечного цеха Николай Федорович Соколов. Отличный, знающий дело человек. Андрей управляет фирмой вместо отца.

Наташа мечется между папой и мамой с желанием как-то их сблизить. Трудное это дело. Наташа очень умная, деликатная девочка, умеет находить подход к родителям. Отношения сложные, но обязательно нужно этот узел разрубить.

Прошло три года. Екатерина и Василий ходят вместе в церковь. Стали они между собой общаться. По-

свежели лица у Василия Фроловича и Екатерины Матвеевны, как будто ожили.

Андрей готовится к сдаче экзаменов в один из технологических институтов Москвы, а Катя будет поступать в институт культуры.

Афанасий рассказал Василию Фроловичу, что на днях приезжал Александр, чтобы оставить доверенность на право продажи его дома. Он теперь работает кузнецом в другом городе. Просил передать Василию Фроловичу, что он искренне сожалеет о случившемся и просит прощения за свой поступок. Сказал, чтобы не поминали его лихом. А что поминать-то? Человек сам ищет и находит ту дорогу, по которой идет всю оставшуюся жизнь. От добра добра не ищут. А берегут его с благодарностью в своем сердце!

г. Калуга

## Олег ЛЕБЕДЕВ



*Олег Лебедев родился в Москве. В 1999 году окончил Литинститут (семинар Владимира Орлова).*

*Журналист, в 1997 году в «Юности» была опубликована его повесть «Нефритовый голубь».*

*Повесть автор посвящает маме, Нине Ивановне Никольской, своему самому большому другу, без чьего тепла не появилось бы ни одной строчки этого произведения.*

# РИЖСКИЙ НОКТЮРН МЕТЧЫ

## ПОВЕСТЬ

Не знаю, в чем заключается для меня притягательная магия старой Риги — шпилей и стен церкви святого Петра и Домского собора, узких улочек старых зданий, собранных вокруг этих доминант. Может,

брусчатка мостовых, монументальные стены храмов, вся атмосфера этого места вобрала в себя мудрость, суровую доброту по-особенному прекрасной, манящей к себе древней Балтики. Город был создан и разви-

вался рядом с этим морем, жил с ним одной жизнью веками. И так же море было главным в жизни всех прошедших за века поколений рижан, каждый из которых оставил после себя в городе кусочек своей души...



Возможно, оттого Рига и мистически похожа на огромный корабль, мачты которого — шпили ее могучих древностью минувших эпох кирх. Корабль, плывущий сквозь века к таинственному и притягательному своей неизвестностью будущему. Эту пленительную атмосферу ожидания будущего и ощущаю я в этом городе, построенном сильными и умеющими мечтать людьми. Людьми, жившими Балтикой и обязательно бывшими не только торговцами и военными моряками, но и мечтателями, ибо таковыми их сделало море.

Плавание — это всегда встреча, и оттого, приезжая в Ригу, я ловлю себя на том, что всегда жду этих встреч. Может, с человеком, который станет другом, может, с женщиной, которую полюбишь... Во всяком случае, у меня в этом городе возникает предчувствие такой встречи. Поэтому, порой сознательно, а порой не очень, я надеюсь на нее. Жду ее каждую свою прогулку по улицам, каждый раз, когда иду мимо шпиля святого Петра, когда смотрю на старинные амбары и дерево возле них на улице Алксная, когда здороваюсь с Черным котом — фигуркой на крыше дома возле зданий Малой и Большой гильдий.

Я жду встречу необычную, ведь каждая извилина улочка здесь — словно сказка. В нее хочется войти, ощутить, проникнуться ею, может, и пожить в ней...

Однажды, в очередной приезд в Ригу, я был, как говорится, никакой: родители в Москве были в больнице, и я переживал за них, хотя они, собственно, и уговорили меня съездить отдохнуть на три дня в Латвию. Не улучшили настроение и постоянные ссоры с давней любовницей, с которой на «три дня» я предпочел не ехать.

А тут еще и бессонная ночь в поезде. После нее болели виски. Не спасли ситуацию даже три чашки кофе, выпитого в гостинице, по пути в старый город и уже в нем самом.

И все-таки в теплый, почти безветренный, что редко для Риги, летний вечер, даже несмотря на грустные мысли и больную в прямом смысле голову, мне было хорошо здесь. Проходил по знакомым местам. В удивительно мягком закате августа я гулял возле Домского собора, домов Трех братьев, Пороховой башни. Передал привет от мамы Черному коту.

Хорошо знакомые и оттого еще более дорогие виды. Когда-то приезжал с родителями, теперь обычно бываю здесь один.

Когда-то давно я плохо знал старый город, и, отправляясь в путешествие по его кружеву, нарочно шел наугад, запутывался и, возвращаясь, открывал для себя новые и новые уголки, узнавая тем самым Ригу все больше и больше. Теперь я неплохо знаю эти места. При всем желании мне трудно потеряться здесь, хотя иногда я очень хочу этого.

Но все равно каждый следующий раз красота причудливых линий города очаровывает все сильнее и сильнее. Каждый день особенный и город, каждый его уголок в каждый новый день выглядит по-особенному. Я вглядываюсь в дома, церкви, и порой взгляд падает на то, что сегодня видится необычно, не так, как всегда. И оно, это необычное, откладывается в памяти, становится деталью повести и рассказа, а бывает, и началом его создания.

Я сочинитель, стараюсь писать прозу, хотя и работаю журналистом. Последний в Риге всегда спит, копит силы, а сочинитель господствует во мне, созерцая и принимая душой красоту. Этот сочинитель еще и мечтатель к тому же — именно он и ждет встречи. Обязательно необычной, которая может произойти только здесь.

В этот день сочинителю не повезло. Не было во мне той тонкости восприятия, из которой может родиться что-то настоящее. И встреча не выпала на его долю.

Тем не менее картины города, подкрепленные бокальчиком белого вина из «Лидо», всей его уютной обстановкой, слегка развеяли печальные мысли, привезенные из Москвы, и уходил я вечером из старой Риги уже совсем не таком настроении, в котором утром сошел с поезда.

Я шел через парк, за которым останавливался троллейбус, шедший к гостинице.

Рижские парки... На месте части из них когда-то стояли крепостные стены, потом в XIX веке их разрушили — город-корабль рос. И теперь полукольцо парков замыкает старую Ригу возле берега Даугавы и отделяет ее от построенных в начале XX столетия двадцатого проспектов, почти каждый второй дом на которых уникален, украшен красивой башенкой. К сожалению, об этих проспектах мало пишут путеводители...

Об этой вопиющей несправедливости я и размышлял, когда миновал Бастионную горку и шел по мостику в парке к остановке.

## Встреча

По традиции остановился на мостике. И тут заметил ее. Она шла со стороны старого города, была в фиолетовой футболке, узких рваных джинсах с небольшими фигурными вырезами и шлепках. Одетая с некоторым вызовом, но совершенно невульгарно, что так часто режет глаза в нашей Москве.

И еще одно. Походка! Какая-то легкая, совершенно необычная... Может, благодаря длинным стройным ногам (их-то я сразу разглядел благодаря облегающим джинсам).

Честно сказать, сначала и обратил внимание именно на ноги. Господь очень хорошо потрудился, когда создавал Женщину, и ноги — одно из того, что лучше всего при этом получилось...

Не буду подробно описывать ее. Скажу лишь, что вот тут мгновенно возникло это чувство долгожданной

встречи. Будто магнит к ней сильно-сильно притягивает...

Она вступила на мостик. Может, идет к той же остановке, что и я. Господи, ну что же сказать, как завязать разговор, никогда не умел этого делать....

Она прошла мимо, я двинулся слегка сзади. У нее длинные темные волосы, они собраны в хвост. Чуть ускорю шаг, иду почти вровень с ней. Так и прошел, поглядывая на нее — высокую, худенькую, почти без косметики и почти без обуви, — весь мостик...

Потом осенило:

— Скажите, сударыня (я так всегда обращаюсь к женщинам — есть в этом что-то уважительно и приятное — почти дореволюционное), а как мне пройти к троллейбусной остановке?

— Да вот она, за музеем, неподалеку, я иду туда... — ответила она, мельком взглянув на меня.

Ответила и продолжает идти. Не остановилась, даже шаг не замедлила... Но все-таки начало положено. Я, конечно, знаю, где остановка, до музея, похожего на старинный замок, осталось идти метров триста по парку. Время у меня еще есть. Попробую еще поговорить.

— Знаете ли, я приезжий, не очень хорошо знаю город, — неуклюже продолжаю разговор.

— Откуда вы? — спрашивает она и, кажется, впервые на меня внимательно смотрит.

Во взгляде интерес, но не только. Неужели это страх? Не боится ли она меня?

А глаза светло-голубые, цвета Балтийского моря, каким оно бывает чистым июньским утром, когда на небе почти нет облаков. Черты лица — тонкие.

— Я из Москвы, отдыхаю иногда здесь.

— А я здесь родилась и выросла.

Она слегка напряжена.

— Вот возвращаюсь из старого города, а где остановка, — добро-совестно вру, — как-то подза-

был, зимой в последний раз здесь был, а летом все по-другому...

— Каждый день отличается от предыдущего, а уж время года и по-давно.

У нее легкий, но характерный акцент. Слегка растягивает гласные. Такой бывает у местных русских, которые давно живут в Латвии, или у латышей, очень хорошо говорящих по-русски.

Мы сказали друг другу лишь первые слова, но я чувствую, что мне легко с ней разговаривать, больше того, и ей, кажется, тоже. Я сразу понимаю это. И уже знаю, что она чувствует то же самое. Не знаю, откуда эта уверенность, но я не ошибаюсь.

Сначала мне показалось, что она испугалась меня. Теперь я этого не ощущаю. И напряженность ее прошла. Может, думала о своем, а тут я со своим вопросом.

Как-то само собой получается, что мы уже идем к остановке вдвоем. Меня даже не смущает, что она намного младше меня.

Мне вообще стало очень легко, все тяжелые мысли, привезенные из Москвы, окончательно ушли прочь, и кажется, во всей вселенной остались только я и она, и эта парковая дорожка, по которой мы идем к готическому замку, почти касаясь плечами в теплом тихом вечере.

Мы продолжаем разговаривать, я узнаю, что зовут ее Анита, ей тридцать один год — значит, я на двенадцать лет старше, это нестрашно, — она заканчивает учиться на терапевта — в институт пошла не сразу, до этого работала медсестрой в Латвийском центре морской медицины, и еще она пишет стихи и сейчас как раз направляется в свой литературный кружок. Подрабатывает экскурсоводом, но не часто, времени почти нет.

Я что-то говорю ей о себе, делюсь сегодняшними рижскими впечатлениями. Но вот мы уже на остановке... Что, так и поедem в разные стороны, если нам нужны разные троллей-

бусы? Я всегда был стеснительным человеком, до сих пор удивляюсь, как это не помешало мне жениться два раза, но тут решил проявить твердость.

— Анита, а давайте вернемся, погуляем еще по «старушке» (рижане так называют старый город), не хочу с вами расставаться, и вечер такой хороший, — сказал я с решимостью солдата, поднимающегося в штыковую атаку.

После этой фразы решимость мгновенно пропадает.

— Только не подумайте ничего плохого, — говорю зачем-то.

— А я пока о вас только хорошее думаю. — Анита улыбается одними глазами.

Вдруг она высокомерно посмотрела на меня. Это очень неожиданно, тем более что и высокомерие не вполне понятное. В нем — какой-то совершенно незнакомый оттенок. Ее высокомерие намного сильнее, чем, скажем, у девочки из разбогатевшей семьи, но оно не злое, скорее из-учающее. Впрочем, она тут же снова улыбнулась и коротко ответила:

— Хорошо.

Накопленной за последние дни усталости как не бывало.

Это было как чудо — мы вдвоем вернулись в центр города, гуляли по этому причудливому сплетению улиц и переулков. По пути беседовали почти как уже давно знакомые люди. Анита рассказала мне о своей семье. Оказывается, она полукровка — вот откуда такое произношение!

Отец Аниты, латыш, в юности, как и почти все тогда, был призван в советскую армию и, как многие в самом конце семидесятых, попал в Афганистан. Он получил там тяжелое ранение, инвалид. Мама — русская, коренная рижанка, учитель в школе. Она — их единственная дочь.

— Расскажи мне о себе, — просит она. Мы уже перешли на «ты».

И я говорю о себе, своих родителях, даже про прадеда-священ-



ника, и про дворянку-прабабушку, ловлю себя на том, что как можно больше хочу ей рассказать о том, кто я и откуда взялся такой...

— А ты сам ходишь в церковь? — вдруг интересуется она.

Несколько неожиданный вопрос в начале первого свидания, а именно оно, кажется, у нас и есть...

— Не так часто, как надо, но, конечно, да, — отвечаю я. — Наша семья не из тех, кто стал посещать храмы в конце восьмидесятых, когда это стало можно делать. Мы из церкви не уходили.

Звучит, кажется, несколько высокопарно, но это правда. Я вижу, что она очень нравится Аните. Сердца наши с самого начала влекут друг друга, но этот ответ располагает ко мне и ее душу. И это изучающее высокомерие в ее взгляде больше не появляется.

Анита узнает, что я много читаю, иногда пишу прозу, исторические очерки. Совпадение — оказывается, у нас любимые книги. И их много. Может, кажется, она более ласково смотрит на меня. Потом речь заходит снова о ней.

Семья у Аниты, мягко говоря, небогатая, ей уже надоела бедность, и она думает после института уехать отсюда... Не навсегда. Из Латвии, к сожалению, сейчас уезжает много молодежи.

— Даже про Россию думала, — говорит она.

— К нам точно не стоит, — отрезаю я вполне искренне.

Она с недоумением смотрит на меня. Тогда я читаю Аните стихотворение Лермонтова «Жалобы турка» (читателю: оно именно про Россию, прочтите обязательно, пересказывать не буду). Похоже, она понимает меня, снова улыбается, уже по-другому, в ее балтийских глазах веселые искорки.

Анита берет меня под руку, я не очень люблю так ходить. С легкостью ловеласа — и откуда только взялось! — делаю непринужденное движение, и ее рука оказывается в моей. Она не против.

Скоро мы заходим в бар. Он располагается в подвале старого дома, просторный, в интерьере преобладают желтый и зеленый цвета. Много людей — есть и рижане, и туристы, в основном почему-то английские пенсионеры, хотя заведение, судя по интерьеру, рассчитано на молодежь. Здесь мы пьем «Бауское» пиво, здесь звучат удивительно приятная мелодия Раймонда Паулса и дивный голос Норы Бумбиери.

Я смотрю на руки Аниты — пальцы длинные, такие бывают у одаренных музыкантов, на ногтях нет маникюра, этим породистым пальцам он просто не нужен.

На Аните почти нет украшений. Только на шее длинные деревянные бусы с изящной подвеской.

Чувствую ее взгляд. Мы долго смотрим друг на друга. Я гляжу на нее и чувствую, что теперь все изменилось, все не так, как до нашей встречи. Любуясь ее, каждой черточкой ее лица, я понимаю, что в ней нашел свое, мне предназначенное, что уже и не чаял обрести. Раньше в отношениях с женщинами я всегда прятал, скрывал от них часть себя. Ей же я хочу открыть каждый уголок своей души, хочу быть полностью открытым для нее. И тела наши должны открыться друг другу, слиться. Может, ошибаюсь, но в ее глазах я читаю те же самые чувства.

Мы сидим за столиком, кружки с пивом отставлены в сторону и забыты. Наши руки встречаются и ласкают друг друга.

— Пойдем танцевать, — зовет Анита.

Вообще-то я плохо танцую, но с ней, кажется, буду делать все, что ей захочется. В баре есть небольшой танцпол, мы встаем, она скидывает свои шлепки и, опередив меня, босиком устремляется в его центр.

Латышскую музыку сменяли европейские мелодии, мы танцевали медленные и быстрые танцы. Трудно сказать, какие мне нравились в тот вечер больше. То ли те, когда в мед-

ленных ритмах музыки я обнимал Аниту и чувствовал ее тело, то ли когда смотрел на каждое ее стремительное и вместе с тем удивительное пластичное движение в быстрых композициях...

Мы возвращались к нашему столику, немного отдохали и снова возвращались на танцпол.

Я не знаю, сколько было времени, когда мы вышли теперь уже на ночную улицу города... В городе почти безлюдно. Несколько молодых, весело галдящих людей быстро проходят мимо нас: неподалеку один из дорогих ночных клубов.

На улице Гречниеку встречаем пожилую пару. Они идут медленно, держась за руки, неторопливая прогулка по ночной Риге, судя по всему, — одна из традиций их долгой общей жизни. На улице Алксная видим модно одетого солидного мужчину средних лет. Он не отрывает глаз от старинных амбаров, просто любит ими. Их красиво освещают ночью.

Вот, пожалуй, и все люди, которых мы увидели на своей первой прогулке. Если не считать их, мы одни, наедине с этим городом.

Была удивительная гармония между Ригой и нами. Мы были счастливыми, и, казалось, городу тоже было хорошо. Я и Анита ощущали пронизывающие все вокруг токи доброты. Доброты, созданной поколениями людей и вошедшей в древнюю причудливую ткань его улиц. По-особенному смотрели на нас редкие светящиеся окна узких старинных домов, над которыми возвышались ярусы полуспрятанного темнотой шпиля кирхи святого Петра.

Я обнял Аниту за плечи, мы шли по площадям, улочкам, некоторые из которых почти не освещены, и полумрак в такие часы делает почти незаметными на них следы современной жизни, придавая им особую прелесть. Эти места видели в тот вечер, как мы целовались.

Каждый поцелуй в жизни имеет свой вкус, дает свою неповторимую

гамму ощущений. Так вот ничего подобного тому, что подарили мне губы Аниты, у меня никогда не было. Я обрел нечто такое, чего был лишен всю жизнь.

Вдруг на нашем пути возникает какая-то темная фигура. К нам приближается человек с лицом в пятнах грязи, в темной одежде. В руке у него — длинная щетка необычной формы.

— Трубочист! — радостно воскликнула моя спутница, устремившись к нему.

Несколько раз потрогала его одежду — говорят, это приносит счастье. Радостно машет мне рукой, предлагая последовать ее примеру, что я и делаю. Без особого, впрочем, энтузиазма. В Москве, в отличие от Риги, эта примета почти забыта. У нас давно нет трубочистов в их классическом облике.

Гуляя и целуясь, прошли через всю «старушку», наконец, миновав Англиканскую церковь, вышли к набережной, к тому ее месту, где находится памятник мифическому гиганту Кристапу, который давным-давно, когда мосты еще не построили, переносил людей через Даугаву. В нескольких сотнях метров от места, где мы стояли, находится терминал, от которого каждый день отплывают парома в Стокгольм.

— Разберусь с делами в Москве, возьму отпуск, приеду — и давай побудем сначала здесь вместе, а потом поплывем куда-нибудь, — говорю я Аните.

— Я хочу этого. — Она чувствует каждое мое слово и, помолчав, продолжает: — Я часто смотрю на отходящий паром. До этого дня мне было не с кем уплыть на нем.

Мне очень хочется прямо сейчас сделать ей предложение быть всегда со мной. Но отпуск вместе — это одно, а жизнь — совсем другое. Я воздерживаюсь от этих слов, вдруг сочтет меня легкомысленным, хотя думаю об этом серьезно как никогда.

На обратном пути возле Домского собора Анита сняла с плеча мою руку, замедлила шаг. Она вдруг стала очень сосредоточенной. Остановилась прямо напротив входа. Какое-то время молча стояла. Я не мешал ей, вдруг она молится сейчас.

Это действительно было похоже на обращение к Всевышнему. Анита сложила руки на груди, слегка подалась вперед, не отрывая взгляда от громады собора. Она долго стояла так, будто чего-то ждала.

Затем повернулась ко мне. Я поразился перемене, произошедшей в ней. Она выглядела потрясенной, как человек, получивший горестное известие. Кажется, даже слегка губу прикусила, чтобы не заплакать.

— Анита, что с тобой?

— Все в порядке.

Я понял, что она почему-то не хочет разделить со мной то, что чувствует сейчас. Ничего, всему свое время, все тяжелое в ее жизни мы будем нести вдвоем.

Да... Тут мне и самому стало не по себе. Я весь вечер не думал об этом, слишком все было хорошо. Просто забыл о том, что если Анита захочет быть со мной, мне обязательно предстоит провести с ней нелегкий разговор. Она должна все знать обо мне. И захочет ли она делить это со мной всю жизнь?

Неожиданно подул невесть откуда взявшийся холодный ветер. Отступившая вечером усталость тяжелым бременем наваливается на меня.

— Холодно, — говорит Анита.

Она легко одета для прохладной ночи.

— Ты сегодня усталый, на себя не похож. — Она необычайно хорошо ощущает меня. Да уже знает и про трудные дни в Москве, и про бессонную ночь в поезде...

Несмотря на мою настойчивость, Анита отклоняет все предложения проводить ее до дома.

Я записываю цифры ее телефона в свой мобильный, мы снова, уже ночью, идем через парк. На-

чался и тут же закончился небольшой дождик, мы переждали его под деревом. Светят фонари, дорожка в парке с блестящими в свете фонарей лужами сказочно уютна. Однако Анита уже не та, какой была в баре, в начале прогулки. Она изменилась после того, как остановилась у собора. Может, мне кажется, но она старается не смотреть мне в глаза.

Но вот мы уже на остановке. Фары подходящего троллейбуса становятся все ярче и ярче.

— До свидания, завтра днем позвоню, — говорю я, — мы обязательно увидимся завтра.

— Да, — коротко отвечает она.

Потом я смотрю на ее силуэт в уходящем троллейбусе, она подошла к задней его стенке и смотрит на меня. Его светлое окно, в котором стоит она, становится все меньше.

Мне становится очень грустно, но я утешаю себя тем, что теперь уже каждая минута приближает следующую встречу.

## Исчезновение

Я обычно в плохом настроении просыпаюсь по утрам. Сегодня было совсем по-другому. Ведь накануне я встретил Аниту, мы договорились, что я позвоню после обеда, и обязательно сделаю это, мы непременно встретимся. Может быть, сегодня я и расскажу ей то, что ей следует знать про меня. Как она прореагирует? Что-то подсказывает мне, что все будет хорошо... Если она примет меня таким, какой есть, то я сделаю все, чтобы она не пожалела об этом. И уже сегодня мы снова пойдем в старый город, а может, отправимся гулять по пляжу и дюнам Юрмалы, вечером посмотрим закат на море. После чего, я уверен, она согласится, проведем ночь вместе. И будет еще один день, правда, потом придется уезжать...

Но сейчас, в эти часы, это «потом» казалось таким далеким. К тому же я обязательно вернусь к ней.



После завтрака я отправился на цветочный рынок, что напротив православного кафедрального собора, прошелся вдоль стоящих прямо на тротуаре и на лотках со вкусом сделанных букетов, по традиции высказал свое восхищение ими продавщицам и наконец подобрал самый, на мой взгляд, подходящий — в красно-бело-розовой гамме. Цвета любви, верности и нежности. Все то, что я хочу ей дать.

Затем, бережно защищая букет от ветра, пошел к собору святого Якоба... Очень люблю улицу, которая идет от него вдоль Сейма к домам Трех братьев. Но сегодня я не смог любоваться этой картиной — не до нее, так хотелось, чтобы время шло быстрее! Я прошелся к Пороховой башне, ходил по лавочкам, где торгуют янтарем, ловя себя на одной-единственной мысли: я думаю лишь о том, как то или иное украшение будет смотреться на Аните.

Купил ей кулон желтого янтаря. Немного поговорил с мастером, разложившим свои изделия на лотке возле собора святого Петра. Оказывается, в их семье уже семь поколений делают янтарные украшения. Мастер, худой латыш с длинным утиным носом и большими желтоватыми глазами, разговаривал будто нехотя, с сильным акцентом, я чувствовал, что мало интересен ему. Как, впрочем, и весь остальной мир. Что ж, такие люди с настоящим вниманием смотрят лишь внутрь себя и на янтарь, с которым работают. Оттого и видят его красоту.

Наконец, уже можно позвонить, я нахожу в адресной книжке московского мобильного ее номер, набираю. Соединения нет. Пробую снова и снова. Результат тот же. Черт возьми, в чем дело, что происходит? Смотрю на ряд цифр — код страны, потом собственно номер, вроде все правильно...

И вдруг — прошибает, как это ни банально звучит, холодным потом: записанный у меня номер состоит из семи цифр. Да, из семи, а рижские

мобильные номера — восьмизначные! Получается, вчера, когда набирал на мобильном ее номер, пропустил, сам не знаю, как это вышло, одну-единственную цифру. Теперь эта цифра отрезала меня от Аниты...

Следующие два часа я занимался тем, что набирал на мобильном разные номера, дополняя семь имеющихся цифр восьмой в разных комбинациях. Тщетно... Большинство абонентов, к которым я попадал, просто говорили, что я ошибся. Но такими лояльными были не все — четыре раза меня обругали на русском и шесть — на латышском.

Я перебрал все комбинации цифр, для экономии денег купил местную телефонную карту, но до Аниты так и не дозвонился. Получается, я сделал не одну, а еще больше ошибок, когда записывал номер, — сказала все-таки накопленная в московской гонке усталость...

Холодало, тепло первого дня сменил влажный, порывистый ветер.

Город-корабль попал в небольшой шторм. А я шел в этом ветре мимо готики Риги, не замечая ее, и искал Аниту. К вечеру ветер усилился, стал таким, что приходилось наклоняться вперед, чтобы идти, и на глазах выступали слезы...

Я искал ее везде, зашел в рижское бюро информации для туристов. Спрашивал про Аниту, описывал ее. Пожилая, еще красивая элегантно осенью латышка, выслушав мое описание, слегка пожала плечами, и, как мне показалось, с сожалением ответила, что экскурсовод, подпадающий под это описание, здесь не работает.

Несмотря на все усилия, я так и не встретил ее в те два дня, которые оставались от моего отдыха в Риге.

«Зато я два дня жил в городе мечтаний, стремясь к мечте. А это, может быть, намного лучше, чем осуществление мечты», — успокаивал я себя, отправляясь на вечерний поезд. Жалкая попытка отнестись к произошедшему философски. «Тем более еще неизвестно, что она

скажет, когда узнает от меня то, что собираюсь сказать о нашем будущем», — говорил я себе.

Сначала я думал, что скоро забуду ее, как бывало с другими женщинами. Этого не происходило. Непроходящая тоска по ней жила во мне... Эта тоска обессиливала, я будто лишился части себя самого и уже никогда не стану таким, как до вечера встречи с ней.

Я пытался найти Аниту через Интернет, оказываясь снова в Риге, искал ее в каждой идущей навстречу женщине.

## Статуя

Я нашел. Но не Аниту, а статую. Вдруг вижу, возле одного домика в старом городе стоит небольшая статуя — молодая обнаженная по пояс женщина. Но насколько же она похожа на ту девушку, которую я встретил летним вечером в рижском парке!

Вот оно, чудо старого города: сколько бы раз в нем ни оказывался, в каждое следующее посещение всегда найдутся неизведанные уголок, улочка, дворик. Я думал, что знаю город, но статуи этой не помню... Или не проходил здесь, или просто смотрел в другую сторону.

Теперь же был просто ошарашен. Каково это — встретить женщину, потерять ее, а потом увидеть ее двойницу, но в виде каменной статуи... Придя в себя, тут же связался по телефону с несколькими знакомыми рижанами, просил рассказать все, что знают о ней. Выяснилось, однако, что да, они видели ее, даже знают, что стоит с XIX века, а вот какую-либо более подробную информацию сообщить никто не смог.

Не помог мне мой хороший знакомый Янис. Он филолог, частенько продает на улице Кялкю глиняные изделия, которые делает его жена, а вечерами мы иногда говорим об общих любимых книгах в уютном кабаке в латышском стиле неподалеку от Рижского замка.

Оказался бессилён помочь мне и Василий — рижский корреспондент газеты, в которой я работаю. А я-то был уверен, что кто-то, а уж он знает о Риге все.

Тщётно обращался и к знакомой интеллигентной супружеской паре — мы познакомились в Москве на каком-то концерте, и они звали меня навестить их, когда я приеду в Ригу.

Неподалеку от этой улицы находятся дома Трёх братьев, а в одном из них есть музей архитектуры. Мне не давала покоя эта статуя, спрашивал о ней даже у прохожих, заговорил о ней и с интеллигентной симпатичной дамой, которая работала в нём.

— Я могу вам помочь, — сказала она.

Повезло, наконец...

— Это очень интересная история. — Дама внимательно посмотрела на меня. У нее были слегка кокетливые глаза. — Когда-то дом принадлежал богатому немецкому дворянскому семейству. Из поколения в поколение семья беднела и в конце концов лишилась замка в Латгалии, земель вокруг него, остался лишь этот дом. — Тут дама сделала паузу. — Кстати, — предложила она, — не продолжить ли нам разговор за чашечкой кофе?

Я отвел даму в одно из кафе возле церкви святого Петра, здесь обычно мало людей, можно спокойно поговорить.

— В конце концов, — рассказывала дама уже в кафе, — от семейства остался лишь один человек, он служил морским офицером, потом женился на русской барышне, дочери своего старшего товарища, у них родилась дочь. Эта была очень хорошая, счастливая семья. Но произошло несчастье — отец девочки серьезно пострадал от случайного взрыва на корабле, где служил. Он вышел в отставку, а потом начал играть в карты. Семья была этим почти разорена, и от полного краха мать и дочь спасла,

как это ни грустно звучит, лишь кончина главы семьи. Мне рассказывали, — говорила дама, уютно устроившись за столиком, — что он очень страдал от головных болей, не прекращавшихся после ранения... Жена ненадолго пережила мужа. Юная дочь, Эльза, осталась совсем одна. Да она так и прожила всю жизнь одна. Замуж не вышла. На бедных она не смотрела, богатым недворянам, а они ей делали предложения, отказывала. Из своего круга полюбить никого не смогла. Хотя, как говорили, очень ждала, что к ней придет любовь. — Моя собеседница томно вздохнула. — Эльза была удивительно красивой, на нее смотрели мужчины, — продолжала дама, кокетливо поглядывая на меня и допивая третью чашку кофе. — Даже когда она уже была в возрасте, почтенные отцы семейств не сводили с нее глаз, когда она выходила из дома прогуляться или отправлялась в воскресенье в кирху святого Яна. Она же не смотрела ни на кого.

Она достала сигарету, я поднес ей зажигалку. Закурил сам.

— Она бы так и ушла, не оставив после себя ничего, если бы не решила увековечить своеобразным образом свою былую красоту. У Эльзы было немного денег, но она их почти все отдала скульптору, который и создал статую, о которой вы расспрашивали. Лицо сделал по фотографиям, сделанным в молодости, а тело... Наверное, внимательно смотрел на эти снимки, художники видят многое. Статую она завещала открыть и поставить возле ее дома после своей кончины. Это было условием передачи в городскую собственность ее фамильного дома.

— Наверное, она хотела сохранить себя таким образом навсегда, — сказал я.

— Я тоже размышляла об этом, в музее хорошо думается. Учтите, что ее предки жили здесь несколько сотен лет, это был их город, и она, решив поставить ста-

тую, хотела сказать всем, что была, есть и будет здесь всегда.

— Но тогда почему она решила оставить себя обнаженной?

— Может быть, просто она была смелой женщиной, — улыбнулась моя собеседница. — Езус, Мария! Мы, однако, заговорились, — встрепенулась она, — пора собираться, уже почти ночь.

Верно, уже давно стемнело. Я расплатился, мы вышли из кафе.

Потом, это вышло вполне естественно, поздно все-таки, я проводил эту женщину домой.

Мы сошли с троллейбуса, сначала двинулись по проспекту, потом мало-помалу он перерос в улицу, где высокие каменные дома уже перемежались с симпатичными, в основном двухэтажными деревянными домами, бывшими когда-то окраиной дореволюционного города.

— Я спрашивал об этой статуе у нескольких человек, — сказал я своей спутнице, взявшей меня под руку. — Но никто не смог рассказать мне о ней. В чем же дело?

— Эльза была немкой по отцу и вращалась всю жизнь в кругу рижских немцев, они тогда в основном и жили в центре, — ответила дама. — Естественно, ее история и сохранялась в их среде. Но перед войной почти все немцы уехали в Германию. Так решили Сталин и Гитлер. А вместе с немцами ушла и часть памяти о прошлом города.

— А вы откуда знаете все это?

Она смотрит на меня. Долго. Уже не кокетливо, а томно.

— От бабушки. Я на четверть немка. Нас таких всего в Латвии всего несколько сотен человек.

Я все думаю о сходстве между Анитой и Эльзой.

— Скажите, а все-таки не было ли родственников у родителей Эльзы, может, вам что-то известно о них?

— По линии ее отца почти все ветви древней дворянской семьи пресеклись еще в XVIII веке. Так говорила моя бабушка. Что же касается



матери, то здесь ничего не могу сказать, — пожалала плечами дама. — Если хотите, зайдите ко мне, я живу одна, — вдруг предлагает она. Томность в глазах пропадает, теперь смотрит с ожиданием.

Она симпатична. Ей идет этот элегантный брючный костюм. Она лет на семь старше, мне всегда было интересно с такими.

Не помню, под каким предлогом я отклонил предложение. Эта женщина нравится мне, но где-то в этом городе есть Анита.

Я ничего нового не узнал про нее, не нашел, но зато через переданную мне историю познакомился с другой, похожей на нее женщиной. Эту каменную двойницу Аниты зовут Эльзой.

Да и была ли она, Эльза, правдива ли эта история, может, лицо статуи — плод воображения скульптора? Но почему, почему эта статуя так похожа на Аниту?

«Ты сегодня и правда усталый, на себя не похож», — вдруг вспоминаю я слова Аниты... Что значит «сегодня», что значит «на себя не похож»? Тогда я не обратил внимания на эти слова, но теперь... Получается, она видела меня раньше?

Но я знаю точно — Аниту раньше, до этого вечера счастья, никогда не видел. Я в своем уме. Ко мне приходит фантастическое предположение, которое, однако, все объясняет.

Мимо небольшой статуи, я мог, пожалуй, пройти, не заметив ее. Может, задумался, может, что-то другое рассматривал. Звучит как сказка, но неужели Анита — это ожившая статуя, которая видела меня, а затем, преодолев время, пришла в парк встретиться со мной?

А может быть, все дело в городе, это Рига, этот город-корабль сделал круг во времени и таинственным образом явил мне себя в ней одним из своих ликов, воплотившись Анитой — моей мечтой.

Она появилась и исчезла... Впрочем, все это фантазии.

В любом случае, что-то говорило мне, что я еще встречу ее — Аниту. С корабля мне ни в коем случае сходить нельзя. С корабля, на мачтах которого — золотые волшебные петухи рижских кирх.

Надо просто чаще бывать в Риге. Здесь круг обязательно замкнется. Корабль приведет меня к мечте. Я ее снова увижу, и мы объяснимся. Как знать, может, это произойдет в мой следующий приезд в Ригу. Надо ждать...

**Целой жизни мало, чтобы ждать тебя, моя жизнь пропала, если нет тебя...** («Шербурские зонтики»)

Я и ждал. До этого был дважды женат, были и другие отношения. Были, естественно, и разлуки, переживания, расставания... Но такого состояния, как сейчас, не было никогда.

В Москве дни были легче, чем ночи. Дела отвлекали. А как вечер и я более или менее свободен, вновь и вновь переживаю заново каждую минуту, когда Анита была рядом, воскрешаю эти картины в памяти. Вот я на мостике, впервые вижу ее. А теперь мы в кафе. Гуляем ночью по городу. А вот и страшный кадр — троллейбус увозит ее от меня.

Почти не спал, даже снотворное оказывалось бесполезным.

Самыми тяжелыми оказывались первые мгновения после пробуждения. Ночами все-таки ненадолго отключался, сны уводили в другие миры. А как просыпался, первая мысль — потерял ее, потерял навсегда. Почти бессонные ночи слегка притупляли дни, и это было к лучшему.

И что интересно, порой возникало необъяснимо сильное желание забыть Аниту. Совершенно непонятно, откуда оно бралось — ведь я и жил-то мыслями о ней. И когда это желание наполняло меня, во мне начинали бороться два «я». Второе, тоскующее, всегда побеждало. Побеждало и все сильнее съедало меня.

— Сделай многократную визу и как только можно, езди в Латвию,

хоть на день. Хоть на два, хоть на месяц, — говорила мне мама. Она была одной из двух людей, кому я в Москве рассказал про Аниту. — Не скрою, мне будет плохо и трудно без тебя. Но мне будет еще хуже, если ты потеряешь ее. Я всегда говорила, что рано или поздно ты встретишь свою женщину. Сейчас, когда это произошло, твое место там, где ты найдешь ее.

— Твоя мама права, — убеждал меня мой друг Роман.

Мы гуляли по бульварному кольцу, когда он узнал мою рижскую историю.

— Отправляйся в Латвию и постарайся найти ее, иначе покоя тебе не будет. И маме твоей тоже, — произнес он. Роман хорошо знает меня. Он любит меня и умеет правильно расставить акценты.

Мама болела, и мне было очень трудно уезжать, но я послушался совета. Благо такая возможность была. Я, скорее, вольный журналист, в штате газеты числюсь формально, поэтому могу располагать временем. И деньги на гостиницу и билеты у меня есть. Оформил многократную визу и стал чаще, чем прежде, посещать Ригу, теперь уже не для того, чтобы отдохнуть, а в надежде встретить ее.

Я не искал ее специально. У меня не осталось никаких ниточек, которые могли бы вывести к Аните. Надеялся лишь на случай.

Здесь, в Риге, мне было особенно тяжело. Если в Москве отвлекали дела, то в этом городе я был предоставлен сам себе и жил в тоске, из нее, казалось, состояло каждое мгновение моего пребывания здесь. Но в каждом мгновении было и исцеляющее, поддерживающее ожидание встречи.

Поддержку себе я находил в самом этом городе. Его готические очертания виделись мне теперь мрачными, созвучными моему настроению. Город будто разделял со мной мои переживания. Вечерами я бродил по улицам Барона, Бривибас, Чака,

рассматривая очертания башенок домов. В самом старом городе и особенно в том парке почти не бывал. Тяжело было даже близко подходить. Слишком больно было видеть все эти места, где были вместе. Иногда все-таки преодолевал себя и проходил по ним, не встречая ее...

## Калейдоскоп

А порой просто шел куда-нибудь. Раз, поздно вечером, забрел на набережную Даугавы в районе Московского форштадта. Хоть и не старый город, но по-своему красивое место. Дореволюционные дома выглядят более простыми, чем на центральных проспектах, но очень симпатичными. Высокая колокольня Гребенщиковской церкви.

Сейчас здесь безлюдно. Я наедине со своей тоской. Просто смотрю на реку. Она слегка успокаивает. Ее волны будто уносят с собой частицы моей боли. Мне хочется оставаться возле Даугавы долго. Наедине с рекой мне легче, чем среди людей.

Хотя нет, я не один. Смотрю на реку и не верю глазам. Над водой — какая-то белая фигура, я не могу разобрать что это, она еще далеко, но приближается ко мне.

Очень скоро я вижу, что это всадник на белой лошади. Он несется стремительно, прямо в мою сторону. Прямо по поверхности воды. Я не успеваю даже удивиться всему этому, в голове другое: он мчится на меня, собьет.

Всадник резко останавливается буквально в метре от берега. Я у самой кромки набережной. А он со своим конем, копыта которого, как я теперь вижу, не касаются воды, застывает у самого края реки. На всаднике белый старинный мундир, и все на нем белое — погоны, ордена на груди. Лицо его очень бледное, под стать мундиру. Лоб высокий, волосы слегка вьются. В глазах — горе. Он молча, внимательно смотрит на меня. А потом просто исчезает вместе со своим конем.

Будто его и не было. Я снова один на набережной.

Я не успел испугаться, все произошло очень быстро. Знаю одно — впервые в жизни видел призрак. В голове сначала промелькнуло предположение, что это мог быть епископ Альберт, но я его быстро отмечаю. Из другой эпохи Белый всадник — он был в мундире XVIII века, вооружен шпагой, пистолетом. Епископ так выглядеть не может.

Занимает мои мысли другое — горестное выражение его глаз. Что если его таинственное появление — плохой знак? Может, и глаза у него такие оттого, что предвидит плохое, знает, что я не найду Аниту.

Я ухожу с набережной еще более расстроенный, чем раньше. До гостиницы дохожу с трудом, усталость наваливается. Усталость отчаяния.

На следующий день мне очень не хотелось вставать. Понимаю одно — надо встряхнуться. Вспоминаю друга — очень любит жену, но они часто ссорятся и конфликты продолжают долго. Он снимает напряжение в салонах эротического массажа. Говорит, очень хорошая разрядка. Может, и мне попробовать?

Нашел в газете адрес. Прошел два квартала, набрал нужный код. Дверь открылась. Миловидная женщина впустила меня в квартиру, я оказался в полутемной уютной комнатке, большую половину которой занимала низкая двуспальная кровать. Со мной молоденькая крашеная блондинка, у нее большие упругие груди. Волосы мне ее понравились. Светленькие, а слегка вьются. Редкое, красивое сочетание.

Она заводит меня, но тело и душа у меня сейчас в разных измерениях. Телу хорошо. Но в душе мне жаль, безумно жаль нас обоих. Каждый из нас в эти минуты мог быть со своим человеком. Мои внутренние переживания не мешают блондинке быстро довести меня до сильного оргазма. После него мне становится еще хуже.

Я думаю лишь об Аните, преодолевая себя, пересекаю бульвар

возле Бастионной горки, иду по улице Кялкю, прямо в центр старого города. Все это часть нашего маленького общего прошлого, которое мне хочется вспоминать и вспоминать снова и снова, хотя и очень больно от этого.

Я пришел в кафе нашего единственного вечера. Лучше бы я этого не делал. Все здесь так, как и тогда. Даже пенсионеры снова оккупировали половину столиков.

Я почему-то разозлился на них, на это кафе, на всю Ригу, а главное — на Аниту. Она где-то здесь, в этом городе — но не со мной! Лучше бы не встречался вовсе с ней! Знать ее не хочу! И думать о ней больше не буду!

Злился и делал то, что мне обычно совершенно несвойственно — напивался. Даже нарочно смешал глинтвейн — была поздняя осень — с пивом. Все хотелось забыть раз и навсегда.

— Я вам не помешаю? — спрашивает меня кто-то.

— Нет, — полумашинально отвечаю я.

— Извините за вторжение, люблю бывать здесь. Уютно, а сегодня так мало свободных мест.

У соседа по столику солидный, слегка самодовольный вид. Лицо скорее квадратное, нос длинный, прямой, глаза маленькие, губы тонкие. Одет подчеркнуто модно, так одеваются мужчины под пятьдесят, которые стремятся выглядеть моложе.

Он читает меню, делает заказ, смотрит на меня. Дежурно улыбается. Но практически тут же в его улыбке появляется искренняя приветливость.

— А я как-то видел вас на улице Алксная, помните, ночью, в августе. Вы с симпатичной молодой дамой были.

Я легко вспоминаю его, на улицах тогда почти не было людей. Да, это он тогда с восхищением разглядывал здания на этой дивной улочке.

Слово за слово, мы разговорились. Зовут его Аполлон Яковлевич, он



критик-искусствовед. «Искусствовед в третьем поколении, коренной рижанин», — как он гордо отрекомендовался. Собеседником оказался очень интересным.

Сперва мы говорим об искусстве, потом, как водится в пьяных разговорах, а мой собеседник, как мне кажется, не остается от меня по количеству выпитого глинтвейна, переходим на самые разные темы, а затем — уже и на личные.

Мне хотелось поделиться с кем-то, и я рассказываю Аполлону Яковлевичу о том, как встретил и потерял Аниту, как не могу найти. При историю со статуей умалчиваю — это слишком необычно.

— Эта та девушка, с которой вы гуляли? Симпатичная. Очень жаль, как я понимаю вас. — Аполлон Яковлевич дружелюбно и долго смотрит на меня. — Знаете, я любил, и любил по-настоящему, — продолжает он, заказывая еще два бокала вкусного и горячего спиртного, — и сколько же страданий принесли мне женщины, сколько раз я думал, что погиб. А потом... потом все прошло. Жизнь продолжалась! Выпьем за жизнь.

Мы выпиваем.

— Живите разумом, — говорит он, допивая свой бокал. — Скорее всего, история с Анитой лишь страница в вашей жизни, — успокаивает он меня. — вспомните, что приказал написать на своем перстне царь Соломон? — Аполлон Яковлевич слегка наклоняется ко мне, таинственно улыбаясь.

Я не помню, пожимаю плечами.

— На перстне вырезали следующие слова: «И это пройдет», — рассказывает мой собеседник.

Он и дальше продолжает утешать меня, переходя при этом от исторического примера к другому методу.

— Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, — довольно громко поет он, забавно подмигивает, хочет, видно, развеселить меня, помочь выйти из тоскующего состояния.

Сперва все во мне отторгает его слова, слушаю лишь из вежливости. Затем постепенно успокаиваюсь, возникает одна простая мысль: а в чем, собственно, он не прав? Разве мой опыт до Аниты этому не свидетельство?

Сперва я гоню эту мысль, но она завладевает мной все больше и больше. Как хорошо, что я его встретил... Но вдруг я как-то встряхнулся, вернее, что-то встряхнуло меня. Крик петуха раздался! Будто будильник позвонил, выкинул из сладкой дремоты. Спьяну я не стал думать, откуда здесь, в кафе, мог взяться петух. Впрочем, чего спьяну не пошлится.

Главным в этот момент было другое: петушинный крик выбросил из моей головы все вполне разумные доводы Аполлона Яковлевича.

Будто выйдя из оцепенения, я еще более четко осознаю, что это не пройдет, что у меня другой случай, что Анита — это не то, что было у меня раньше, я люблю ее, но, к горю своему, не могу найти.

— Еще раз повторю вам, живите разумом, а не эмоциями, — убеждает меня тем временем Аполлон Яковлевич.

Верно, иногда слова разума успокаивают сердце. Но сейчас болит оно очень сильно, и именно разум говорит мне, что его только Анита вылечит.

Я не спорю с почтенным искусствоведом. Ко мне возвращается злость. Я ненавижу все окружающее, весь этот город, сначала подаривший, а затем отнявший ее.

Мне захотелось уйти из этого кафе, убежать отсюда как можно дальше. Еле сдерживая раздражение, дождался официанта, дал ему денег.

— До свидания, — сказал Аполлону Яковлевичу.

— До встречи, — сердечно улыбнулся он. Глаза у него были совсем трезвые, внимательные.

«Что ж, бывают и такие — пьют и не пьянеют», — отметил я про себя.

— Не нужна сдача, — бросил я официанту. Надел свое модное паль-

то и хлопнул дверью.

Я шел так быстро, как мог, плохо представляя куда. Скоро оказался на набережной. Неподалеку причал, от которого отходят паромы.

В сильном ветре Даугава шумела и сердилась. Ее темные сильные волны будто хотели смыть набережную, весь город. Но незыблемо стояли пики его кирх, мосты, перекинутые через реку, высотка Hansabanka на другой ее стороне. Несколько минут смотрел на воду. Всегда любил это место, но сегодня беспокойствие реки будто подпитывало злость, росшую во мне.

Ушел с набережной, дважды упал, все-таки выпили прилично, поднимался лишь благодаря сильной злости. Действие алкоголя усиливалось, нарастала усталость, и в третий раз подняться было уже очень сложно, еще и руку расшиб — кровоточила. Я чуть не заплакал от злости. И так захотелось, чтобы Анита пожалела меня сейчас...

«Вообще-то надо идти домой, хотя, черт возьми, какой дом, в гостицу на улице Вольдемара», — пришла в голову удивительно разумная для нынешнего состояния мысль.

Огляделся по сторонам, района не знаю, далеко ушел из центра и непонятно в какую сторону. Вокруг одно- и двухэтажные деревянные дома, склады. На улице никого нет — время позднее, а Рига засыпает раньше, чем Москва.

Покачиваясь, все еще злой, пошел наугад в ту сторону, где, как мне казалось, должен быть центр. Спросить бы хоть у кого, как идти... Вдруг вижу — в метрах пятидесяти передо мной кто-то переходит улицу, спешу к нему, чуть снова не падаю, спотыкаясь о трамвайные пути.

Человек видит, что я спешу к нему, останавливается.

— Подскажите, пожалуйста, как мне пройти на улицу Вольдемара? — спрашиваю я, подбегая к нему.

— Вам надо повернуть назад, от-

куда шли, через три квартала поворот направо, — тут мой собеседник делает паузу, как будто считает про себя. — Затем два квартала прямо, и тут выйдете на улицу Альберта. А там уже не запутаетесь, выйдете на Вольдемара.

Он говорит с сильным, но точно не латышским акцентом. У него породистое, суровое, но без злобы лицо, волевые серые глаза. Я замечаю сутану, она видна из-под пальто. «Священник и какой-то приезжий», — отмечаю про себя. Несмотря на пальто с каким-то старомодным меховым воротником, в которое он одет, я вижу, что этот человек крепко сложен. Весь он какой-то сильный и собранный. «Наверное, нравится прихожанкам», — думаю я.

Но что-то уж больно извилистую дорогу он мне предлагает. Не делал я столько поворотов, когда шел сюда, а улица Вольдемара проходит возле самого центра. Я не настолько пьян, чтобы не понять этого.

— Скажите... — потом спохватываюсь, добавляю: — Батюшка, а покороче нельзя добраться до Вольдемара?

— Нет, нельзя, — он резко качнул головой, категорически отменяя все альтернативы, — на двух улицах ремонт.

Делать нечего, пойду, как советует.

— Благодарю вас, батюшка, — всегда так обращаюсь к священникам, даже если и неправославные.

— Не за что, — он едва заметно улыбается. — Идите же, молодой человек, не задерживайтесь. Время позднее, впереди ночь. Петухи запойют еще не скоро. Да пребудет с вами Господь.

— До свидания, — уже на ходу прощаюсь я и ловлю себя на том, что хотя и зол на весь город, а заодно и на всех его жителей во главе с Анитой, но на священника это чувство совершенно не распространяется.

Несмотря на туман в голове, я запомнил предстоящий маршрут движения. Вскоре, почти не протрезвев-

ший, еще более усталый, и от всего этого еще в большей ярости, вышел на улицу Альберта.

Она освещена вечером, и если бы не мое состояние, я бы любовался каждым ее домом, каждым подъездом — ведь это знаменитый рижский Югендстиль. Но сегодня смотреть ни на что не хотелось. Даже сфинксы, стоявшие возле одного из зданий, сейчас казались мне враждебно настроенными чудовищами.

Навстречу мне шли несколько молодых людей. Два юноши и девушка. Оба молодых человека модно одеты — в длинных плащах, в фуражках, их шарфы элегантно повязаны. Под стать им девушка в легком пальто изящного фасона и симпатичной шляпке. Весело болтают, такие счастливые... Видеть их не могу.

«Ненавижу», — бьется в голове хмельная злость. Я еще пытаюсь сдержаться. Хочу закурить, лезу в карман — пусто, выронил пачку сигарет где-то. Ее отсутствие обрывает последний внутренний тормоз.

— Дайте сигарету, — грубо требую я, перегораживая им путь.

Кажется, парни, а девушка в еще большей степени, напуганы. Я намного крупнее каждого из этих мальчишек. И видок еще тот — пьяный, порвал пальто, рука в крови.

— Сейчас, сейчас, — отвечает худенький блондин, — вот только найду пачку. — Он засовывает руку сначала в один карман своего красивого плаща, затем в другой.

— Быстрее, — я продолжаю накаляться. Чувствую, что даже хриплю от злобы. Это внешнее проявление. А как внутри все клокочет и булькает!

— Минуточку. — В его голосе я чувствую успокаивающую интонацию, оттого завожусь еще больше.

Я хватаю его за шарф, притягиваю к себе.

— Сейчас как врежу...

Он тянет свой шарф на себя. Девушка испуганно вскрикивает.

Вдруг я чувствую на плече чью-то руку. Оборачиваюсь. Полицейский. Невысокий парень с круглым лицом. И подошел-то незаметно, обученный, черт побери.

— Айварс Екабсонс, седьмой полицейский участок, — представляется он и, почти не делая паузы между словами, продолжает: — Немедленно прекратите безобразничать, не ухудшайте свое положение.

Я только злобно дышу, но шарф молодого человека из руки выпускаю.

— Пройдемся со мной в участок, — приказывает сержант, — а вы, молодые люди, следуйте за нами, вы нужны для составления протокола.

— Никуда я не пойду, — стою, как скала. Пьяная, слегка покачивающаяся скала.

Потом, уже не контролируя себя, замахваюсь на него. Полицейский легко ловит мою руку и делает небольшой, но довольно-таки болезненный боевой прием. Один из молодых людей хватается за меня сзади.

— Пойдемте в участок, — снова повторяет сержант. Уже сердито.

«Я вас всех разбросаю», — я пытаюсь вырваться. Бесполезно, они крепко держат меня.

## Снова вместе

— Отпустите его! — слышу я чей-то голос. Голос Аниты!

От этого я сразу трезвею. Он вернулась в мою жизнь, чудо произошло. Я ее больше не отпущу от себя. Мне теперь только стыдно, что я в таком виде...

Она, продолжая говорить, но уже по-латышски, как-то удивительно ловко вклинивается между мной и сержантом Екабсонсом. Некоторое время мы стоим вчетвером — молодой человек, держащий меня, я, затем Анита и, наконец, сержант, который все еще не ослабил свой болевой прием.

Анита что-то быстро говорит. Скоро сержант Екабсонс, сурово взглянув на меня, отпускает мою руку. От-



ходит в сторону, укоризненно качая головой, и молодой человек.

Я стою, потирая окровавленной рукой другую, которой тоже больно после его приема. Злоба, распиравшая меня весь вечер, постепенно уходит. Я начинаю чувствовать себя напроказившим ребенком.

Монолог Аниты, обращенный к представителю власти, продолжается. К нему внимательно прислушиваются молодые люди. Полицейский что-то спрашивает у Аниты, она отвечает, он кивает головой, задает второй, третий вопрос. К разговору подключаются молодые люди. Я так и стою в стороне. Обстановка между тем разряжается. Говорит по-прежнему в основном Анита. А сержант и молодые люди уже согласно кивают ей, иногда поглядывают в мою сторону. Уже не сердито, а, как ни странно, с сочувствием.

Сержант Айварс Екабсонс с важным видом, будто нотацию читает, долго что-то говорит Аните, оба юноши и девушка, судя по всему, полностью согласны с ним. Она согласно, с сокрушенным видом, качает головой.

— Что ж, учитывая все обстоятельства, я отпускаю вас, — обращается наконец сержант ко мне. — Вы вели себя очень плохо, — наставительно продолжает он, — постарайтесь впредь ничего подобного не допускать. Чтобы больше вас в таком состоянии никто не видел. А теперь ваша безответственная жена ответит вас домой — и не выходите оттуда, пока не приедете в себя!

Что, собственно, происходит?

А тут еще и девушка платочек протягивает.

— Возьмите, вытрите руку. — Она улыбается.

Молодой человек снова роется в карманах, протягивает мне пачку сигарет.

— Ludzu!<sup>1</sup>

Я беру ее, тупо разглядываю.

Голос сержанта отвлекает меня от этого занятия.

— До свидания, — важно говорит он и... уходит.

Молодые люди также покидают наше с Анитой общество, продолжая бесцеремонно прерванный мной путь. Худенький блондин на прощание даже улыбается, поправляя шарф.

Мы вдвоем на улице Альберта. Она одета не так экстравагантно, как прежде, — в коричневом драповом пальто, на шее узенький фиолетовый шарф. И похудела, осунулась, синяки под глазами.

Анита подходит ко мне, берет платочек, перевязывает им мою руку. Наклонилась слегка, и я не вижу ее глаз. Я их так давно не видел.

От ее близости ко мне сейчас, от прикосновения к руке я будто просыпаюсь. Кончился тяжелый кошмарный сон, начавшийся, когда я потерял ее. Я снова вижу ее, вижу в обрамлении красоты Югендстиля улицы Альберта.

Свободной рукой я глажу щеку Аниты.

— Прости, что я в таком виде.

— Что ты такое говоришь. — Она наклоняется еще больше, прижимается лицом к моей руке.

— Посмотри на меня.

Она поднимает голову. В ее глазах очень многое — и сострадание ко мне, и какая-то сильная усталость, и грусть. Но главное, что я вижу и чувствую каждой клеточкой своего тела, — она рада меня видеть. Я прикасаюсь к ее шее, тому месту, которое не закрыто шарфиком.

— Я столько искал тебя.

— Я знаю. — Она уже давно перевязала мою руку, но не отпускает ее, а держит крепко-крепко. — Прости, но я дала тебе неправильный номер телефона.

Я уже ничего не понимаю, ведь я вижу чувство ко мне в ее глазах.

— Объясни, почему?

— Потом, — Анита отрицатель-

но качает головой. — Давай пойдем в гостиницу, ты правда выпил, я отведу тебя.

— Я выпил, между прочим, оттого, что не могу найти тебя,

Я сержусь на нее, пусть объяснит-ся, но не могу оторвать руку от ее щеки.

— Прости, прости, что причинила тебе эту боль, а сейчас и правда пойдем. — Она берет меня за руку, слегка тянет за собой.

— Хорошо, скажи хоть, что такое ты сказала полицейскому?

— Сказала, что ты мой муж, я тебя обидела, выгнала, отправила к родителям в Москву.

— И что этого было достаточно, чтобы меня отпустить?

— Не совсем, еще я сказала, что ты алкоголик и страдаешь психическим расстройством, — грустно улыбается она. — А сорвался ты нынче из-за того, что я вела себя, как стерва, но теперь об этом очень жалею и извиняюсь перед господами студентами и полицейским.

— Горазда врать, и как они тебе только поверили.

— Я умею говорить с людьми. Мне всегда врет.

Он внимательно смотрит на меня — в глазах сквозит та самая надменность, что и прежде. Только обращена она уже не ко мне.

— Да, хорошенькая пара мы с тобой — стерва и псих, — не удержался, чтобы не съехидничать. — Кстати, как ты здесь оказалась?

— А здесь находится литературный кружок, в который я хожу.

Под руку мы пошли по улице Альберта. Мы еще не объяснились, все это будет потом, сейчас мне стало настолько хорошо, что даже в непроницаемых лицах ее сфинксов я видел добрые улыбки.

Скоро вышли и на улицу Вольдемара, через несколько кварталов гостиница. Пошли пешком. Анита сказала, что в троллейбус меня в таком виде кондуктор не пустит.

Сколько раз я один в самое разное время года и в самом разном на-

<sup>1</sup> Ludzu — пожалуйста (лат.).

строении ходил по этой улице. В последнее время, время тщетных ее поисков, дорога была всегда грустной. А теперь я ее просто не замечал. Чувствовал только Аниту, идущую рядом. Мы и не разговаривали, просто шли вместе.

В фойе гостиницы остановились у стойки, за которой при виде нас встрепенулся подрабатывающий ночными сменами студент Рижского технического университета.

Строго посмотрев на него, Анита перечислила все, что нам нужно незамедлительно принести в номер: бинт, йод, нитки и иголку.

Рука разболелась, пальто, пиджак и рубашку пришлось снять с ее помощью.

В номере тепло. Анита снимает пальто, сбрасывает шарф, остается в желтой майке с открытыми плечами, джинсах, разувается. Как тогда летом, любит ходить босиком. Она очень похудела.

Отводит меня в ванную и тщательно промывает руку водой. Потом мы сидели рядышком на кровати, она мазала йодом и перевязывала меня. Мне было настолько уютно и хорошо, что распробовал я пока отложил.

На желтой майке Аниты — фиолетовые узоры. Я вижу, что свой стиль вызова в одежде она не бросила, просто спрятала под пальто.

Скоро мой очаровательный доктор превратился в не менее очаровательного портного. Сев по-

турецки на кровать, Анита старательно зашивала мое порванное пальто, и казалось, ее настолько поглотило это занятие, что она забыла о моем присутствии. Во всяком случае, смотреть на меня избегала.

Я же просто гладил ее по спине. Затем обнял, начал целовать в шею. Она отложила иголку с ниткой и почти зашитое пальто. Но осталась сидеть так, как и сидела, только лицо в руки спрятала.

— Милая моя, — прошептал я, — что с тобой такое?

Она вдруг резко встала с кровати, сбросив мою руку.

— Все. Мне пора идти. — Анита идет в сторону прихожей, где осталась ее одежда, но вдруг останавливается.

Я подошел к ней. Снова не смотрит на меня. Но и уйти уже не хочет. Борется сама с собой.

— Извини, но я тебя не любила и не люблю, у меня есть другой, — вдруг резко произносит она.

Врет, я знаю это. Чувствую, тянется, очень сильно тянется ко мне, но что-то сильно ее сдерживает.

Я стою совсем близко к ней. Наконец она смотрит мне в глаза. Встречаю ее губы. Она отвечает на мой поцелуй. Мы так долго стоим вместе.

Неожиданно она пытается оттолкнуть меня, но я не отпускаю ее.

— Я больше так не могу, не могу, — почти стонет она.

Анита плачет. Судорожно обнимает меня, так что ее ногти царапают мне спину. Плачет, прижавшись ко мне.

Я усаживаю ее на кровать, встаю на колени перед ней. Пытаюсь успокоить. Она все так же рыдает, закрыв лицо руками.

— Успокойся, прошу тебя, расскажи, что с тобой такое творится, — уговариваю я ее, — поделись со мной.

— Я не должна ничего говорить, — сквозь слезы отвечает она.

— Должна, — говорю я, — мне нужно знать, почему ты скрылась от меня тогда, что не хочешь сказать сейчас. Я не смогу долго так жить, как жил, потеряв тебя.

Она прекращает плакать.

— Я тоже так больше не смогу, — произносит она.

Потом продолжает с неожиданной решимостью:

— Пусть я нарушу правила, но я расскажу тебе все. Не знаю, правильно ли это. Но не буду ничего скрывать. Может, это поможет нам быть вместе. Хотя я в наше общее счастье почти не верю. И еще... Нам, и особенно тебе, может грозить большая опасность, если мы попытаемся что-либо сделать, для того чтобы навсегда остаться друг с другом.

Вот именно — навсегда. Я выделяю для себя это слово. Именно этого я и хочу. И она тоже — теперь я знаю.

*Продолжение следует.*

*г. Москва*



## ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»

### ПОВЕСТЬ

#### ГЛАВА V. Блокадная история

Углов вышел к своим утром следующего дня. И тут полоса невероятного везения продолжилась. Когда его вместе с другими вышедшими из окружения бойцами вели на допрос, навстречу попался корреспондент фронтовой газеты Суровцев. Увидев Углова, он приветственно взмахнул рукой:

— Привет, Углов, жив?! Куда тебя ведут? На допрос? Подожди, сейчас я все улажу: командир полка Ветров — мой давний друг. У нас в газете уже есть потери. Вчера под бомбежкой погиб Груберман. Нужна замена. А людей нет. Я помню твои острые внештатные публикации. Пойдешь к нам? Согласен? Ну вот и ладненько.

Через полчаса Углов уже трясся в машине вместе с непрестанно говорящим Суровцевым, нервно переживающим свой приезд почти к самой передовой. Он возбужденно задавал вопросы Углову об участии в бое и тут же, не дожидаясь ответа, сам начинал рассказывать о том, где побывал и что видел в первые дни войны. Внезапно Суровцев замолчал и, прикрыв глаза, устало спросил:

— Как думаешь, Углов, выдюжим?  
— Не знаю, Виктор Сергеевич! На войне, как я убедился, и на минуту вперед загадывать нельзя.

— Темнишь и уходишь от ответа. Правильно делаешь. Я и сам пока не вижу просвета. Ладно, давай помолчим. Скоро будем в Москве, и, уверен, наш главный редактор — человек со связями — быстренько оформит на тебя все необходимые документы. У нас все лучше, чем по полям с винтовкой от немцев бегать.

— Спасибо, Виктор Сергеевич! Я этого вам никогда не забуду.  
— Ладно, брось. Свои люди — сочтемся. Нам действительно нужны владеющие пером. Многие в эвакуации, Груберман, как я уже говорил, погиб, а еще один, Никифоров, пропал без вести. Скорее всего, уже не узнаем, как и где сгинул. Так что услуга моя не ахти какая. Просто комполка Ветров со мной до войны в теннис на Петровке играл. Я потому сюда к нему и поехал. Думал, узнаю хоть что-нибудь положительное для газеты. Пусто! Никто даже не знает, где мы и где враг. Повезет, если доедем до Москвы без приключения.

— А как же материал для газеты?  
— Обойдемся, как обычно: бравурно отрапортуем, что в тяжелых боях выравниваем линию фронта. Кстати, есть и такие участки, где сильный урон немцам наносим. Только я туда пока не попадал.

— И не жалеите. Где бьются по настоящему, и не с винтовками против танков, там мало кто остается в живых.

Впереди показался контрольный пункт, и Суровцев предупредил:

— Не бойся. Я в штабе у Ветрова на машинке напечатал временное удостоверение, что ты корреспондент, и сам подписал. Да еще захваченный случайно впопыхах штампель редакции поставил. Наш советский человек любую бумажку с печатью за официальный документ почитает. Думаю, проскочим.

Все прошло гладко. Их пропустили без проволочек. К концу дня Углов уже имел официальный документ, подтверждающий его принадлежность к когорте военных корреспондентов. И понеслись горячие будни постоянных разъездов по действующим частям. Всюду с собой Углов таскал на дне вещмешка жестяную коробку «Монпансье», наполовину наполненную сладкими леденцами. Она напоминала ему о совместной трапезе на сельском кладбище четверки бойцов, выходящих из окружения. И Углов суеверно решил, что коробка «Монпансье» станет хранящим его жизнь талисманом: «У других талисман — ключ от родного дома, а у меня

эти конфеты. Пока в коробке будет храниться хоть один прозрачный округлый леденец, я вне опасности. Даже не буду заглядывать вовнутрь. К тому же иметь с собой на фронте неприкосновенный запас никогда не лишне».

И Углов, не зная о находящемся у него в вещмешке бриллианте, разъезжал по местам боевых действий, выполняя задания редакции. Фронт уже отодвинулся от Москвы, шли тяжелые бои под Ржевом. Углова повысили в звании. Он писал бойко и остро. Его заметили и перевели в одну из центральных газет. Главный редактор его ценил: рассматривая свое служение газете как подготовку к будущему писательству, Углов охотно соглашался на самые опасные и ответственные задания. Несмотря на постоянную опасность, Углов всегда выходил невредимым из-под огня, и коллеги-корреспонденты не без оснований считали его везунчиком. А Углов все больше утверждался во мнении, что именно нетронутая им банка с леденцами хранит и спасает его от беды.

Так продолжалось до декабря 1942 года. Задание лететь в блокадный Ленинград не удивило Углова. До него доходили слухи о косящем жителей города голоде. И он захватил с собой по паре банок сгущенки и тушенки, плитку шоколада и флагу со спиртом. На дно вещмешка положил свой неизменный талисман — наполовину заполненную леденцами коробку «Монпансье».

Приехав на аэродром, познакомился с летчиком, невысоким рыжеватым парнем. Тот сразу кивнул на перекинутый через плечо Углова фотоаппарат:

— Сделай фотку на память. Пошли к себе в деревню в Оренбургскую область. А еще лучше напиши обо мне в газете. Мол, летел вместе с доблестным сталинским соколом Никитой Степным. Если нельзя полностью, то укажи просто — Никитой С. из Сибири.

— Я попробую. Если цензура пропустит, будешь красоваться в газете.

— Вот и ладно. Похоже, у тебя в городе знакомых и родственников не имеется: очень уж тощий вещмешок с собой захватил.

— Неужели так плохо?

— Сам увидишь. Летишь туда впервые? Я так и думал: слишком уж ты спокоен. Ну ладно, пугать не буду. Авось благополучно долетим. Лезь в самолет. Мы тебе вон там место освободили, оставив на складе два ящика тушенки. Для голодных людей в блокадном городе это, брат, ощутимо. Стоит твоя будущая газетная заметка этого? Ладно, приказы не обсуждаются, а выполняются. Главное, чтобы зенитки не сбили и на истребителей не нарваться. Погода нынче не особо летная: облака и метель. Должны проскочить.

Весь полет Углов старался забыть и задремать. Но сон получался неглубоким и отрывистым. Здесь, в полнейшей тьме, он не видел ни пересекающихся лучей прожекторов, ни всполоха разрывов, не нашедших цели снарядов. До него долетали лишь резкие разрывы, проникающие внутрь сквозь натужное гудение авиационных моторов. Каждое мгновение казалось, что прямое попадание в самолет превратит его в факел, камнем летящий к земле. Но все прошло благополучно. Выйдя из самолета на затекших от долгого сидения ногах, он поспешил к присланной за ним эмке, на ходу торопливо попрощавшись с летчиком. Последующие два дня Углов ездил по городу, встречался с рабочими, ремонтирующими подбитую технику, посетил зенитную батарею с женским расчетом, выехал для отчетности во время затишья поближе к передовой. Пообедал с моряками на борту вмерзшего в лед корабля, защищающего город своей дальнобойной артиллерией. И все это время ощущал тревожное чувство вины за недоставленные защитникам и мирному населению города два ящика спасительной

тушенки: «А ведь прав этот Никита из Оренбурга: стоит ли добытый мной материал тяжких человеческих страданий и голодных смертей? Конечно, я сумею описать все увиденное в героическом свете. А ведь так оно и есть: мы там, на Большой земле, даже не подозреваем, что здесь происходит. Люди сражаются с напряжением всех сил, и смерть для многих кажется избавлением. В городе почти не видно людей. Никто не выходит из дома без надобности. Кажется, что сама госпожа смерть незримо мечется по пустынным улицам, заглядывая через заклеенные бумагой окна в квартиры, чтобы сделать своей очередной страшный выбор. Завтра я улетаю. А эти люди останутся тут без всякой надежды на спасение».

Углов оделся и вышел из гостиницы, захватив с собой вещмешок. У него оставался нетронутым весь запас продуктов, захваченный из Москвы. И он хотел отдать еду тому, кто в этом нуждался больше всего. Углов шел по улице, не встречая ни одного человека. Начало быстро смеркаться. Внезапно за углом он услышал слабый испуганный вскрик, и к нему навстречу, тяжело передвигая ноги в высоких, не по росту, валенках, выбежала девочка лет десяти, прижимая к груди завернутый в грязный газетный лист сверток. Следом за ней с длинным кухонным ножом выскочил давно небритый высокий исхудавший мужик в ушанке с опущенным на лоб козырьком. На мгновение их глаза встретились, и по безумному, ничего не осознающему, кроме мучительного голода, взгляду человека Углов понял, что тот ничего вокруг не видит, кроме еды, которую злобная девчонка не хочет ему отдать. Мужик бросился к своей жертве, нелепо выставив вперед нож. И тут, опомнившись от первого потрясения, Углов с размаху сбил нападающего с ног. Выронив нож, мужик лежал в сугробе и рыдал, растирая по лицу сразу превращающиеся в наледь слезы.



Спасенная девочка схватила Углова за рукав шинели:

— Спасибо, дядечка. Я боюсь, проводите меня. Я живу вон в том подъезде. Меня мама с братиком Сережей ждут.

Не раздумывая, Углов последовал вслед за девочкой. Перед тем как войти в дом, оглянулся. Сбитый им с ног человек начал медленно подниматься. «Ничего, оклемается. Раз с ножом бегать за пайкой хлеба смог, значит, еще есть силы».

И Углов вслед за девочкой вошел в подъезд и свернул в квартиру на первом этаже. В комнатах царил пугающая пустота. «Все, что могло гореть, исчезло в печке-буржуйке», — догадался Углов.

На кровати возле стены поверх одеяла в полушубке лежала закутанная в платок женщина. Рядом с ней в демисезонном пальтишке и теплой вязаной шапочке шевелился мальчик лет шести с серьезными, испытывающе смотрящими на Углова глазами. Женщина с трудом поднялась с кровати и сделала шаг навстречу Углову. Он успел подумать: «У нее такие же ясные голубые глаза, как у девочки. Смотрит с усталой настороженностью, но без вражды. Надо поскорее налаживать контакт».

— Меня зовут Семеном Угловым. Я военный корреспондент из Москвы. Здесь в командировке. На вашу девочку напали, и я ее проводил до дому. Зачем же вы ребенка одну на улицу в такое время выпускаете?

— Устала после ночной смены. Послала карточку на хлеб отоварить. Здесь недалеко, на соседней улице. Да и Галке уже двенадцать. По нынешним военным меркам взрослая уже. Спасибо, что защитили. А зовут меня Лидия Павловна. Можно просто Лида.

— У вас тут холодина. Разрешите похозяйствовать и разжечь печку?

— Топить нечем, все сожгли.

— А вот эта дверь в другую комнату, похоже, совсем не нуж-

на. Я ее сниму и разожгу огонь.

Топор есть в доме?

— Там, на кухне, возле плиты. Я уже пыталась снять дверь с петель, да сил не хватило.

— Я думаю, справлюсь. А вы пока не стойте столбом, готовьте детям ужин. У меня с собой остались продукты, привезенные из Москвы. Я завтра улетаю. Мне ничего не надо. Я все оставляю вам. Если позволите.

— При нашем положении еда — это жизнь и избавление от смерти, тем более речь идет о моих детях. Вы не поверите, но я, отправив девочку за хлебом, лежа на кровати наяву грезил, что в комнату войдет Дед Мороз и принесет нам елку, увешанную сверху донизу мандаринами, конфетами, пряниками. И вдруг появляется вы.

— Я не очень похож на Деда Мороза, и мандаринов у меня нет. Но вот возьмите, что есть.

И Углов начал торопливо выкладывать на постель свои припасы. При виде такого богатого угощения женщина почувствовала дурноту и, чтобы не упасть, подошла к окну и тяжело оперлась о подоконник. Мальчишка воровато протянул руку, схватил плитку шоколада. К нему тут же подскочила сестра и отняла лакомство:

— Нельзя, Сережа, сейчас мама все распределит по дням на целый месяц.

Девочка быстро начала переносить продукты подальше от брата на подоконник и класть рядом с матерью. Поймав на себе благодарный взгляд молодой женщины, Углов невольно смутился: «Я появился в их доме неожиданно, словно воплощение ее безнадежных мечтаний о чудесном спасении. Она видит во мне чуть ли не святого ангела-хранителя, посланного с небес самим Господом Богом для спасения ее и детей от медленной мучительной смерти. Невольно можно превратиться из атеистки в истово верующего человека. Да и у меня, похоже, голова начинает кружиться и возвышаться

от гордыни. До чего же приятно чувствовать свое превосходство над другими людьми. Хотя это, конечно, полнейшая подлость сытого человека перед голодным. Вот уж не думал, что в глубине моей души гнездится такая мерзость». И, скрывая смущение, Углов поспешил за топором на кухню. Поддев дверь снизу, снял ее с петель и ловко разрубил на толстые чурки. Достав обрывок старой газеты, сумел быстро разжечь огонь в печке. Постепенно комната начала наполняться теплом. Женщина принесла из кухни кастрюлю, наполненную снегом и льдом, и поставила на железный лист рядом с разгорающимся все сильнее огнем. На глазах в кастрюле начала закипать вода. Женщина взяла металлическую кружку и зачерпнула горячую жидкость. Затем, аккуратно вскрыв фольгу на шоколаде, отломала дольку. Потом, подумав, добавила еще одну и растворила в горячей воде. После этого поднесла по очереди детям. С теплотой и любовью смотрела, как они отогреваются спасательным напитком. Затем повернулась к Углову:

— А вы будете?

— Нет, я сыт: сегодня у моряков кашу с тушенкой лопал.

Женщина охотно кивнула и после некоторого раздумья отломала маленький кусочек шоколада и, зачерпнув остатки кипятка, опустила в него сладость:

— Я, пожалуй, тоже немного выпью. Возможно, мне сегодня тоже силы понадобятся. Вы, надеюсь, останетесь на ночь?

Поймав призывный многообещающий взгляд женщины, Углов поспешно согласился:

— Конечно! Сейчас уже поздно. Командантский час наступает. Да и тот бандит с ножом где-то поблизости бродит. Нужна же вам защита.

— Ну вот и ладно!

Женщина, обжигаясь, с жадностью выпила горячий сладкий напиток и, сразу порозовев, направилась в другую комнату:

— Пойду переоденусь. Гость в доме, а я как Золушка-замарашка. Нехорошо!

Внезапно в воображении Углова возникла обнаженная фигура женщины, решившейся разделить ложе с совершенно незнакомым ей человеком.

«Почему она это делает? В благодарность за спасительную еду и в надежде на будущую поддержку ее и детей или просто соскучилась по мужской ласке? Да какая мне разница!»

И Углов поспешил отогнать на время внезапно возникшее острое желание близости с худенькой, истощенной голодом женщиной.

Лида появилась в комнате в сером платье и вязаной кофте. На ногах по-прежнему были валенки. Женщины смущенно пояснила:

— Туфли давно обменяла на крупу. Красивые были лодочки. Да и ноги побаливают от ревматизма. Вы, дети, ляжете спать здесь, где тепло, а мы с дядей Семеном будем спать в угловой, там маленькое оконце и потому теплее, чем в других комнатах. Все, отбой.

Углов направился вслед за женщиной. Девочка, держа брата за руку, неотрывно смотрела вслед матери и Углову. Уже стоя в дверях, Лида обернулась и жестко произнесла:

— Мне мужа, а вам отца уже не вернуть. Похоронка вон под кроватью в коробке лежит. Давай, Галка, не стой столбом, укладывай Серегу и сама ложись: во сне голод не так чувствителен. Да и сыты вы сегодня благодаря дяде Семену.

Девочка перевела взгляд с матери на Углова и, по-взрослому горько вздохнув, отвернулась, поведя брата к кровати. А женщина решительно, словно боясь передумать, взяла Углова за рукав гимнастерки и повела в дальнюю комнату к старому, с выпирающими, словно ребра, пружинами широкому дивану. Вытянувшись рядом хозяйкой, Углов начал нежно гладить исхудалое женское тело, словно боясь сломать

хрупкие, едва прикрытые кожей косточки. Охотно поддавшись мужским ласкам, Лида жадно подставила губы для поцелуя. И, забыв обо всем, Углов страстно соединился с чужим трепетным, соскучившимся по ласке телом. Когда все было конечно, Лидия некоторое время лежала молча с закрытыми глазами. Затем устало произнесла:

— Я уже думала, что сгину с голоду и никогда в жизни не испытаю удовольствия от физической близости с мужчиной. И тут появляешься ты, как новогодний подарок. Говоришь, завтра улетаешь, а когда вернешься?

— Пока не знаю, теперь постараюсь выбираться сюда при первой возможности.

— Уж ты постарайся, Семен. Без твоей помощи не сдюжим, помрем, как мухи зимой.

«Значит, все-таки еда — главная причина для нее допустить меня к себе. И обижаться тут нечего. Она — мать, и жизнь ее детей зависит от меня».

Женщина обняла Углова и положила голову на его согнутый локоть, попросив:

— Позволь, я так посплю. Привыкла во время семейной жизни.

Ревность невольно кольнула Углова: «Похоже, она все еще любит своего мужа. Наверное, представляет рядом с собой его, погибшего смертью храбрых, а не меня — всего лишь источник пищи для ее детей».

Стараясь не беспокоить женщину, Углов лежал неподвижно, прикрыв глаза, пока не забылся тяжелым сном.

Едва начало светать, он осторожно освободил затекшую руку и слез с жалобно скрипнувшего дивана. Быстро оделся и взял из соседней комнаты почти опустошенный вещмешок. Вернувшись в угловую комнату, встретился с взглядом проснувшейся женщины. Торопливо вытащил из вещмешка флягу со спиртом:

— Вот, возьми. Наверняка пригодится. Обменять на хлеб можно или крупу.

Немного помедлил и достал жестяную баночку с надписью «Монпансье»:

— Вот еще леденцы. Более года с собой таскаю, как талисман с первых дней войны. Вам нужнее. Еще неизвестно, когда смогу сюда прилететь. Ну все, я пошел.

— Спаси тебя Господь! Если сможешь, прилетай. А то до весны живыми не дотянем.

Углов поспешно направился к выходу. Сзади скрипнула дверь. Он оглянулся и увидел обращенные к нему голубые глаза не детски серьезной девчушки. Углов хотел ей сказать что-нибудь на прощание, но не нашел нужных слов и, поспешно отвернувшись, вышел на холодную лестничную площадку.

Выйдя на заснеженную улицу, заметил недалеко от подъезда в сугробе темное пятно. Подойдя поближе, разглядел в начинающемся рассвете скрюченное тело вчерашнего субъекта, напавшего на Галину. Снежинки падали на его лицо и, не тая, скапливались во впадинах уже не видящих глаз.

«Замерз, значит, бедолага, обессилен. Интересно, он гнался за девчонкой как за мясом или только хотел отнять пайку хлеба? Теперь уж не узнаешь. Странно, но мне жаль этого бедолагу. Кем он был до войны: слесарем, инженером или, может быть учителем, как я? Ведь мог прожить свою жизнь достойно. А тут война, блокада, голод, смерть. Поневоле свихнешься. Интересно, смогу я это когда-нибудь описать? Даже если удастся создать что-нибудь стоящее, разве цензура пропустит?»

Углов повернулся и пошел прочь. На доме еще раз прочитал и запомнил адрес, куда ему непременно надо будет вернуться. Весь последующий день перед ночным вылетом он постоянно вспоминал об оставленной в чужом доме коробке, наполненную леденцами: «Я отдал конфеты правильно. Иначе бы до конца своих дней они жгли мне душу, напоминая о том, как ли-



шил голодных детей шансов на выживание. Но зато нет у меня теперь талисмана. Как долечу до Москвы сегодня ночью?»

Но вопреки опасениям, полет прошел нормально, и он сумел убедить себя, что «Монпансье» не имеет влияния на его обычное человеческое везение. И Углов окончательно перестал сожалеть об оставленных в Ленинграде леденцах. Ему и в голову не приходило, что в течение года, таская в вещмешке жестяную коробку, он являлся временным хранителем драгоценного бриллианта.

Его теперь больше всего занимала мысль, под каким предлогом он вновь сможет полететь в осажденный город и накормить хотя бы одну голодающую семью. Но у редактора были иные планы, и уже на следующей неделе Углов получил задание отправиться в Мурманск и написать о подвигах полярной авиации, охраняющей английские конвои.

«Ничего, слетаю на пару дней в Мурманск, а потом упрошу редактора организовать вновь поездку в блокадный город».

Спланированное Угловым будущее казалось четким и определенным. Поначалу все и шло, как он и задумал. Приземлившись благополучно в Мурманске, вновь подумал об оставленной в Ленинграде коробке «Монпансье» и уже твердо уверовал, что к его везению недожденные леденцы не имеют отношения. Будничные дни командировки в свете разнообразных встреч и впечатлений пролетели почти мгновенно. Он присутствовал на инструктажах, выслушивал рассказы бывалых асов, ему показали портреты погибших и не вернувшихся с задания летчиков. Здесь, без сомнения, воевали и совершали подвиги, по крайней мере, постоянно рисковали жизнью. Но все же Углова не оставляло ощущение, что он присутствует на какой-то иной войне, не похожей на наполненную грязью, тяжелым потом и кровью «окопную правду». Город, казалось, и не знал,

что воюет. Углов не видел больших разрушений, люди жили обычным распорядком, очень похожим на довоенное мирное существование. Не ощущалось недостатка в пище. Невольно постоянно вспоминались голодные лица блокадников.

Впечатление усилилось, когда накануне отъезда Углова в Москву его пригласили в ресторан Дома офицеров. Играл оркестр, на столе стояли дорогие напитки и вкусная еда. Слышалась речь иностранных моряков. В зале присутствовали женщины в красивых вечерних платьях. Внезапно Углов поймал на себе взгляд серых глаз, неотступно за ним следящих. Женщина, поняв, что он наконец заметил ее внимание, призывно улыбнулась. Углов понял, что всерьез заинтересовал явно скучающую красавицу: «Эта женщина в длинном черном платье с обтягивающим высокую грудь лифом похожа на прекрасную неземную фею из сказки про волшебников. Надо решиться и пригласить ее танцевать».

Не откладывая дела, Углов подошел, щелкнул каблуками и умело повел даму под томную мелодию танго. Женщина, слегка наклонив голову к его уху, поспешила разъяснить ситуацию:

— Моего мужа-полковника и меня здесь, в гарнизоне, многие знают, и я не могу позволить себе лишнее. Мне все известно: вы — корреспондент из Москвы, завтра улетаете. У нас есть шанс. Сейчас вы отсюда уйдете. Через полчаса ждите меня за углом. Все, отведите меня за мой столик. Не надо привлекать внимания.

Не дожидаясь окончания мелодии, Углов послушно проводил женщину на ее место. Затем, посидев за столиком для виду еще несколько минут, выпил на посолок стопку водки и направился к выходу.

Дул холодный ветер, и он успел продрогнуть, пока не появилась жаждущая любовного приключения прекрасная незнакомка. Не тратя зря времени, она, проходя мимо, бросила через плечо:

— Следуйте за мной на расстоянии. Я живу здесь недалеко.

Стараясь не упустить женщину из виду, Углов зашагал вслед за ней навстречу новому любовному приключению. Внезапно дама остановилась и, убедившись, что ее избранник находится недалеко, юркнула в подъезд серого здания. Окончательно решившись на авантюру, Углов вошел вовнутрь. Женщина его ждала и, крепко взяв за руку, повела наверх. Открыв дверь, впустила в уютную квартиру. Подойдя к буфету, достала уже открытую бутылку вина и два бокала:

— Меня зовут Зиной. Муж на боевом дежурстве. Раньше полуночи не вернется. У нас всего от силы два часа. Не будем терять время. И не смотри удивленно: я не какая-нибудь шлюха. Просто здесь, в гарнизоне, не могу себе позволить даже легкого флирта: все тут же мужу передадут. Он много старше меня. Лежал у нас в госпитале, где я медсестрой работала. Хороший человек, меня любит, но очень уж ревнив. А ты нездешний и завтра улетаешь. Меня это устраивает. Да и тебя, похоже, тоже. Ну, давай выпьем за знакомство и, как говорят на флоте, «по местам стоять, с якоря сниматься».

«До чего же отчаянная баба. Не попасть бы с ней в беду. Хотя наверняка знает, что делает. Она рискует больше меня». Углов, лихо влив в себя бокал вина, жадно прильнул к податливому, пышущему распаленным жаром телу женщины. Сближение было страстным. Охотно поддавшись неумемному желанию партнерши, Углов успел подумать: «До чего же, видно, истосковалась баба при старике по настоящей любовной ласке».

И в тот момент, когда Зинаида удовлетворенно откинулась в стору, в комнате вспыхнул свет. Испуганный внезапным вторжением обманутого мужа, Углов вскочил с постели.

Высокий седовласый полковник в бешенстве закрутил у него перед лицом пистолетом:

— Гаденыш столичный, как ты посмел в чужую постель заскочить?! Пристрелю подлеца!

В этот момент Углов сделал ошибку. Скорее всего, обманутый полковник свою обиду в крике выместил и, насладившись страхом заезжего любовника, предпочел бы некрасивую историю замолчать. Но Углов попытался выбить оружие у ревнивца, но не рассчитал, и тот успел спустить курок. Пуля пронзила грудь Углова, и он, упав рядом с кроватью на пол, почувствовал, как кровь из пробитого легкого заполняет его гортань, мешая дышать. Он успел увидеть, как женщина всем своим нагим телом повисла на руке у мужа, отводя в сторону оружейный ствол:

— Что ты делаешь, Виталий? Со всем с ума съехал? В тюрьму захотел? Звони скорее в госпиталь. Парня спасти надо.

Дальнейшее Углов воспринимал, как в тумане. В сознании остались лишь обрывки видений, как его везли куда-то на машине. Очнулся он через сутки в отдельной палате. К вечеру его навестил офицер в форме капитана второго ранга. Не представившись, он сразу перешел к сути дела:

— Вот что, старлей. Ты по своим кобелиным делам не в ту постель залез. Муж Зинки уважаемый всеми человек. Особисты тебе могут навязать покушение на видного военного специалиста. Дескать, соблазнил его жену, чтобы дожидаться и пристрелить. Но мы тоже не заинтересованы в огласке, а потому напишешь собственноручно бумагу, что ранил себя сам случайным выстрелом и потому претензий ни к кому не имеешь. Время и место не указывай. Согласен? Я так и думал. Тогда пиши. Вот тебе бланк.

Уже уходя с подписанным документом, капвторанг сочувственно посоветовал:

— Держи язык за зубами, военкор. Не вздумай, вернувшись в редакцию, потребовать медаль за ранение в боевых условиях. Иначе неприятностей не оберешься. Это я тебе

обещаю. Как только станешь транспортателем, отправим тебя в Москву. Ну все, прощай. Больше, надеюсь, не увидимся.

Через две недели Углов вернулся в редакцию. Главный, очевидно, был в курсе дела. Потому не стал задавать лишних вопросов. В ответ на просьбу Углова отправить его вновь в Ленинград посмотрел с пониманием:

— Эх, молодость. И там, видать, кобелиными подвигами отметился. Нет, Семен, в Ленинград сегодня вечером летит Дугов. Если у тебя какие-то дела там остались, попроси об услуге товарища. Он, в отличие от тебя, примерный семьянин: не станет личное со служебным мешать. Выздоровливай пока, сил набирайся, а потом видно будет.

Вручая Дугову пакет с собранными наспех продуктами, Углов назвал адрес Лиды и ее детей. Но, вернувшись в Москву, Дугов сообщил, что в указанной квартире никто не живет. Дверь в нее взломана и распахнута настежь. Увидев огорченное лицо товарища, Дугов поспешил успокоить:

— Возможно, их эвакуировали и они живы.

Хотя по его лицу было видно, что он и сам не верит в свое предположение. Вскоре Углова послали освещать наступление на Харьков. Его там тяжело ранило. Он провалялся в госпитале почти полгода. После выписки Углов вместе с войсками шел по Германии. В самом конце войны был контужен разрывом снаряда и вновь попал в госпиталь. Там влюбился во врачу-хирурга из Воронежа. Они поженились и вместе вернулись в Москву. Скоро у них родилась дочь, а через год и сын.

За все фронтовые и послевоенные годы Углов очень редко вспоминал Лидию и ее детей, волею судьбы встретившихся на его жизненном пути. Но в 1954 году случай вновь всколыхнул его воспоминания о пребывании в блокадном зимнем Ленинграде. В тот день он заехал в га-

строном на Смоленской площади. На выходе его внезапно окликнул лысоватый мужчина в очках и с бородой. В первый момент Углов не узнал этого человека. Привиделось что-то из конца войны, и он спросил:

— 1-й Белорусский?

— Нет, Углов, вспомни, как спирт в октябре 1941 года сквозь леденцы цедили. Я Корин, адвокат из Москвы.

— Не может быть, тебя же убили. Я сам видел.

— А вот и нет. Грудь только пробило. Важных органов не задело. В ту же ночь ребята-артиллеристы к своим выходили. Наткнулись на меня, а я еще дышу. Ну и дотасили, полумертвого, на себе до лазарета. В общем, жив остался. Потом в смерше служил и в военном трибунале. Такого уж риска, как в пехоте, не было. А ты как?

— Я военным корреспондентом всю войну прошел.

— Все понятно. Я рад, хоть ты жив остался. О пограничнике и шофере с ЗИСа ничего не слышал? Жаль, лихие были ребята. Да, еще хотел тебя спросить: ты банку с леденцами не брал?

— Нет, я как только подумал, что тебя убило, так ноги в руки — и бежать подальше.

Углову не хотелось сознаваться, что он вместо оказания помощи еще живому товарищу схватил конфеты и поспешил скрыться. А Корин с сожалением сделал запоздалое признание:

— А знаешь. Углов, я ведь тогда прятал в этой банке на дне, под леденцами, крупный бриллиант. Пропал, видно, навсегда драгоценный камушек. Ладно, наплевать, главное, что мы остались живы. Пойдем, тут в соседнем переулке пивная неплохая имеется. Возьмем граммов по двести и отметим наше чудесное спасение.

Обрадовавшись перемене рискованной темы, Углов охотно согласился, и бывшие однополчане, когда-то в страхе прятавшиеся в под-



московных перелесках, отправились отмечать свое чудесное спасение.

Вернувшись, домой, Углов задумался о судьбе невольно переданного им бриллианта в руки блокадной семьи: «Не ехать же мне в Ленинград искать Лидию с детьми и выяснять судьбу драгоценности, мне не принадлежащей».

Прошло еще восемь лет, и в 1962 году Углову представилась возможность съездить в Ленинград в командировку. В последний день служебной поездки он выкроил время и направился по запомнившемуся на всю жизнь адресу. Позвонив в дверь, едва смог унять бьющееся от волнения сердце: «Вряд ли новые жильцы знают что-нибудь о семье, сгинувшей здесь в блокаду. Но почему не сделать попытку? Хотя мне и самому непонятно, зачем я это делаю. Я и сам не догадывался, что та далекая и мимолетная встреча так глубоко засела во мне, словно старый неудаленный осколок, непредсказуемо перемещающийся по телу фронтовика-ветерана всю подаренную судьбой послевоенную жизнь».

Дверь внезапно распахнулась, и Углов ошарашенно воззрился на живую и, главное, совсем не изменившуюся с тех давно минувших лет Лидию. Уже через мгновение Углов понял свою ошибку: «Эта молодая женщина с голубыми глазами не может быть Лидией. Чудес не бывает. Я принял за нее повзрослевшую Галину. До чего же они похожи, как сестры-близнецы».

И тут в глазах Галины недоумение сменилось узнаванием:

— Это вы? Живы? А мы вас так и не дождались.

— Я был ранен, не смог прилететь. А месяца через два товарищ мой после командировки сюда, в город, сказал, что квартира пуста и вас нет.

— Значит, все-таки пытались нам помочь? Не забыли. Мама так и говорила: не мог он нас оставить, слу-

чилась с ним беда. Да вы проходите в комнату.

— А с вами-то что произошло? Эвакуация?

— Через месяц все оставленные вами продукты подошли к концу. Остались лишь леденцы. Мама ими заваривала кипяток: по два леденца на кастрюльку. А потом наткнулась на драгоценный камень.

— Я о нем ничего не знал: леденцы взял у убитого товарища.

— А мама подумала, что просто в спешке забыли вынуть. Она тогда расценила находку как очередной подарок судьбы: драгоценность можно было обменять на продукты. Мы с мамой вдвоем поехали на черный рынок, где воры и спекулянты выменивали камушки, украшения, картины на еду. Не удивляйтесь: в городе было немало высокопоставленных людей, не пожирающих до конца своих богатых пайков. По дороге мама сразу сказала, что опасается, что нас ограбят, а потому особо торговаться не будет. Довольно быстро нашлась покупательница, толстомордая баба с золотыми зубами. Она, увидев бриллиант, сразу отдала нам все, что у нее было с собой: тушенку, конфеты, крупу, галеты. Обрадованные, мы бросились домой, и лишь возле своего дома я заметила крадущуюся следом спекулянтку. Она наверняка подумала, что у нас в доме еще имеются ценности. Мы с мамой поняли, что, выследив нас, она через час заявит с сообщниками и те убьют нас. Наскоро собравшись, мы всей семьей покинули квартиру через черный ход и перебрались к маминой сестре на Охту. Так и уцелели. Соседи потом рассказывали, как эта баба и два мужика дверь в нашу квартиру взломали.

— Ну а потом что было?

— Да ничего особенного. Братишка погиб при эвакуации, провалившись вместе с грузовиком под лед Ладоги. Мы с мамой дождалась снятия блокады. Потом неожиданно вернулся отец. Он остался жив и по госпиталям без памяти, контуженный, мотался. Только отец прожил с нами всего два

года, так и не оправившись от ран. Потом в 1952 году скончалась мама: сердце у нее после блокады было слабое. Я к этому времени уже на заводе работала. Потом замуж вышла. Только вот не повезло: пьет у меня мужик много. Хорошо, еще детьми не обзавелись. В общем, живу как все.

Женщина горько вздохнула. И Углову внезапно стало стыдно, словно он лично был виноват, что из когда-то спасенных им людей осталась жить только вот эта еще не старая женщина, жизнь которой, в общем, не удалась.

Не зная, о чем дальше говорить, женщина предложила:

— Может быть, чаю хотите?

— Нет, спасибо. Я сегодня уезжаю. Еще надо собраться перед дорогой.

Суетливо засобиравшись, Углов направился к двери. И Галина сказала ему вслед:

— Спасибо вам за все. А главное, что нас не обманули и маму не забыли. Она вас часто вспоминала. Даже когда отец живой вернулся. Верила, что не могли вы ее забыть. Для нее это было очень важно.

И охваченная горьким воспоминанием женщина жалобно всхлинула.

Не зная, что сказать, Углов потоптался на пороге и, резко повернувшись, вышел на улицу. На душе было мутно и беспокойно, словно он совершил невольно предательство, на долгие годы вычеркнув из памяти худенькую полуголодную женщину, в заснеженном, голодном городе жаждущую спасти своих детей и почувствовать себя хоть на одну ночь заслуживающей любви и мужской ласки.

Выйдя на улицу, Углов направился, как и двадцать лет назад, в сторону гостиницы. Ему казалось, что из окна смотрят вслед не превратившаяся во взрослую женщину Галина и ее чудом воскресшая мать, с жизнью которой так тесно переплелись его собственная судьба и история переходившего из рук в руки бриллианта, с холодным равнодушием относящегося к своим постоянно меняющимся хозяевам.

*Продолжение следует.*

Владимир ГРИПАК



*Владимир Грипак  
родился в 1945 году в Киеве.  
Жил в Харькове, где и окончил  
Политехнический институт.  
С 1988 года живет в Москве.  
Публиковался в «Литературной  
газете», журнале «Юность»,  
автор сценариев для  
радиопостановок на «Радио-1»  
(передача «С добрым  
утром!»), «Маяке».*



## РЕПОРТАЖ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

**Н**а внутренней дороге возле жилого дома бампер в бампер остановились «Ауди» и «Тойота». Просидев какое-то время в ожидании, у кого первого сдадут нервы и кто сдаст назад, водители вышли из машин, что не предвещало ничего хорошего. «Немец» оказался значительно крупнее «японца», чем и не замедлил воспользоваться, нанеся сокрушительный удар оппоненту. Водитель «Тойоты» упал как подкошенный. Интересно, кто теперь уступит дорогу победителю?

В это время из дома напротив выскочила разъяренная дама со сковородкой. Очевидно, это жена поврежденного, увидевшая все из окна. Подбежав вплотную к победителю, женщина ловко вклепила ему сковородкой в лоб. Второй удар получился менее удачным, так как пришелся аккурат по крыше мужниной «Тойоты».

В этот момент из окна дома, откуда выскочила супруга со сковородкой, раздалось: «Люська, по радио передали — Мубарак в коме!» Люська ошалея осмотрелась по сторонам и со стоном: «Хосни...» плюхнулась рядом с мужем. Наверное, женщина, сообщившая жуткую новость, вызвала скорую помощь. Вскорости карета прибыла. Подошли врач, санитар и медсестричка. «Что случилось?» — деловито спросил эскулап. «Да вот сообщили, что Мубарак в коме», — пояснил кто-то из подошедших, еще державшийся на ногах.

«Что-о?!» — заорал доктор и повалился рядом с Люськой. Санитар пытался поддержать его, сам уже

теряя силы, и уложился рядом. Медсестричка уже лежала, беспомощно раскинув руки.

Водитель «Ауди» так и стоял с жутковатой улыбкой на лице, что говорило о том, что сковородка была отнюдь не алюминиевой.

Подъехал полицейский уазик. Вышли внушительных размеров майор и два тощеньких сержанта.

«Что здесь происходит?» — начальственным тоном спросил майор.

Не успели ему ответить, как затрещала рация: «Кедр, кедр, я — береза». «Да!» — рывкнул майор. «Вася, бросай все и дуй в отдел». «А что случилось?» — спросил кедр Вася. «Случилось, Вася, огромное! Мубарак в коме». Майор пошатнулся и, упав, подмял под себя двух своих подчиненных. Те посучили ножками и затихли.

Из подъехавшей иномарки выпорхнула молодая амазонка с битой наперевес и приблизилась к толпе. Кто-то шепнул ей: «Девушка, Мубарак в коме». Амазонка выронила битку и мелкими шажками спиной засемила к газону, где и нашла пристанище.

Подошедшая бабулька вопрошала: «Сынки, что стряслось-то?»

Тот, кто сохранял самообладание, сказал старушке: «Мамаша, пожалейте сердце, идите с Богом».

«Да что такое?! — возмутилась бабушка. — Дефолт с кризисом пережили, да и конец света не наступил! Что произошло, супостат ты этакий?» Ну а когда кто-то бессердечный все же сообщил убийственную новость, старуха охнула и только успела

выдохнуть: «Хос...». Никто так и не понял, то ли «Хосни» она хотела воскликнуть, то ли «Господи».

Скорая здесь, полиция здесь, осталось пожарных вызвать, что я и сделал.

Молодцы ребята, оперативно приехали. Минут через сорок, а может, и меньше. Из прибывшей машины высыпал расчет. Но незадача. Выяснилось — рукава забыли. Посовещались ребята и рванули в часть за рукавами. Приехали на этот раз быстрее, минут через тридцать пять. Сноровисто развернули рукава... Опять беда! Воду не залили. Ну не ехать же за водой! Смекалистые, черти! Давай колодец искать. Нашли. А как крышку люка поднять? Сообразили. Подбежал расчет к водителю скорой. Тот дал им монтировку. Попытели, поматерились, но крышку подняли, подключились. Опять форс-мажор! Струя пошла в сторону. Оказалось, рукав дырявый. Снова огнеборцы проявили находчивость. Сорвали халат с доктора, перевязали им рваный рукав, и наконец струя пошла в нужном направлении.

Под потоками воды публика стала оживать. Первой искать свою битую прибыла амазонка. Ведь сначала ее окатило из прорехи в рукаве. Потом поднялся бравый майор. Нашел фуражку, но в следующий

миг окрестности огласил душераздирающий вопль: «Кто?!» Кобура майора оказалась пустой. Тут же из толпы раздалось язвительное: «Кто-кто, Мубарак». Майор в ярости рванул на голос, но тщетно. В темноте среди толпы — кого найдешь... В этот момент уже доктор заорал: «Кто?!» И опять этот же издевательский голос: «Будет тебе! У человека ствол увели, а он из-за какой-то тряпки! Осталась шапочка — и на том спасибо скажи!» Врач бросился на голос, но с тем же успехом. Люське я уже на правах старого знакомого посоветовал: «Люся, вы расширьте зону поиска. Сковородка могла под машину закатиться». Публика приходила в себя.

Огнеборцы тем временем отъезжали. Люк, конечно же, не закрыли. Люди служивые. Чай, не пельмени лепят... Служба серьезная, каждая минута на вес золота.

А я побежал к ним. Думал, может, нам по дороге, подвезут. Ну и, конечно, не пробежал мимо колодца.

Сижу на дне, слышу: «Все, съемка закончена, всем спасибо, все свободны». Последнее прозвучало для меня как издевательство.

Рассвело. Открыл кейс, вытащил бумажку, ручку. Пишу.



Галка ГАЛКИНА



*Не подумайте, что я — биолог, медик, или сотрудник великого Касперского, или чиновник ведомства Онищенко. Нет, я простой ученый, занимающийся на старости лет эпистолярным жанром. Но вирусы, которыми восторгаются биологи, которых боятся и с которыми борются изо всех сил медики, — это одна ипостась, в смысле их строения и поведения в организме человека или животного...*

*Речь... о других вирусах, более заметных, но приносящих много пользы в первую очередь самим себе... Да, это класс вирусов на теле общества в виде политиков, сосущих соки из всех возможных его сосудов и клеточек.*

*Александр Орлов,  
Москва*

### Галка ГАЛКИНА:

Вот оно в чем дело. Вот где причины, начала и концы наших бед и несчастий. Все вот чихают себе попусту и не подозревают, кто в этом виноват. И лишь Вы один, Александр, задумались и заглянули в корень проблемы. Фигурально выражаясь, вирусу прямо в пасть.

Думается, что Ваше открытие, особенно перед выборами, просто-таки должно привлечь внимание общественности. Ведь если политики — вирусы, то, стало быть, выборы надо как можно скорее отменить и заняться профилактикой опасного заболевания.

А если все же Вы ошиблись, тогда как? Вот мы пойдем 4 декабря выбирать лучшую жизнь, а там, в школе, на избирательном участке, объявление на клочке бумажки: «Выборы отменяются ввиду того, что Александр Орлов сделал открытие: все политики — вирусы!»

И что изволите предпринимать?

Начнется брожение умов: как так, доколе, камо грядеши и так далее. Народ вместо того, чтобы опустить свой бюллетень в урну, а потом честно, с сознанием выполненного долга, опохмелиться и до первых петухов ждать итогов своего волеизъявления, чем должен заниматься? Смотреть в пробирку на инфузорий и туфелек, которые размножаются там и занимаются всякой пакостью?

Нет, нельзя так и сразу. Мы еще не готовы. Да хотя бы и вирусы. Ну так и что ж? Природе вирусы нужны. Раз они есть, то, стало быть, так надо. Не нами выдуманы и не нам отменять все это, с позволения сказать, мироустройство.

Так что будьте здоровы и не кашляйте.

А если очень будут донимать вирусы, то идите Вы — к Касперскому!

**ФАЗА МЕСЯЦА:  
Выкиль в накий!**



**Осенние ультиматумы**

- ☺ Если меня не сделают министром культуры, то я — сделаю!
- ☺ Поставьте в Кузьминках юрту, а то в Кремль юркну!
- ☺ Дайте коньяка канистру, а то кану в Истру!
- ☺ Отдайте трудящимся банки... и бутылки!
- ☺ Дайте мне икру, а не то помру!
- ☺ Дайте мне конфету, а не то уеду!
- ☺ Дайте мне ананас, а не то наплюю на вас!
- ☺ За все безобразия те и эти конкретно ответят Гео и Йети!
- ☺ Не давайте взятки Йети на банкете, в туалете!
- ☺ Подружусь я типа с Йети и забью на все на свете!

**Нанопоззия**

- ☼ Меняю нанопрофессию на нанодепрессию.
- ☼ Нанокот и нанопес, ждет нас наноперекос!
- ☼ Сел на нанотренажеры и подъехал под Ижоры!
- ☼ Нацедил пивка из крана, оказалось — это нано!
- ☼ Нацедил вина из бочки и дошел до наноточки!
- ☼ Завезли котлеты в Сколково, наномух не хватит столько!
- ☼ Хороша ты, нановодка, да расплавилась селедка!
- ☼ Как приятен наноквас, только пьют его без нас!
- ☼ Гоним наносамогон, нанокрепкий, нано — он!
- ☼ Хороша ты, наножизнь, пей, гуляй и веселись!



© Фото Валерия ДУДАРЕВА

**SMS'ка, отправленная в Сколково:  
Далеко ли до Дубны?**



## ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Оплатите подписку в любом банке и отправьте копию квитанции (а также бланк-заказ на подписку) одним из предложенных способов:

1. На электронный адрес  
unost-reklama@mail.ru.
2. По факсу: 8 (499) 250-40-72/60.
3. По адресу: 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1.

Подписка на журнал «Юность» через редакцию гарантирует вам:

- оформление доставки начиная с любого месяца года.
- предоставление полного пакета бухгалтерской документации (для юр. лиц).
- доставка журнала заказной бандеролью, что исключает потерю журнала при транспортировке.

## КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Читатели журнала «Юность», имеющие годовую подписку, могут получить бесплатную консультацию у специалистов (литературоведов, критиков, прозаиков, поэтов), входящих в творческий актив журнала!

Объем присылаемых на консультацию рукописей ограничен:

1. Проза — до 10 страниц.
2. Поэзия — 8–10 стихотворений (не более 200 строк).
3. Драматическое произведение — одноактные пьесы и басенные циклы (не более 5 наименований в цикле).

4. Критические материалы — не более 2–3 страниц.
5. Литературоведческие работы — до 5 страниц.
6. Очерки и публицистика — до 3 страниц.

Размер шрифта присланных произведений не менее четырнадцатого.

Наши консультанты могут рекомендовать ваши произведения к публикации на страницах журнала «Юность».

Консультации проводятся по телефону и по скайпу.

**Телефон для справок: 8 (499) 250-40-60.**

## БЛАНК-ЗАКАЗ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

- Да, я подписываюсь на 6 номеров журнала «Юность» – 1000 руб.
- Да, я подписываюсь на 12 номеров журнала «Юность» – 1900 руб.

**Мой адрес:**

Индекс:	Республика
Район	
Город / село	
Улица	Дом      Квартира
Фамилия, Имя, Отчество подписчика:	
Телефон:	

Извещение	Получатель платежа: НП «Редакция журнала Юность»		
	Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва		
	ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О. и адрес плательщика		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	Подписка на журнал «Юность»		
	Плательщик:		
Квитанция	Получатель платежа: НП «Редакция журнала Юность»		
	Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва		
	ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О. и адрес плательщика		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	Подписка на журнал «Юность»		
	Плательщик:		